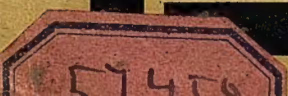


Н. А. ГРЕДЕСКУЛ

РОССИЯ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1 9 2 6



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ

ПОХОДНЫЕ ЗАПИСКИ
1914 — 1917
Том I
Предисловие Демьяна Бедного

Стр. 202. Ц. 2 р. 50 к.

Г. Н. ЧЕМОДАНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРОЙ АРМИИ

Стр. 136. Ц. 1 р.

А. ШЛЯПНИКОВ

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

КНИГА ПЕРВАЯ
ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ И ТРИ ДНЯ МАРТА
Стр. 267. Ц. 2 р.

КНИГА ВТОРАЯ
МАРТ
Стр. 328. Ц. 2 р. 50 к.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МЕМУАРЫ
Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ
С предисловием и примечаниями А. И. УСАГИНА
(„Революция и гражданская война в описании белогвардейцев“)
Издание второе

Стр. XXXIV+515. Ц. 3 р. 25 к.

С. А. ПИОНТКОВСКИЙ

ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Изд. 2-е.

Стр. 304. Ц. 1 р. 10 к.

И. ВАРДИН

РЕВОЛЮЦИЯ И МЕНЬШЕВИКИ

Стр. 342. Ц. 3 р.

Р. ГУЛЬ

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД (С КОРНИЛОВЫМ)

Пред. Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА

Стр. 166. Ц 20 к.

ГЕОРГИЙ ВЕНУС

ВОЙНА и ЛЮДИ

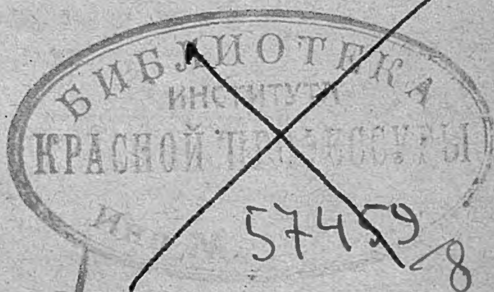
СЕМНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ С ДРОЗДОВЦАМИ

Стр. 228. Ц. 1 р. 50 к.

Н. А. ГРЕДЕСКУЛ

РОССИЯ

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД



Гиз № 11942.
Ленинградский Гублит № 4487.
16 л. Отп. 2.000 экз.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

(ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.)

Если бы книга Н. А. Гредескула появилась на три, на четыре года раньше, т.-е. в пору установления НЭП'а и зарождения смено-веховских настроений, то ее злободневная актуальность была бы еще больше. Но и теперь, в длящейся обстановке НЭП'а, в атмосфере относительной — экономической и политической — мировой стабилизации, весьма своевременна и необходима постановка вопроса о «вчера» и «сегодня», от того или иного решения которого зависит определение личной и групповой воли на завтрашнее действие. Не для самого автора, не для той категории интеллигенции, типичным представителем которой он является, Н. А. Гредескул решил вопрос о своем «завтра», об отношении к рабоче-крестьянской власти, можно сказать, на другой день после Октябрьской революции, не дожидаясь интеллигентской весны связанных с НЭП'ом смено-веховских чаяний. Но для широких кругов интеллигенции, беспартийной всегда или ставшей таковой после Октября 1917 г., для зарубежной эмиграции и для эмиграции внутренней, вопрос об отношении к новой России, к рабоче-крестьянской власти, к ее строительству, все еще вопрос живой и действенный, поскольку речь идет не о молчаливом только подчинении необмости, а о полном волевом приятии советской действительности со всеми ее радостями и печалями.

Пусть реставрационные мечтания о бывшей «единой, неделимой, великой России», России императорской, являются достоянием только особо избранных, отмеченных печатью звериного классового эгоизма и пораженных специфической глухотой к голосу истории... Но чаяние устряловского порядка, мечтательная тоска о спокойствии мещанских буден еще не изжиты и многими в Советской России проживающими интеллигентами. И для них книга Н. А. Гредескула, которая говорит, что этим мещанским будням тишины и спокойствия отслужена не российская только, а вселенская панихида, является и нужной и полезной.

Книга Н. А. Гредескула тем и ценна, что она выражает безоговорочное, полное и честное приятие нынешней России; она

характерна и показательна для той группы интеллигенции — и не такой уже малочисленной в настоящее время, — которая до конца и бесповоротно объединила свою судьбу с судьбой рабоче-крестьянской государственности. Может-быть, повышенное настроение автора кое-где и чрезмерно, может-быть, нам прежде всего и всегда нужна критическая сдержанность в оценке достижений. Но, ведь, повышенность настроения так естественна и понятна в устах вчерашнего Савла (из книги молодой читатель узнает политическое прошлое Н. А. Гредескула). И, вспомнив это, мы должны простить неистовому Павлу и его неуменье до конца разобраться в некоторых основных явлениях советской действительности. Не у новичка марксизма, каковым является Н. А. Гредескул, разумеется, искать ответов на основные вопросы теории, — а в четкости и искренности его практических выводов, в их советской правильности и жизненности нет оснований сомневаться. Здесь не с Устряловым мы имеем дело, а с его полной противоположностью. Н. А. Гредескул «приемлет» не для вражеского преодоления принятого, а радостно приветствует осуществление нового для него символа веры.

Но Н. А. Гредескул в своей книге говорит о России не только нынешней, но вспоминает и вчерашнюю Россию, ее «теперь» он связывает с ее «прежде», мало того, в этом «прежде» он хочет усмотреть неизбежность, законность ее нынешнего облика. Связывание, разумеется, прежде всего имеет психологическое и моральное значение для самого автора и для лиц, ним одинаково мыслящих и чувствующих. Объективно жс характер «связывания», материал и формы его имеют большуюесоциально-психологическую ценность, и в этом смысле «Россия прежде и теперь» является историческим документом первостепенной важности. Знать, какими путями приходят друзья и враги рабочего класса к приятию или отрицанию его идеологии и его практики, чрезвычайно важно и для теоретика-марксиста, и для политического деятеля. Безоговорочная радость приходу новообращенных и только зазывное улюлюканье на упорного врага опасны и вредны едва ли не в одинаковой мере. Прежде всего нужно понять и осмыслить и затем уже сделать соответственные практические выводы.

«Историческая» часть книги Н. А. Гредескула, чрезвычайно интересная социально-психологически, совершенно неприемлема для нас, как форма связывания, объединения прошлого с настоящим. Мы не имеем никаких оснований заподазривать ее честность и искренность; мы понимаем, как трудно человеку, воспитавшемуся на идеях «великой национальной культуры», в духе либерально-буржуазной идеологии, богато расцвеченной, вдобавок, сусальным золотом славянофильского мессианизма, воспринять классовую ясность и простоту марксистского отношения к «великим традициям», к «славному историческому прошлому». Но указать, с классовой марксистской точки зрения, на оши-

бочность связывания прошлого с настоящим у Гредескула, разумеется, необходимо. Конечно, мы хотим только указать и только на существенное, а не протягивать новые, иные нити связи, — это сделают сам читатель и критика по выходе книги.

Н. А. Гредескул хочет быть марксистом, и это его желание так же честно и искренне, как и его советские чувства и убеждения. Но беда в том, что марксизм, как научный метод мышления, не дается в порядке простого осенения новой благодатью. И при всей искренности для новичков марксизма возможны частые и горестные ошибки при его применении. В резком разграничении Н. А. Гредескулом «социологического» и «исторического» и в их обособленном наблюдении, пожалуй, еще нет ничего страшного, еретического, — кроме введения новой и ненужной терминологии, — если только «социологическое» понимать как совокупность экономических отношений, как ту «базу», которая, в конечном счете, обусловливает, определяет надстройки идеологии («историческое»). Но совсем забыть про «социологическое», вспоминать о нем только попутно, изредка, кстати (а фактически это выходит иногда уже и не совсем кстати), излагать «историческое» как нечто самодовлеющее и первичное, — это значит итти не марксистским путем. Сказать — «*под* (курсив мой, В. Д.) процессом культурного приобщения к остальному человечеству шел более глубокий процесс социально-экономической эволюции, шло *социологическое* (курсив автора) развитие» (стр. 83) — разумеется, не значит еще сказать что-либо особенно недопустимое, это modus loquendi и только, — стилистическое своеобразие. Но когда стилистическая особенность делается определяющей весь ход изложения, когда это «под» — на гигантское расстояние отходит от прихотливого извивающегося «исторического» (и даже совсем забывается), тогда мы должны сказать: это интересно, это следует посмотреть, понять, но такая «манера изложения» ничего общего с марксизмом не имеет. А раз так, то почти все то, что с самыми добрыми намерениями из сокровищницы прошлого несет автор в созидаемую им советскую божницу, необходимо отклонить с благодарностью и указанием, что добро это, может-быть, и ценное для душевного обихода помнящих вчерашний день, новому дню не нужно и, даже больше того, необходимо спросить: если таким добром придется «божницу» заполнять, то стоит ли и устраивать ее. Не потускнеет ли от таких подарков прошлого светлое, дорогое для всех нас «теперь».

Связывая прошлое с настоящим и тем желая сделать его более приемлемым для интеллигенции, Н. А. Гредескул поднимает густую пыль давно вышедших из употребления идеологий,— эта пыль и в темах, и в терминологии, и в подборе «положительных» фактов прошлого. Нужно было бы написать большую статью, даже ряд статей, об исторических судьбах русского государства, об интеллигентских теориях государства, в част-

ности, о славянофильской, о русской литературе, о русской философии и религии, об интеллигенции, о 1905 г. и т. д., чтобы показать, насколько «историческое» автора взято вне его зависимости от развития «социологического», насколько оно надумано вне всякой связи с изучением истории классовой борьбы в дооктябрьской России.

И чем дальше в глубь веков, тем гуще и плотнее оседает пыль изжитой и реакционной идеологии на исторические построения автора. Уже 1905 г., о котором в книге рассказано много интересного, показан Н. А. Гредескулом в кривом, подозрительно «внеклассовом» зеркале. «Общественное движение... 1905 г. началось *вверху* (курсив мой, В. Д.), прежде всего в так называемых земских и городских сферах» (стр. 84); оно характеризуется преимущественно как «освободительное», без точного учета всей сложности отношений между общественными классами и того разнообразия содержания, которое вкладывалось ими в единое по звучанию требование «освобождения» (стр. 88 и д.); сильнейшим образом преувеличен «стихийный» парламентаризм «масс», и отсюда искривление в понимании судьбы и значения большевистского лозунга бойкота думы (стр. 94 и д.); крестьянство 1905 г., находившееся в бурном процессе классового расслоения, заменено не существовавшим в природе единым «крестьянином», не народническим даже «народом», а кадетским — будущим столыпинским — хозяйственным мужичком, которому либеральный помещик-кадет хотел запродать по «справедливой оценке» свое задолженное и разоренное Монрепо. Отсюда, надо полагать, и мужицкое спасибо первой Думе с ее выборгским воззванием за ее «доброе слово» (стр. 107); отсюда же, конечно, невероятная «надклассовая» идеализация 1905 г., как «порыва русского народа, а вместе с ним и русской интеллигенции разрешить социальный вопрос *мирно и без насилия*» (курсив мой, В. Д.), «порыва высокого, истинно-человеческого, глубоко-убежденного» (стр. 240). Нам нет необходимости, особенно теперь, в дни двадцатой годовщины великого года, когда мы вспоминаем его как пролог и первый акт 1917 г. и его Октября, доказывать, насколько такая трактовка 1905 г. неисторична, неприемлема, и как она, конечно, совершенно неожиданно для самого автора, кладет нежелательную, но утешительную для либерального российского интеллигента тень на кровавые «порывы» третьей революции.

Автору нужно российское «мессианство» нынешнего дня вывести не только — и не столько — из анализа экономических противоречий, внутренне-российских, европейских и мировых, нашедших свое отвратительное и ужасное выражение в многолетней бойне, сколько из сущности «души» русского народа, из неведомых тайников его сердца и его воли... Ему нужно связать тяжелое «мессианство» российского пролетариата с архивным националистическим славянофильским мессианством давних дней, которое было не чуждо некоторым слоям кадетской и народни-

ческой интеллигенции, а в его реакционно-охранительной редакции и еще более правым кругам российской общественности. Отсюда — настойчивые и длительные экскурсы в историческое прошлое, в поисках настоящей «души» русского народа, души великорусса, «строителя» великого государства в прошлом и настоящем.

И, посмотрите, куда приводят эти экскурсы... какое наследие волочит за собой эта ветхая денми истинно-русская «душа»... Н. А. Гредескул целиком и полностью принимает устаревшую гипотезу об искривлении русского культурного развития двухсотлетним татарским «игом»; как его следствие, он постулирует зарождение особых устойчивых свойств «души» великоросса, которые, якобы, и обусловили «своеобразие» русской истории и которые творчески действуют и поныне («историческое» в отрыве и в противопоставлении «социологическому» началу...). Автор забыл, что под эту «душу», расцвеченную Толстым и Достоевским в тона пассивизма и смирения, западные буржуа охотно и щедро давали деньги русскому царю, а она, вопреки своим основным свойствам, оказалась пакостной, и после 1917 г. этих денег упорно не платит и платить не хочет. Забыл, несомненно, и только это «забвение» дает ему возможность высказывать такие чудовищные обобщения: «...этот русский трудовой народ, который взялся за совершение социальной революции и который совершает ее под руководством тех, кто одни способны были с успехом повести его на это дело, разве это не тот самый народ, который сперва собирал свои силы вокруг Москвы, чтобы избавиться от татарского ига, а затем сбросил его под руководством московских князей, — который выдержал долгую борьбу с поляками, не дав им завладеть Москвою ни силою, ни хитростью, — который одолел внутреннюю «смуту» и посадил на царство Романовых, — который инстинктивно поддержал Петра в его реформе и отразил нашествие Наполеона?[1] Словом, разве это не тот самый народ, который всегда соединял в себе силу с дисциплиной, — готовность действовать с решимостью повиноваться тем, кто будет управлять действием?» (стр. 242). Разве это не цитата и притом почти стилизованная из достославной карамзинской «Истории»? и разве не чувствует А. Н. Гредескул, как он, искренно желая связать порванные нити между «прежде» и «теперь», неожиданно подает руку Устряловым с их надеждами на перерождение «действующих», ибо его «народу» с «исторической душой» всегда присуща «решимость повиноваться» тем, кто в данный момент будет «управлять действием»...

Н. А. Гредескул, в утеху российской интеллигенции, помещает в сокровищницу русского народа не только действительно ценное — лучших художников слова, представителей героиче-

[1] Не хватает только такого риторического завершения: разве это не тот..., который усмирил бунт Стеньки Разина, победил и разгромил банды Пугача, смял необдуманную затею декабристов и т. д. и т. д.

ской буржуазной и народнической интеллигенции и т. п., наследство, от которого, по завету великого вождя трудящихся, В. И. Ленина, пролетарская общественность не отказывается, — но он тащит нам и Петра, одного «из самых пламенных проповедников труда» (стр. 46), и Суворова, «гениального артиста», которому его «живой инструмент» (крепостные солдаты, В. Д.) «не только никогда не изменял, но и никогда не имел повода раскаиваться в своей исключительной ему преданности» (стр. 49). Чтобы сохранить нам Минина и Пожарского не только на Красной площади Москвы, а и в преданных сердцах благодарных потомков, вот как автор изображает ликвидацию «смуты»: «...это действие создано было при сравнительной дезорганизации верхов, непосредственным движением самой массы. Где-то, в Нижнем, появился «гражданин» Минин, кликнул клич к обывателю, снарядили ополчение, призвали к начальству над ним отставного «воеводу» Пожарского, и массовое действие оказалось готовым: оно сложилось, разрослось, было поддержано отовсюду, с успехом выполнило свою задачу. Действие не рассыпалось, а окрепло, потому что оно происходило в «социальной» массе, — потому что эта масса со всех сторон поддерживала это действие» (стр. 45—46). Эта цитата даже и не из Карамзина, а из дореволюционного учебника Иловайского, который должен был внедрять в младых россиян священный трепет пред великими именами великого российского прошлого...

Соединять «прежде» и «теперь», разумеется, нужно, и мы не хотим быть по Чаадаеву, чего и боится Н. А. Гредескул, людьми без прошлого, без культурно-исторического наследия. Но это не обязывает борющийся пролетариат, в качестве дорогого наследия, принимать в свое святая святых давно забракованный историей, залежавшийся, затхлый и пыльный хлам. У него великое историческое прошлое — в героической борьбе угнетенных трудящихся за свое освобождение; своих «героев» он найдет прежде всего в миллионах безымянных борцов — и русских, и всех других народов мира. И эти массы и лица в «смуте» не Романовым красным сукном путь к престолу устилали, а мучительно пытались разрешить тяжелую задачу своего высвобождения из-под гнета Пожарских и Мининых, и не «решимость повиноваться» проявляли они в великих народных движениях XVII—XIX веков.

«Прежде» и «теперь» пролетариат великолепно связывает в своей победоносной борьбе, умело разбираясь в полученном им наследии и неуклонно идя к конечному осуществлению мечты всех трудящихся. И еще лучше он свяжет «прежде» и «теперь» созданием бесклассовой культуры освобожденного человечества. А пока он охотно принимает всех честно идущих к нему на помощь, но свое прошлое и настоящее свяжет сам, отбросив все чуждое ему из идеологического наследия отживших классов, — охотно примет на свой корабль всех пассажиров — друзей и помощников, но без подозрительного багажа.

В. Десницкий.

Памяти Е. К. С.
посвящает эту книгу
автор.

Больше родины нет, есть Россия
в свистящем снегу,
Что в просторы вселенной рванулась
пылающей льдиной.

Николай Браун.

Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый...

Валерий Брюсов.

Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!

Андрей Белый.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ.

ГЛАВА I.

РОССИЯ — ТЕПЕРЬ НЕ РОССИЯ.

Россия в настоящее время не Россия. Она живет не в себе и не для себя. То, что в ней совершается, имеет не российское значение. Она — не одна из стран. Она больше этого. Ее надо измерять теперь масштабом всего человечества. Приходится говорить: Россия и остальное человечество; приходится противопоставлять то, что делается в России, тому, что делается в остальном мире. И приходится противопоставлять не как равнозначное, а как противозначное, как два противоположных полюса: положительный и отрицательный.

Один из естествоиспытателей, рассматривая эволюцию органических форм, их смену одних другими, выдвинул понятие «предуказывающих» или «пророческих» форм. Это те формы, которые будут исходными для дальнейшего развития, которые своим появлением «предуказывают» это развитие или «пророчествуют» о нем. Развитие пойдет в сторону тех признаков, которые несут в себе эти «пророческие» формы.

Россия в настоящее время — такая «пророческая» форма для дальнейшего социального развития человечества. В ней зачаток будущего, — и будущего не ее, а всего человечества.

Россия — это форпост, далеко выдвинувшийся вперед форпост человечества. Он еще одинок, он еще оторван от остального человечества, или, лучше сказать, остальное человечество еще не успело к нему подтянуться — между частью и целым еще имеется разрыв, а недавно были и настоящие проволочные заграждения, — но все же это ч а с т ь и ц е л о е, и притом часть, вслед за которой двинется целое.

Россию одни ненавидят и проклинают, а другие страстно любят и видят в ней свою надежду. И ненавидящих ничтожное меньшинство, а любящих — огромное большинство человечества.

Среди ненавидящих нынешнюю Россию есть два рода людей. Один—это классовые враги трудящихся. Это хищники челове-

чества, вооруженные наглостью, хитростью, обманом, презрением ко всем, кто не такой же хищник, как они. Это — те, кто не только хищники, но и лицемеры: это те, которые облекают евангелия в золотые переплеты, хорошо зная цену елейной проповеди любви к ближнему, как орудия одурачивания народных масс; это те, для которых — не их храм, а их «мастерская»— есть рынок, с его откровенным лозунгом: «на то и щука в море, чтоб карась не дремал». Это — большие и малые Урkварты и Морганы; это те, которые даже теперь, после пролитых рабочими и крестьянами в мировой бойне морей крови и слез, перед лицом экономического обнищания, в которое ввержены народные массы, продолжают проповедывать, что основа мира и его благосостояния есть прибыль и капитал. «Не трогайте капитала, не трогайте прибыли — тогда все будет ладно и хорошо, — не прикасайтесь к капиталу, иначе все рушится, все провалится сквозь землю», — вот что кричат перед лицом вопиющей нужды эти «мудрецы» и «благодетели» человечества.

Ну, а труд? его можно «касаться»? На него можно накладывать «налог» — прежде всего налог непомерной, сверхчеловеческой работы, — работы, превращающей человека в мочалку, уже неспособную к воспроизводству «радости жизни», а пригодную только для кладбища, где каждый возлюбленный «брат во Христе» — может найти себе «блаженное успенье» и «вечный покой»?

Конечно, можно. Не только можно, но и должно. Это необходимо и неизбежно, в этом все спасенье, весь выход из нынешнего положения. Чтобы возместить «репарации», т. е. заплатить за разбитые в войне империализмом горшки, надо, чтобы каждый рабочий, сверх «нормальных» 8 часов, проработал еще каждый день 2 — 3 лишних часа. Нужны «сверхурочные», но без добавочного за них вознаграждения.

Эту простую и математически-ясную истину, что «убытки» за «неудачную» войну, затеянную капиталистами, могут оплатить только рабочие своей добавочной и невознаграждаемой работой, уже давно, с нескрываемым презрением к «глупости» тех, кто этого не понимает, провозгласил один из «пророков» капитализма — Стиннес. «Они думали, — сказал он, — что можно проиграть войну и сохранить восьмичасовой рабочий день».

«Они» думали, рабочие думали! А что думали «они» — капиталисты? Они думали и продолжают думать, что можно проиграть войну и сохранить все свои прибыли. Да, они это думают, и они это осуществляют своими «мудрыми» Дауэсовскими планами. Они считают себя «солью» земли, а рабочих и крестьян, да заодно с ними и прислуживающую им (капиталистам) интеллигенцию, простым придатком к драгоценному механизму капитализма. «Прибыль», «капитал», гора золота с сидящим наверху Морганом — это и есть, по их мнению, суть мира, а все остальное — только жалкое и глупое человеческое стадо.

И вот, эти «мудрецы», эти «избранники» человечества, бешено и дико ненавидят нынешнюю Россию. Она стала им поперек горла, она отравляет им все их существование.

Она смеет существовать! И не только существует, но ежедневно, ежесекундно бьет их прямо в лицо. Везде рабочие и крестьяне — под их пятой — сжатые, придавленные, со скрежетом зубов, но работают, — если не послушно, то подневольно вырабатывают им «прибавочную» стоимость, а здесь, в России, они взбунтовались, и, не ограничившись заменой прогнившей монархии патентованной «демократической» республикой (made in France or in United States of America), создали «рабоче-крестьянскую» власть, Республику «Советов» — Советов «рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов»!

Для капитала это непереносимо. Пока есть такая Россия — нет покоя и равновесия капитализму. Не только это «соблазн» для всего остального трудящегося населения земли, не только это «угроза» владычеству капитала на земном шаре, но и ежесекундное ему оскорбление.

И капитализм ненавидит Советскую Россию, ненавидит бешено и дико, неукротимо и—увы!—бессильно. После попыток уничтожить эту Россию, он вынужден был ее «признать» и даже поддерживать с ней «дипломатические» сношения.

Но есть и другой род людей, которые бешено — едва ли не так же бешено, как и капиталисты, — ненавидят нынешнюю Россию. Это «друзья» народа, это — «социалисты», это — даже «революционеры».

Это — люди, которые в течение десятков лет говорили трудящимся об их «обидах» и «притеснениях», призывали их к «борьбе». Многие из этих людей называли себя марксистами. Они принимали и проповедывали теорию Маркса, они, вслед за Коммунистическим Манифестом, возглашали: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Они отрицали частную собственность и говорили, что надо водворить социализм. Они участвовали в рабочем «Интернационале», они призывали к мировой революции.

Но эти люди изменили своим словам и убеждениям. Изменили в самый решительный момент, в 1914 г., когда капитал, выявляя до конца свою звериную природу, приступил к осуществлению уже давно им задуманной мировой бойни, — во имя своего «мирового» господства.

«Социалисты» и «революционеры» стали «соучастниками» этого капиталистического «предприятия», соучастниками, разумеется, не «предумышленными», а «внезапными». Они, которые еще за день до этого принимали резолюции против войны, тут сразу забыли все: и классовую борьбу, и мировую пролетарскую солидарность, и свое отрицание войны. В качестве «народных» представителей, они голосовали за войну, заключили с буржуазией «гражданский мир», сами сражались и других

заставляли сражаться — «до полной победы», — конечно, до победы буржуазии, а не пролетариата.

Но война, в целом ряде стран, привела не к победе, а к революции. Революция охватила Россию, охватила Германию, Австрию. И вот, уже не перед лицом войны, а перед лицом революции эти «социалисты» и «революционеры» совершили свою вторую измену. Они или прямо противодействовали революции (как в Германии), или помогали революции, пока она была буржуазной, но стали бороться с ней, когда она превратилась в пролетарскую и социалистическую. В других странах им удалось подавить все попытки создания «советских» республик, но в России Советская Республика устояла и восторжествовала над всеми усилиями своих врагов.

И вот, эти изменники и предатели рабочего класса и своих собственных идей ненавидят, злой ненавистью ненавидят теперь единственную во всем мире, но огромную и непоколебимую советскую страну, превратившуюся уже в целый сноп Советских Социалистических Республик.

Она и для них является бельмом на глазу. Она ставит их на место не «друзей», а «врагов» трудящегося народа, не революционеров, а контр-революционеров, не социалистов, а отрицателей социализма. Раз Советская Россия устоит, то это будет равносильно моральному над ними смертному приговору. Теперь от названия «изменников» они отделываются предсказанием того, что Россия или не устоит перед капиталистами, или сама переродится в капиталистическую страну. Они предсказывают или гибель, или измену большевиков. Только таким путем им и дана была бы возможность избавиться от клейма предателей рабочего класса.

И по этой причине они не только предсказывают «падение» Советской России, но и прилагают все усилия к тому, чтобы оно совершилось. Они тут трогательно сливаются с капиталистами, они оказывают им помощь во всех их действиях против России и морально и физически. Они участвовали в организации интервенций и восстаний против России, они одобряли ее блокаду, они и теперь открещиваются от всякой солидарности с Советской Россией, как с зачумленной.

И чем больше крепнет Россия, тем больше они ее ненавидят. Им тоже нельзя спать спокойно, пока существует Советская Россия. Советская Россия также и их разоблачает и уличает.

Россия есть предмет ненависти, какой в истории еще не бывало; ненависти, притекающей к ней из всех стран земного шара, от союза капитала с «гуманностью» и эксплуатации с «культурой». Капитал стоит за «гуманность», а «гуманность» стоит за «капитал». Эксплуатация вовсе не отказывается от «культуры», а культура ничего не имеет против «эксплуатации». И потому они решительно и согласно «отрицают» варварскую Советскую Россию.

В мире кипит ненависть против России, ненависть всесветная, интернациональная. Ее ненавидят все те, кто стал над народными массами и хочет ими управлять и их морочить.

Вулкан ненависти, пожар ненависти!

Но рядом с ним — неизмеримо больший, гигантский, всесветный пожар любви!

Это любовь неисчислимых народных масс — белых, желтых, коричневых, черных; масс, населяющих все материки и все острова; масс, говорящих на всех языках, одетых во всевозможные одежды.

Народные массы Запада и Востока, Севера и Юга пламенно хотят, чтобы Советская Россия устояла, чтобы она существовала непоколебимо, чтобы она победила всех своих врагов и ненавистников.

Для народных масс всего света нынешняя Россия — это спасительный маяк во мраке окружающей черной ночи произвола, насилия и угнетения.

Правда, во Франции, в Англии, в Америке еще царит капиталистический обман, — обман, которому поддаются трудящиеся. Это — обман всеобщего голосования, демократии, «свободы» договоров, свободы стачек, союзов и пр. Рабочие здесь борются за улучшение своей участи в пределах существующих законов и учреждений, и им кажется, что эта борьба может закончиться полной победой, овладением государственным аппаратом.

Но и в этих странах, для того, чтобы продолжать говорить о всеобщем, «демократическом» равенстве между людьми, о свободе, братстве, гуманности и пр., надо закрыть глаза на то, что делает их буржуазия со своими колониями.

Что делает Япония с Кореей? С холодной и систематической жестокостью она эксплуатирует страну и народ в исключительных интересах наживы. Здесь водворено настоящее экономическое рабство, с неменьшим презрением к рабам, чем это было в классическом Риме. И что же, кому-нибудь есть дело до Кореи, Америке, Англии, Франции, Лиге Наций? — Никому! По крайней мере, до тех пор, пока Япония сильна, никто не заикнется «вмешиваться» в ее «внутренние» дела.

Но разве не так же обстоит дело с другими «колониальными» странами? Разве не в таком же положении Индия, Сирия, Египет, Конго, Судан, Алжир, Тунис, Марокко, Филиппины, Мадагаскар, Ява и пр. и пр.?

Вся разница в том, что Япония делает свое гнусное «колониальное» дело молча, не разглагольствуя, ничем не прикрываясь, просто опираясь на свою фактическую силу, а Англия лицемерит, делает вид, что не насильничает и не эксплуатирует, а несет в «варварские» страны «свет» цивилизации, насаждает «культуру», и пр. Но разве так еще не отвратительнее? Индия или Египет так же связаны по рукам и ногам политически, находятся в таком же экономическом рабстве, как и Корея.

Но чтобы продолжать с прежним пафосом говорить о «гуманности», «свободе», «равенстве», «демократии» и пр., надо, после войны 1914 — 1918 гг., закрыть глаза не на одни колонии или такие «самостоятельные» страны, как Китай, — надо закрыть их и на целый ряд европейских стран, прежде всего на Германию. То, что делалось и делается в Германии, это едва ли не то же самое, что делается с Кореей или Египтом. В рабство — политическое и экономическое — обращен большой европейский высоко-культурный народ. Этот народ так опутан «планом» Дауэса, а теперь еще и Локарнскими «соглашениями», что о его «самостоятельности» не может быть и речи.

Да разве, вообще, весь капиталистический мир не превращается в пирамиду, на верхушке которой находятся американские миллиардеры, забирающие под свою «пяту» все остальное трудящееся человечество? Никогда еще гнет капитала не был так очевиден, как в тех «займах», которые Америка дает другим государствам.

И вот, сотни миллионов придавленных людей, огромное большинство человечества, его лучшая, трудящаяся часть, смотрит теперь на Россию, как на якорь спасения.

Трудящиеся и угнетенные всего мира, если и не вполне отчетливо сознают, то хорошо чувствуют, что всякий другой исторический исход, кроме того, к которому ведет мир нынешняя Россия, не даст им ничего, кроме закрепления их нынешнего рабства. Для них единственная надежда — в существовании, в продолжении существования, в победе России, в распространении того, что она делает, на весь мир.

И угнетенные всех цветов и всех рас страстно любят Россию. Это — любовь стихийная, неудержимая, сливающаяся в огромный эмоциональный пожар, охватывающий сотни миллионов человеческих сердец.

Английские лорды психологически совершенно правы, когда они приходят в бешенство против России именно из-за Востока. «Колониальная» Англия и Советская Россия, конечно, на Востоке не совместимы. Либо та, либо другая из них не устоит. Но какая? Та, которую население страстно любит, или та, которая расстреливает это же самое население бомбами с аэропланов?

Но не одни «цветные» рабочие люди любят нынешнюю Россию. Ее также любят и белые рабочие Запада, — и не только Германии, но и Англии, Франции, Италии, Америки. Рабочие там еще во власти обмана, они еще идут за своими «парламентскими» вождями, они еще оттягивают момент своей решительной революционной борьбы, усыпляя себя «демократическими» иллюзиями. Но «обмануть» их насчет Советской России, — уверить их, как это старается буржуазная пресса, как в том уверяют их «рабочие» вожди, — уверить их в том, что большевики — злодеи, что большевистская Россия — это исчадие ада, — уверить их в этом уже нельзя. Рабочие массы Запада просто

классовым чутьем чуют, что Советская Россия — это они сами, это их «кровное» дело. И теперь это они не только чуют, но и знают. Сотни и тысячи рабочих из разных стран побывали, в качестве послов рабочего класса, в Советской России и увидели «правду» и рассказали о ней миллионам их пославших. И «правда» эта такова, что самые «консервативные» из рабочих — английские — взяли на себя инициативу мирового объединения с русскими рабочими. Объединения — в чем? В деле освобождения труда от гнета капитала!

Россия не только для трудящихся Востока, но и для трудящихся Запада, есть теперь не одна из стран, но единственная страна, — страна, которая взвалила на свои плечи коренную, труднейшую задачу человечества. Эта задача требует великих жертв, особенно со стороны тех, кто первыми за нее берутся. Россия принесла эти жертвы, и их все знают. Не только разорение, но и истребление. Не только междоусобная война, но и тиф, голод. Нечеловеческие жертвы, нечеловеческие страдания!

Но теперь уже дело не за жертвами — жертвы позади, — а за их результатами. Теперь дело за хозяйственным успехом первого и пока единственного в мире пролетарского государства: за тем, чтобы среди остального капиталистического мира высилась и процветала социалистическая Россия и на прочном материальном базисе строила новый культурный мир.

Капиталисты этого не хотят, а рабочие этого страстно желают. Они теперь страстно желают хозяйственного и культурного успеха России.

Вокруг нынешней России пылает не только пожар ненависти, но и пожар любви. И второй пожар — такой же всесветный, интернациональный, как и первый. Но только он явно сильнее, могущественнее первого. Им горят сердца не миллионов, а сотен миллионов людей. Эти сотни миллионов еще связаны, — связаны силою и обманом, — но придет время, когда они сбросят с себя путы обмана, когда они опрокинут угнетающую их силу, и тогда они придут к России, соединятся с нею, с торжеством поднимут ее на всесветный щит.

Уже и теперь сознательные пролетарии, — пролетарии, которые ведут активную борьбу за освобождение рабочего класса, пролетарии, которые стоят в рядах коммунистических партий, — считают Россию своим вторым и настоящим отечеством. Это не значит, что они отрекаются от солидарности со своими соотечественниками, но это значит, что они хотят привести их в лучшее и истинное отечество — в братский круг всего трудового человечества! Этого круга еще нет, человечество еще разделено на отдельные части государственными и национальными перегородками, но есть среди человечества зачаток и предтеча общего для всех трудящихся людей «отечества», и этот зачаток — Россия, нынешняя Советская Россия, составляющий ее Союз Советских Социалистических Республик.

Члены коммунистических партий, члены третьего Интернационала, приезжая в Россию, чувствуют себя «дома», чувствуют, что они со «своими», и они не раз заявляли, что почву России они считают «священной», что русских рабочих и крестьян они считают своими братьями и учителями, что они чувствуют себя обязанными перед ними великой благодарностью за мировой «подвиг» России, что их тяжело угнетает мысль, что до сих пор они не могли совершить у себя того, что русские рабочие и крестьяне совершили у себя.

Звуки русского языка теперь не обыкновенные, а особые звуки. Русский язык — теперь особый язык. Когда-то, во времена великой французской революции, французский язык называли языком с в о б о д ы, и это давало ему такое обаяние, что на нем говорили с особой охотой, как бы погружаясь вместе с ним в стихию свободы и революции. Теперь это место— место языка свободы и революции — занял русский язык. Ему учатся с особой охотой, на нем говорят с особым чувством. Старый, заслуженный революционер, председатель совета народных комиссаров Советской Венгрии, Бела Кун, выступая в Баку перед конгрессом восточных народов, заявил, что хотя он и говорит по-русски не очень хорошо, но все-таки будет говорить по-русски, потому что русский язык есть язык мировой революции и мирового освобождения.

Так Россия заняла в мире место, какого она никогда не занимала и какого для нее было трудно, почти невозможно, ожидать.

Россия стала мировым центром, ее народ стал избранным народом. Она играет первую роль в человечестве. Ее влияние на ход мировых дел неизмеримо. К ней теперь тянутся все нити грядущих, величайших исторических событий. Не даром она теперь в такой связи с третьим Интернационалом. Третий Интернационал — это заря будущей мировой революции. Но это заря — не в виде одного мерцания на небесах, а с крепким корнем на земле, в Советской России. По будущему своему значению и роли, Интернационал — это целое, для которого Советская Россия есть лишь не очень большая ч а с т ь, но по нынешнему реальному положению Советская Россия обеспечивает третьему Интернационалу всю его фактическую силу. Не будь Советской России, и третий Интернационал был бы совсем не той величиной, какой он является в действительности. Он был бы только одним п р и г о т о в л е н и е м, почти п р о е к т о м будущего действия, а теперь он огромная реальная сила. Его «зловредность» для капиталистического мира вырастает по этой причине тысячекратно.

Россия теперь — пред взорами всех. Она влияет на мир, даже когда она молчит. А когда она что-либо делает — что бы она ни делала, — это не ее домашнее дело, а дело всего человечества. Мы недавно были заняты денежной реформой, мы

вводили у себя твердую валюту: это совсем не то, что стабилизация валюты во Франции или Германии. Нет, установление твердой валюты в Советской России — это мировое событие. Это яркое и непререкаемое доказательство того, что социалистическое хозяйство — не безумное, не противоестественное хозяйство, а хозяйство совершенно правильное и дающее благодетельные и быстрые результаты.

Каждая советская фабрика, каждая школа, каждая научная лаборатория, каждая нива, каждый советский винт или гвоздь говорят на весь мир, по мере того, как все это приводится в порядок и проникается новыми началами.

Россия сейчас не Россия. Сейчас она творец мировой истории. Великий, мировой исторический процесс — процесс освобождения человечества — сосредоточился сейчас в России, свернулся в ней мощной, крепкой, упругой пружиной и действует отсюда на весь мир. Пройдет время и этот процесс из своего сосредоточенного в одном месте, сжатого состояния, перейдет в состояние расширения, распространится на весь мир, и тогда изменится соотношение между Россией и остальным миром. Как не раз говорил покойный Владимир Ильич, тогда «учителя» превращаются в «учеников», «передовые» сделаются «отсталыми», — на сцену выйдет **мировой** рабочий класс, к его услугам будет **мировая** техника и **мировое** хозяйство, в его распоряжении будет **вся** мировая культура. Но все это впереди, а сейчас мировую историю делает Россия, и пока — пока еще медлит мировая революция — это есть текущее состояние вещей, текущий момент жизни человечества.

ГЛАВА II.

ВОЗВРАТА НЕТ.

Роль, которую играет теперь в мире Россия, виднее **извне**, чем **изнутри**. Как те, которые ненавидят Россию, так и те, которые ее любят, — когда это иностранцы, — в сущности сходятся в ее объективной оценке: одни ее любят, а другие ненавидят именно за ту роль, которую она играет в настоящее время в ходе мировой истории. Если бы она этой роли не играла, им не было бы до нее никакого дела; они были бы к ней совершенно равнодушны. Но им там, за пределами России, во всех других странах,—европейских и азиатских, американских и африканских, — слишком хорошо видно, — они это наблюдают воочию, что Россия стала колоссальным направляющим фактором мировой истории, что ее влияние отражается в каждом уголке мира, — и, в зависимости от того, кто какое положение занимает в мире: принадлежит ли он к **верхним** — благоденствующим, или к **нижним** — страдающим, — одни ее любят, а другие ненавидят.

С этой стороны отзывы иностранцев о современной России не могут не быть для нас крайне интересными и нередко поражают нас своей приподнятостью и решительностью.

Вспомните, например, отзыв иностранца о самом начале Октябрьской революции, о первых днях Октября: «Десять дней, которые потрясли мир»! — Это сказал американец Джон Рид, тогда еще не коммунист, а просто наблюдатель событий, газетный корреспондент.

Но мне хочется припомнить здесь, и притом несколько подробнее, отзыв о Советской России одного из самых интересных людей современности, американского епископа Брауна. Этот «князь» церкви, в возрасте 60 лет, открыто перешел от евангелия Иисуса к «евангелию» Маркса (он сам так и выражается) и получил за это от буржуазии название «епископа неверных», «епископа большевиков» — episcopus infidelium, episcopus bolschevicorum. Его отзыв был написан им еще в 1920 г., и он гласит:

«Свержение капитализма в России — величайшее событие в мировой истории, которое превратило интернациональный социализм марксистского революционного направления из теории в факт».

«Теории, — продолжает он, — проходят, а факты остаются и побуждают к действию. Отныне революционный социализм будет действовать и денно, и нощно, со всей силой, тут и там, в любое время и в любом месте, и перед ним будут стоять три исполинские задачи: 1) свергнуть империализм, основанный на конкуренции, 2) установить великую демократию, основанную на взаимопомощи в промышленности и 3) подготовить мир для бесклассовой демократии».

«В продолжение менее трех лет революционный социализм в России сделал больше для осуществления этих трех задач, чем все государства и все церкви со всеми своими войнами сделали в течение всей человеческой истории в продолжение двух тысяч лет».

Почему епископ Браун так уверенно говорит о том, что русская революция есть величайшее событие в мировой истории, что она отныне будет действовать на человечество «денно и нощно, тут и там, в любое время и в любом месте», — почему он так высоко оценивает роль России и осуществляемого ею «революционного марксизма»?

Да прежде всего потому, что он сам испытал на себе потрясшее его до самой глубины действие русской революции. Как он сообщает, его «обращение» от христианства к марксизму произошло в 1917 г., конечно, под влиянием русских событий. Вместе с этим обращением Иисус перестал быть для него богом и «спасителем человечества». Теперь спаситель человечества — другой. «Все империалистические толкования политики, — пишет епископ Браун, — и все спиритуалистические толкования религии

должны быть уничтожены, иначе мир погибнет. Всемогущий и вездесущий спаситель, который должен нас спасти от них, уже находится в мире. Его имя — интернациональный коммунизм...». Неудивительно после этого, что о роли русских большевиков епископ «неверных» выражается так: «Русские большевики занимают самое высокое место в истории человечества и, пока они держатся, мир приближается к коммунизму». А о нынешней России он говорит: «Россия показывает дорогу... Пусть же Россия указывает путь».

В том же 1920 г., когда писалась книга епископа Брауна, знаменитый сподвижник Гинденбурга, генерал Людендорф, издал «пламенное» воззвание ко всем правительствам Европы по поводу русско-польской войны. Он в нем писал: «Большевизм наступает сейчас с Востока на Запад, уничтожая на своем пути все между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Легко было предвидеть, что большевистские армии атакуют поляков в середине мая и разобьют их, как это и произошло. Весь мир должен поэтому считаться с большевистским наступлением в Польше в направлении Берлина и Праги. Падение Польши повлечет за собою падение Германии и Чехо-Словакии. За ними последуют северные и южные соседи. Эта участь надвигается со стихийной силой. Пусть никто не думает, что буря не коснется Италии, Франции и Англии. Даже семь морей не остановят ее».

Вот два отзыва о России — генерала и епископа. Один из них любит и благословляет Советскую Россию, другой ненавидит и проклинает, но в сущности по одной и той же причине: потому что каждый из них оценивает Россию как мировой фактор небывалого еще значения. И один из них желает его повалить и уничтожить, а другой — сохранить и возвысить.

Так представляется Россия «со стороны» как своим друзьям, так и своим врагам. Мировое значение нынешней России, мировое влияние всего того, что совершается теперь в России, зависимость всей дальнейшей мировой истории от успеха или неуспеха Советской России — все это представляется иностранцам очевидным и несомненным.

Несколько иное положение существует в этом отношении внутри России. И это не только потому, что высоту горы можно оценивать, как следует, только находясь от нее на известном расстоянии, а не двигаясь по ее склонам, но тут, кроме этой *перспективной* или *умственной* причины, имеются еще и причины *эмоциональные*, притом огромного действия.

Тот величайший переворот, который сейчас совершается в мире и совершается — в текущий момент — через Россию, требует огромных жертв и немалого времени. Это переворот не моментальный и отнюдь не бескровный.

Уничтожить классовое господство и классовую эксплуатацию без гражданской войны и междоусобицы невозможно. И эта

гражданская война не может не быть длительной и жестокой. То поколение, которое живет в период величайшего мирового переворота, своими жертвами оплачивает весь длинный и кровавый счет социальной революции и гражданской войны.

И этот счет Россия оплатила полностью. Все мы хорошо знаем, что это счет кровопролития, истребления, голода, эпидемий, разорения. Почти-что нет семьи, которая не понесла бы тяжких потерь в процессе социальной революции. Это бремя, выпавшее на долю нынешнего поколения, — бремя крови и страданий, — тяжко, часто оно представляется почти-что невыносимым. На этой почве возникает ропот, проникающий глубоко, в самые массы. На этой почве возникает апатия, возникает отчаяние. На место энтузиазма к великому делу, даже у тех, кто его имел, закрадывается сомнение, является упадок духа. А у тех, кто и не понимает великого дела или относится к нему скептически, эмоциональная волна недовольства поднимается еще выше...

Хорошо говорить о величии дела, о подвиге, о героизме тем, кто стоит в стороне, кто не несет для него жертв, но каково тем, кто совершает этот подвиг, кто несет вызываемые им неслыханные жертвы? Их сознание мутится, потому что трудно выносить это напряжение жертвы и героизма, — напряжение, к тому же, длительное, многолетнее.

Россия, как совершающая ныне, и совершающая в первую голову, правда, величайшее, но и безмерно трудное историческое дело, не могла не вмещать в себе этой эмоциональной волны недовольства, усталости от количества, тяжести и длительности жертв. Эта волна то поднималась, то опускалась, она по временам охватывала не только тех, кто лишился своих привилегий в историческом перевороте, но и тех, кто освободился от них — рабочих и крестьян. Бойцы уставали от борьбы и лишений, они хотели отдыха, передышки, а эта передышка не всегда приходила во время. И тогда — ропот, ропот даже в рабочей и крестьянской массе.

Тов. Зиновьев в одной из своих речей прямо сказал, что в 1921 г., во времена Кронштадта, отдельные группы рабочих роптали на Советскую власть, были ею недовольны.

Упадок духа, ропот, мысленное возвращение к прошлому не могут не сопровождать таких эпох, как наша, — эпох, которые требуют от живущих в них безмерного напряжения и безмерных жертв.

Но мысленный возврат к прошлому — у многих и очень многих — не может не происходить и по другой, тоже очень эмоциональной причине.

Никто, живущий в своей стране, будь то даже обиженный, не может не любить своей страны, не может не испытывать глубокого, подсознательного влечения к ее природе, к ее быту, к ее культуре, к ее истории. Тоска по родине — это чувство, знакомое всем, и редкий эмигрант, даже нашедший на чужбине

полное благополучие, а у себя на родине терпевший нужду и лишения, не стремится вновь увидеть эту одновременно и «постылую», и «милую» родину, не стремится «ощутить» ее такою, какою она была, пусть даже в те дни, когда она причиняла страдания.

Наша привязанность к своей стране, ко всему ее облику — физическому и моральному — к ее нравам, обычаям, ко всему тому, что в ней есть и было, — стихийная и неудержимая. Это — «эмоционально», это — даже «сантиментально», но это так; это — естественно, это — в природе человека. И этой потребности лучше всего отдаться, лучше всего ее удовлетворить. Эмигранту — лучше всего побывать на родине, лучше всего вновь ощутить ее, окунуться в ее физическую и нравственную атмосферу, тогда «тоска по родине» может быть не только удовлетворена, но и побеждена. Вернется чувство трезвой реальности, возродится правильный масштаб оценки. И может оказаться, что «мираж» прошлого побледнеет, потускнеет, — и возродится энергия, и захочется вновь не «назад», а «вперед», не к «прошлому», а к «будущему». И тогда эмигрант, побывавший на родине, может вернуться в место своего переселения, чтобы перенести туда и свою «эмоциональность», и привязаться «чувством» к новой родине, и уже не «тосковать» по старой.

Для нас, ныне живущих, — для всего нашего поколения, прежняя Россия, Россия до 1917 г., это все равно, что навсегда покинутая страна. Мы все равно, что эмигранты, отделенные целым океаном от своей старой родины. Прошло всего лишь восемь лет, как мы в Советской России, но в эти восемь лет каждый месяц вмещал в себя больше событий и перемен, чем в обыкновенное время вмещают годы. «Как мало прожито, как много пережито». Пережито так много, что между прошлым и настоящим легла целая пропасть. Что бы ни случилось, но к прежнему уже нет возврата. Это — ясно для всякого сколько-нибудь беспристрастного человека. И это надо каждому сказать себе с полной решительностью и определенностью.

Контр-революционеры мечтают о «реставрации». Они готовы для этого обрушивать на Россию иностранные интервенции, они все еще надеются на внутренние восстания. И на разные лады — начиная от Маркова и Шульгина и кончая Гессеном и Милюковым — они толкуют о необходимости восстановить «прежнюю» «великую» Россию. Одни возглавляют эту «великую» Россию старой монархией, другие хотят, чтобы она была новой «демократической» республикой. Но они не договаривают ни себе, ни другим, что реставрация п р е ж н е й России невозможна. Прежняя Россия умерла, — и умерла безвозвратно.

Извольте, если вам угодно: представим себе на минуту, что «Советская» власть в России уничтожена, большевики «сброшены». Ведь, та участь, которая этим была бы уготована России, совершенно ясна. Россия стала бы не великой страной, на манер

прежней самодержавной монархии, или на манер новой «демократической» республики, а стала бы «колонией» европейского и американского капитала. Ведь, это же ясно как день. Если уж есть подходящее сравнение для этой предполагаемой, реставрированной, России, то это сравнение с Китаем. Тоже махина, и тоже пока еще бессильная махина. Поприще для колониальных «вожделений» и колониальных столкновений мировых насильников и хищников.

Но и сравнение с Китаем подходит для «реставрированной» России только со стороны величины и возможного внутреннего бессилия. А что касается характера тех мер, которые принял бы хозяин-капитал по отношению к своей «великой» Российской колонии, то тут предуказанием и образцом может служить только Германия. Германия тоже была «великой», и именно в том смысле, как этого хотят реставраторы России. Но эту Германию теперь повалили и хотят отнять у нее всякую возможность подняться. Принимают все меры к тому, чтобы она никогда не поднялась.

И характер этих мер отнюдь не сообразуется ни с «справедливостью» или «гуманностью», ни тем более с этим смешным и старомодным «национальным самоопределением». Он сообразуется единственно с техническими требованиями «господства». Надо для этого занять стратегические пункты — само собою разумеется. Надо оккупировать угольные или рудные бассейны — не больше как в два счета. Надо образовать на территории два-три самостоятельных государства — какое же препятствие: к услугам иностранного капитала всегда есть «сепаратисты». Наконец, надо просто заставить работать на себя все фабрики и заводы, сельское хозяйство и горные промыслы — тоже нет никаких затруднений: к услугам «иностранного» капитала «туземный» капитал. Сколько угодно готовых «приказчиков», которые за «сходное» вознаграждение берут в руки штык и кнут и заставляют своих рабочих и крестьян даром работать два-три часа каждый день в пользу иностранцев.

Препятствий к тому, чтобы превращать в «колонии» не «черные» и не «желтые», а «белые» страны, теперь нет никаких. Препятствие может быть только одно — кулак. Но кто его однажды потерял, кто раз повален на землю, тому уже не встать. Тот растерзан, тот растоптан. И нет ему «национального» спасения, потому что «национальная» буржуазия только говорит о «патриотизме», а в действительности, за подходящее вознаграждение, продает все: и «отечество» и «сограждан», и «отечественную» почву, и «отечественные» недра, и памятники «национальной культуры» и могилы «предков», — словом, все что угодно: и душу, и тело.

При таких условиях можно ли сомневаться в том, что участь «реставрированной» России, в случае «свержения» большевиков, будет хуже участи только-что «падшей» Германии? Можно ли

сомневаться в том, что Россия будет поделена на «сферы влияния», что она будет разорвана на куски, что у нее также в соответствующих местах окажутся сепаратисты? что в ней займут «стратегические» пункты? что из нее выделят и «оккупируют» угольные бассейны, нефтяные районы, платиновые и марганцевые месторождения, и пр. и пр.? А главное, можно ли сомневаться в том, что те, кто теперь добиваются «реставрации», будут всецело к услугам иностранцев для завладения нашими богатствами? Ведь, если «услужают» французам именитые немецкие капиталисты, в руках которых все время оставались все их фабрики и заводы, шахты и копи, то что же будет делать русская буржуазная «голытьба», которая вернется в Россию только с купчими крепостями на свои прежние владения? — Она будет не услужать иностранному капиталу, а пятки ему целовать.

«Свержение» большевиков было бы вместе с тем и «падением» России. Но падением худшим для нее, чем падение Германии. С точки зрения капитала, Германия «пала» после «безумной», но капиталу вполне понятной и сердцу его милой затеи: пала империалистическая Германия. Но Россия «падет» как Россия пролетарская, большевистская. Можно себе представить, что сделают победители и владыки (а этими владыками будут иностранные капиталисты) с этой пролетарской, большевистской Россией? с каким наслаждением они растопчут ее под ногами? с каким аппетитом отплатят ей за ее нынешнюю роль?

Нет, мысль отказывается с живостью воспроизводить то, что было бы с нашей страной и с нашим народом, в случае, если бы произошла «реставрация». Тут не одно «кровопролитие», не одни жестокости, не одна реакция, а тут полная гибель России. Россия стала бы не Китаем, не Индией, не Кореей, а было бы ей бесконечно хуже. Потому что нельзя безнаказанно играть ту роль, какую сейчас играет Россия, и после этого попасть в зубы капиталу. Россию сотрут, уничтожат, не оставят в живых самого ее имени, или это имя станет злобным посмешищем и надругательством. «Великая» Россия — как может быть в капиталистическом мире «великая» Россия после того, как она была пролетарской, большевистской Россией!

Нет, возврата к былому «величию» для России нет; есть только возможность нового «падения», в случае победы международного капитала над «большевистскою» Россией, — и тогда уже такого «падения», что равного ему в истории нет; лучше и не представлять себе картины этого падения.

И, ведь, сами реставраторы, по крайней мере более честные и искренние из них, хорошо это понимают. Два-три года тому назад в зарубежной «Русской Мысли», издаваемой Струве, были напечатаны записки Шульгина. Этот хорошо известный реакционер и монархист, сыгравший когда-то честную роль в процессе Бейлиса, с нескрываемой и несмягчаемой горечью описывает то

оскорбительное, презрительное отношение к русским офицерам, какое им пришлось испытывать в Константинополе со стороны французских полицейских. Шульгин пишет, что от такого отношения к русским милых «союзников» становилось просто нестерпимо.

Он поэтому ставит в заслугу большевикам то, что они отстояли «самостоятельность» России, сумели сорганизовать власть, армию и пр.

Но Шульгин думает, что все это, по какому-то странному наследству — и государственная независимость, и железная власть, и непобедимая армия — так-таки прямо и перейдет к одному из «обожаемых» им Романовых, который восстановит прежнюю «великую» Россию! Какая иллюзия и какое противоречие! Чтобы «реставрировать» прежнюю Россию, надо, ведь, сперва разрушить и нынешнюю независимость России, и ее железную власть, и ее Красную армию. Думает ли Шульгин, что в момент этого «разрушения» Россией не завладеют иностранцы? Да если бы даже этого формально не произошло — что само по себе невероятно, — то неужели он не достаточно знает русских капиталистов и помещиков, чтобы считать их «патриотичнее» капиталистов и помещиков немецких?

Мне вспоминается и другой факт из лагеря заграничных «реставраторов». Когда, в том же 1920 г., во время русско-польской войны, Красная армия заняла Минск, человек, в честности и искренности которого я не имею оснований сомневаться, бывший мой товарищ по преподаванию в Политехническом институте, проф. Б. Э. Нольде, напечатал в Милюковских «Последних Новостях» статью, в которой выражал сочувствие тому, что «русские» солдаты вступили в коренной русский город. Он делал все оговорки о том, что он не сочувствует большевикам, что он желает их низвержения, — но, говорил он, Красная армия есть «русская армия», и он приветствует ее победу!

А в это же время другие русские эмигранты — Савинков, Родичев—жили в Варшаве и братались с Пилсудским, и присоединяли русские эмигрантские силы к силам поляков с единственной целью: разбить русскую Красную армию, уничтожить единственную реальную защитницу России. И они знали, что панская Польша жаждет расширения «от можа до можа», захвата Киева, правобережной Украины, всей Белоруссии, да в придачу, конечно, и господства (чем-нибудь прикрытого) над всей остальной Россией. Нет, прежняя «великая» Россия так же невозвратима, как и прежняя «великая» Германия. Это не может быть допущено и не будет допущено победителями, пока они победители. Россия стоит независимо только потому, что она «большевистская». Так же как Германия может встать против победителей лишь тогда, когда она станет «большевистской». Ни для русских, ни для германских патриотов, если они честны и искренни, нет другого исхода, кроме «большевистского». Но

ведь для них такой исход есть противоречие? — Да, конечно, противоречие, но все же меньшее, чем то, когда они свою страну отдают в руки иностранцев. Пока в Германии остается «капитализм», Германия будет в руках французского, английского и американского капитала. Пока в России «большевизм», капитал здесь, и даже иностранный капитал, будет работать на пользу страны и народа.

Итак, возврат к старой России невозможен. Старая Россия умерла. «Новая» Россия может быть только или раздавленной под пятою капитала «колонией», или высящейся среди капиталистического мира — рабоче-крестьянской, Советской республикой. Tertium non datur. Выбирайте любое. Но только не обманывайте ни себя, ни других лживыми уверениями, что вы хотите восстановить «великую» русскую монархию или «великую» русскую демократическую республику. Имейте смелость, или имейте покорность — вы, и правые и левые патриоты — проститься навеки с вашей прежней родиной. Ее уже нет и не будет. Она в историческом огне. Ей надо или, как фениксу, возродиться из пепла в новом виде, или быть пеплом, удобрением, навозом для капитализма других стран.

Таково положение. И его надо прежде всего понять. А затем что же? Затем, все-таки, надо выбирать и решать. Надо решать основной российский вопрос: присоединяться ли к Советской, большевистской России, или продолжать ее «отрицать». Если присоединяться, то уж, конечно, честно и бесповоротно. А если не присоединяться, то надо бросить все превыспренние «патриотические» прикрытия, — и работать на одну «утробу», и даже не на свою, а на чужую, ненасытную утробу международного капитала.

Но, ведь, присоединиться к нынешней, новой, Советской России, совсем забыть о старой, «великой» России, скажут еще очень и очень многие, так трудно. В «старом» было так много хорошего, а в «новом» еще так много плохого, что душа не лежит навеки оторваться от одного и целиком пристать к другому.

Да, это нелегко. Этому сильнейшим образом препятствуют «чувства», «эмоции». «Новое» еще причиняет так много страданий, а «старое», сквозь дымку тяжких революционных переживаний, представляется таким «милым», «покойным», «удобным». Тут кроме разума и трезвых выводов действуют чувства, и с ними трудно что-нибудь поделать.

Да, чувства косны и упорны. Их не так легко удалить и заменить новыми. Но в таком случае что же? — Давайте им предадимся; давайте мысленно вернемся в старую Россию и вновь ее переживем. Посмотрим, что там было хорошего и что дурного. А затем, после погружения в прошлое, после глубокого над ним раздумья, нам, конечно, опять придется вернуться к действительности, вновь очутиться в Советской России. Тогда попробуем «вчувствоваться» и в нее, мысленно пережить ее хорошие

и дурные стороны. Возможно, что этот процесс будет всем нам полезен. Возможно, что он даст нам наше окончательное решение, облегчит нам переселение на постоянное местожительство в ту единственную реальную Россию, которая еще не всем нравится, но которая, во всяком случае, не под пятой иностранцев, которая сама распоряжается своей судьбой и которая имеет то правительство, которое ее народ поставил на место и которое он защитил от «низвержения» при самых трудных обстоятельствах.

А кстати: вдумавшись в прошлое, мысленно вновь пережив весь ход событий, который привел к «новой» России, мы, может-быть, лучше поймем и самое соотношение между «старым» и «новым», лучше уясним себе, есть ли «новое» просто «разрыв» со «старым», — или, может-быть, оно есть п р о д о л ж е н и е, продолжение всего того «лучшего», что было в «старом»?

ИЗ ДАЛИ ПРОШЛОГО.

ГЛАВА III.

РОССИЯ — МАХИНА. ЕЕ «КОЛИЧЕСТВО» И ЕЕ «КАЧЕСТВА».

В старой, до-революционной России прежде всего бросалось в глаза ее огромное «количество», ее безмерное пространство, ее несчетное население.

В течение своей тысячелетней истории Россия все время р о с л а, сперва распространяясь по восточной европейской равнине, потом захватив и всю северную азиатскую низменность, наконец, прихватывая к этому основному своему пространству еще и разные соседние куски, как Финляндия, Кавказ, Польша, Средняя Азия. Так выросла из России настоящая махина, большая, чем римская империя, и немногим уступающая нынешней британской империи.

Это «количество» России, это ее безмерное пространство, к сожалению, бросалось в глаза не столько само по себе, сколько по некоторому неприятному контрасту: по контрасту с отсутствием в России «качества». Никто, говоря о римской империи или о современной владычице морей — Британии, не выдвинет на первый план их «пространства», не скажет прежде всего: «экая махина!» — потому что с представлением о них всегда соединяется представление о «качестве». Каждое из этих государств играло мировую роль, выдвинуло свою «культуру». А у нас только и делали, что «собирали» пространство, и собрали его, действительно, целую «махину».

Иностранцы очень часто характеризовали старую Россию, как «колосс на глиняных ногах», и усердно предсказывали, что рано или поздно он развалится на части. Да и мы сами обыкновенно не очень почтительно отзывались о «матушке» России. Название «Федоры, да дуры» чуть не вписано было ей в самый паспорт. Так называли ее не только те, кто хотели над ней позлорадствовать, но и те, кто относились к ней добродушно, даже самые завзятые «патриоты». Вспомните, напр., знаменитое,

когда-то в списках ходившее по рукам стихотворение Алексея Толстого: «Федорушка». — Федорушка значит Россия.

И это колоссальное «количество» — при видимом отсутствии «качества» — невольно интриговало, невольно наводило на кантовский вопрос: wie ist es möglich? как это возможно? Ведь, каким-то процессом создавалась же и держалась эта махина, и какое-то «качество» должно же было лежать и действовать в основе этого процесса, — что же это было за «качество»? Не может же быть, чтоб так-таки и не было в России никакого «качества». Ведь, тогда всю эту махину надо было бы считать чистой «случайностью». А как же она просуществовала целую тысячу лет? Да вот и теперь, в процессе социальной революции, не разваливается, а стоит, — стоит так крепко, что самым лютым врагам ее не развалить.

Таким образом, не берет эту махину ни время, ни страшная напряженность событий. Есть в ней, значит, какая-то внутренняя устойчивость. — Так что же это за устойчивость? Почему на Востоке Европы образовалась махина — Россия, а не махина — Польша, или что-нибудь другое?

Конечно, самая постановка этого вопроса требует немедленных оговорок. По поводу нее сразу же могут сказать: вы впадаете в «самобытничество», в «славянофильство».

Нет. Нисколько. Пока я только ставлю вопрос. На этот вопрос можно отвечать «самобытничеством», «славянофильством», но можно отвечать и иначе. Одно только ясно, что вопрос неизбежен, и что на него надо к а к - т о ответить.

Как же на него следует отвечать?

Следует отвечать, во-первых, фактически, во-вторых, научно, а в-третьих, раз это будет фактически и научно, значит, это будет по-марксистски. Или можно было бы начать с другого конца: надо отвечать по-марксистки, а следовательно, фактически и научно.

Какой же тип фактического и научного объяснения может быть в вопросах этого рода?

Тут нам необходимо некоторое отступление и разъяснение.

Марксизм сходится с дарвинизмом в утверждении, что не внешнее определяется внутренним, а, наоборот, внутреннее определяется внешним. Это значит, что когда мы имеем перед собою какую-либо «живую» систему — будет ли это отдельный организм, или целое общество, — то надо считать, что его внутренние качества определены внешней обстановкой, а не наоборот: не внешняя обстановка определена внутренними качествами.

Однако, эту основную истину эволюции, как животной, так и общественной, нельзя брать слишком грубо или слишком прямолинейно. Эта истина вовсе не обозначает, что «живая» система, во всякую данную минуту, всецело определяется внешними влияниями д а н н о й же минуты, т.-е. что она представляет собою тростинку, колеблемую каждым проходящим ветром.

Вовсе нет. «Система» зачинается и складывается под воздействием внешних влияний. Ее «развитие» только и может быть правильно понято с этой точки зрения. Но когда она уже зачалась и известное время складывалась и развивалась, то она приобретает свою организацию, а вместе с ней и свою инерцию, т.-е. свою устойчивость и сопротивляемость внешним влияниям. Эта устойчивость и сопротивляемость, конечно, только относительная, а не абсолютная. Внешние влияния могут ее в конце концов сломить и разрушить, так что «система» переорганизуется, сделается другой. Но во всякую данную минуту внешние влияния этой минуты вовсе не всемогущи над живой системой. Наоборот, эта «система» им сопротивляется, с ними борется (дарвинская борьба за существование) и в этой борьбе, до известного предела, может сама изменять окружающую обстановку. Такая относительная, — не всемогущая и не самодовлеющая, а зависящая от всего предыдущего развития и от получившейся на почве его внутренней организации, — активность и самостоятельность у каждой живой системы есть. Это факт. И она тем большая, чем длиннее было предыдущее развитие, и чем сложнее и прочнее стала та организация, которая сложилась на почве этого предыдущего развития.

Но такой же точки зрения на вещи — конечно, уже не в области животной, а в области общественной эволюции — придерживается и марксизм. С точки зрения марксизма, в общественной жизни нет абсолютных категорий, а есть только исторические категории. Исторические формы общественной жизни складываются под влиянием внешних воздействий, но они складываются и имеют свою относительную устойчивость и инерцию. Организация или форма общественной жизни в каждую эпоху складывается под влиянием производительных сил, техники и условий производства этой эпохи. Но сложившись, она может сопротивляться — и сопротивляется — своему преобразованию в следующую эпоху, сопротивляется, пока не будет преодолена новыми условиями. Организация общественной жизни, как она складывается в каждую эпоху, есть не только материальная, но и идеологическая. «Идеология» зависит от «материи», но, раз возникши, она существует как факт и оказывает свое вполне определенное влияние на события. При объяснении событий приходится говорить не только «об объективных» условиях, но и о «субъективных» факторах, — приходится принимать их во внимание как составную часть общественной жизни.

Поэтому, с точки зрения марксизма, как это не раз подчеркивалось «учителями» марксизма, нельзя брать слишком грубо и слишком прямолинейно соотношения между «внутренним» и «внешним», между «материальным» (экономическим) и «духовным» (идеологическим), между «объективным» и «субъективным».

Это значит, что нельзя брать этого соотношения в разрезе каждого данного момента, а надо брать его в разрезе исторических эпох, или даже целого исторического развития. Тогда основные утверждения марксизма становятся кристально-прозрачными, абсолютно правильными, а в разрезе каждого отдельного момента и «внутреннее» может воздействовать на «внешнее», и «идеологическое» — на «экономическое», и «субъективное» — на «объективное». Во всем этом будет выражаться только устойчивость или инерция уже сложившейся на почве предыдущего развития организации по отношению к воздействиям текущего момента. Марксизм не только никогда не отрицал значения исторического момента в событиях, но, наоборот, всегда его подчеркивал.

Таким образом, «история» стоит против каждого отдельного момента. То, что происходит в каждый данный момент, вовсе не определяется условиями одного этого момента, но и всей предшествующей историей, а эта история «откладывается» или «воплощается» в организации — в организации тех «живых» систем, которые развивались в течение истории: в организации отдельных организмов, в организации целых обществ. А эта организация, в свою очередь, состоит не только из «внешнего», но и из «внутреннего», не только из «материального» (в частности, «экономического»), но и из «психического» (в частности, «идеологического»), не только из «объективного», но и из «субъективного».

Благодаря всему этому, «живая» система, как продукт своей «истории» и всего своего предшествующего развития, получает «индивидуальность», получает «особенности», отличающие ее от других «индивидуальностей». Этот факт наблюдается уже в животном мире. Каждое животное, а, в особенности, высшее животное, никогда не бывает лишь одним из экземпляров своей породы, нет, оно всегда отличается — и иногда очень характерно отличается — от своих собратий. [1] По отношению к человеку этот факт настолько очевиден, что никто и никогда в нем не сомневался.

Но такую же «индивидуальность», как продукт своей «истории» и условий своего предшествующего развития, приобретают и коллективные единицы — человеческие группы, общества, народы. Тут дело отнюдь не в «самобытности» отдельного человека, или целого народа. Быть «самим по себе», т.-е. не зависеть в своем бытии от внешних условий, не может ни отдельный человек, ни целый народ. «Самобытность» есть такое же научно негодное понятие, как и понятие «души».

«Самобытности» у народов нет и не может быть, но «индивидуальность» есть. Это — факт. Это подтверждается опытом.

---

[1] «Индивидуальность» собак очень подчеркивает, на основании своих знаменитых опытов с «условными рефлексами», академик Павлов.

Это устанавливается наукой. Если брать этот факт в обстановке исторической жизни последних столетий, то мы должны обозначить его еще и другим словом. Это слово: национальность. В процессе исторической жизни последних столетий, вместе с образованием больших государств, вместе с повышением напряжения исторической жизни и усиленным развитием духовной культуры, образовались «национальности», как некоторые культурные единства. Национальность тоже есть факт, — и как разделение человечества на отдельные народы, и как наличность у каждого народа своей индивидуальности, притом не в смысле особого физического типа или склада (это — понятие расы, а не национальности), но в смысле духовного или культурного типа.

Чтобы признавать «национальности» и «национальность», вовсе не надо быть «самобытником». Для этого надо только не закрывать глаз на действительность, видеть вещи так, как они есть, да, пожалуй, надо еще признавать закон причинности. Не могли же, в самом деле, группы людей, живя в течение столетий и тысячелетий при разных условиях, остаться одинаковыми, не иметь различий, не получить отпечатка, общего для тех, кто входит в каждую группу, и различного для разных групп.

Другое дело — вопрос о пределах этих «индивидуальностей», т.-е. о характере и содержании тех различий, которые образуют эти «индивидуальности», а по отношению к народам — «национальности». Тут, конечно, приходится констатировать, что каждая «индивидуальность» (а, значит, и «национальность») вырастает на почве некоторой коренной общечеловеческой общности. «Индивидуальности», «национальности» не только не отделены одна от другой какими-либо непроходимыми пропастями, но, наоборот, соединены воедино, в один человеческий род (так это и признают антропологи) тем несравненно большим фоном общих и сходных качеств, на котором «различия» составляют только некоторый узор или некоторую расцветку.

Конечно, «история» разных народов вовсе уж не такая различная. Наоборот, основные фазы ее одни и те же. Тут необходимо различать историческое «своеобразие» общественного развития отдельных групп человечества от лежащей под ним основной «социологической» одинаковости этого развития. «Социологическая» схема развития народов одна и та же, потому что она глубоко покоится на экономическом фундаменте, а он для всего человечества один и тот же и фазами или ступенями своего развития определяет, в конечном счете, фазы или ступени всякого другого человеческого развития. Но на этой общей для всего человечества схеме развития все же вырастает историческое «своеобразие» развития того или другого народа, выражающееся в особых красках, в особых линиях, в особых пропорциях и сочетаниях его материальной и духовной куль-

туры. И когда мы объясняем события «исторически», а не «социологически», нам необходимо принять во внимание это своеобразие. Тут приходится считаться и с отношением красок, и с направлениями линий, и с своеобразием пропорций и сочетаний. И только так — это и будет по-марксистски, ибо марксизм, в противоположность идеализму (не даром всегда при этом прибавляют: «туманному» идеализму), всегда требовал самого точного, самого тщательного учета всякой конкретной действительности. Упустить из виду, не принять во внимание, при каком-либо историческом объяснении, такого факта, как «национальность» народа, как «своеобразие» его исторического развития, — это было бы меньше всего по-марксистски. Все, что составляет «факт» в общественной жизни, хотя бы это был и не самый основной, а только побочный факт, должно быть учтено с научной или — что то же самое — с марксистской точки зрения.

Это — то отступление, которое нам было необходимо, чтобы устранить возможные недоразумения. Теперь мы можем вернуться к России — с ее безмерным «количеством» и с ее подлежащим отысканию, для объяснения этого «количества», — «качеством».

Историческая жизнь России, в ее главных социологических фазах, шла, конечно, совершенно так же, как и жизнь других народов. Когда-то русские историки настаивали, например, на том, что в России не было «феодализма». Но молодому и, к сожалению, рано умершему русскому ученому Н. П. Павлову-Сильванскому без труда удалось сразу же устранить это антисоциологическое, ярко окрашенное «самобытничеством», заблуждение исторической науки. Теперь уже никто не сомневается в том, что «феодализм» точно так же составлял «фазу развития» в России, как и в Западной Европе и как на всем земном шаре.

Но «особенным» условием русского развития, по сравнению с западно-европейским, прежде всего является географический характер Восточной Европы. Это — огромная равнина, представляющая собою одну естественную географическую область. Такой характер местности, можно сказать, предопределял собою образование здесь одного огромного государства. Ибо, кто здесь становился силен, тот не имел естественных препятствий для распространения своего владычества на всю равнину.

Но кто же здесь мог оказаться наиболее сильным?

В начале истории здесь перед нами пестрая картина множества славянских племен, с обычной борьбой между ними, или, вернее сказать, между их князьями с подручными им дружинами. Эти князья то соединяют «княжества» под одной рукой, то разъединяют их во взаимной борьбе и столкновениях. «Русская земля» то «собирается», то рассыпается, — князья то воюют

между собою и истребляют друг друга, то мирятся, заключают союзы, договоры и пр. Все это обычный «феодальный» процесс, в котором выплывшая на поверхность общественной жизни землевладельческая знать захватывает власть, не умея еще как следует ее организовать, поминутно из-за нее дерется, то создает, то разрушает «владения», хотя, в то же время, все больше и больше поджимает под себя земледельческую народную массу,— тех коренных «хлеборобов», которым некогда воевать, которые нуждаются в мире, хотя бы купленном дорогою ценою подчинения князю и его дружине. И князья с дружиною в этом отношении не зевают: между собою они воюют, но «хлебороба» все больше закабаляют и эксплуатируют, превращая его в пассивный придаток к своим затеям и предприятиям.

Так шло дело на Западе, так шло оно и у нас, в России. Буйно развивалась энергия «верхов», и она расточалась в корыстном нажиме на «низы» и в безудержной борьбе из-за власти между собой.

Но в России именно в это время случилось событие, которого не было на Западе. Это — татарское нашествие и татарское владычество, длившееся целых два с половиной века.

Татарское нашествие для всего русского населения было великим историческим бедствием, внезапно на него обрушившимся и длившимся в течение долгих лет. Оно стало тем внешним фактом, который изменил всю обстановку русской жизни. В России в это время шло то «феодальное» развитие на его первых стадиях, о котором мы говорили выше. Но весь этот процесс, все это типичное феодальное развитие, было неожиданно поставлено в особые условия. То, что произошло, напоминает известную сказку о лапте и поселившихся в нем зверях: пришла мышка-норушка, пришла лягушка-квакушка, пришел заяц, лиса, волк, — они жили вместе, между ними складывались известные отношения, — но вот, пришел еще некто — медведь, — всею своею тяжестью сел на лапоть и сказал: «а я всех вас давишь!».

Так пришли и татары на Русь. Они не вошли внутрь страны, но придавили ее извне всей своей тяжестью. Получился в исторической жизни России факт, на целых 250 лет непреодолимый, неустранимый, заслонивший свет жизни для целого населения, факт, при котором надо было как-то продолжать жить, т.-е. надо было к нему «приспособляться».

И этот процесс приспособления «живой системы» к изменившимся для нее условиям существования начался. «Живая система» «приспособилась», и не только выжила, но даже, в конце концов, сбросила с себя придавивший ее камень. В чем же состоял процесс ее «приспособления?». Какого рода свойства развило в себе это придавленное коллективное целое?

Придавивший Россию камень был так тяжел, что в течение очень долгого времени нельзя было и думать о том, чтобы сбро-

сить его с себя прямым действием. Приходилось ему покоряться, приходилось отказаться от активных проявлений энергии, с целью от него избавиться, за их полной тщетностью и бесполезностью. Приходилось перейти к пассивному состоянию: терпеливо переносить внешний гнет, отказаться от борьбы с ним на совершенно неопределенное время.

И это был опасный момент для той «живой системы», которая именовалась Россией. Жизнь требует активности, непрерывной борьбы за существование. Кто перестает бороться, кто становится пассивен, тот теряет шансы на жизнь, тот погибает. Стать совсем пассивным — нельзя, это значит — выбыть из строя. И если бы придавленное русское население действительно стало совершенно пассивным, окончательно примирилось со своей участью, потеряло «дух», то оно могло потерять вместе с этим и свое историческое существование.

Однако же и «пассивность», «бездействие» все же может быть двоякого рода: оно может быть или полным отсутствием всяких усилий, или накоплением сил, скрытым приготовлением к будущим действиям. Кто, не имея возможности действовать немедленно, не теряет духа, уходит в себя, сосредоточивается, чтобы готовить свое будущее действие при лучших условиях и с накопленной энергией — qui se recule pour mieux sauter — тот еще не пропал, тот еще может «выжить». И не только «выжить», но и «восторжествовать», — обнаружить «взрыв» энергии, как обнаруживает его пружина, которая тем больше накопляет в себе потенциальной силы, чем больше ее сдавливают.

Моменты бедствий, тяжелых условий, внешних препятствий, которых сразу не взять, не всегда бывают поэтому невыгодными для развития «живой системы» моментами. Все дело зависит от внутренней упругости системы, от заключенных в ней потенциальных сил. Если эти потенциальные силы имеются в наличности, то их сдавливание начнет увеличивать их энергию, и рано или поздно эта энергия себя выкажет, преодолеет внешние препятствия, расчистит путь для своего свободного проявления.

Какого же рода процессы крылись под внешней пассивностью, терпением, покорностью русского населения в эпоху татарского ига? Оказалась ли там внутренняя «упругость» жизни, ее «потенциальные» силы, медленный, но верный процесс накопления этих сил, словом, оказалась ли там «активность» внутренняя, молекулярная, при невозможности обнаружения активности внешней?

Да, все это там оказалось, тем более, что этому благоприятствовало и то, что кочевники остались в степи, не проникли внутрь страны, придавили ее только внешним гнетом, не воздействуя на нее внутренно.

Живой организм народа ответил на внешнее давление развитием в себе таких внутренних качеств, которые частью облег-

чали ему его тяжелое положение, а частью готовили ему избавление от него в будущем.

Какие же это были качества?

Одно из них было, правда, не самым важным, но имело большое практическое значение как во время существования татарского ига, так и к моменту избавления от него. Это была х и т р о с т ь, лукавство, двоедушие, — особое направление ума, развивающееся у тех, кто лишен возможности достигать своих целей прямым действием. Хитрость есть тот же ум, притом сильный и тонкий ум, — ум, находящийся в напряженном действии, но вынужденный лицемерить и обманывать, выискивать вместо прямых путей обходные. Такая хитрость развивается, входит в натуру тех, кто, будучи умен, вынужден подчиняться. Это — форма ума не очень симпатичная, но все же это форма ума и сила.

Такое развитие и такое направление получил «российский» ум в эпоху татарского ига. И это направление он получил, главным образом, н а в е р х у, у правящих, там, где происходило непосредственное взаимодействие с угнетателями. Там это качество ума больше всего требовалось, там оно биологически и социологически «отбиралось», и известно, как пышно оно расцвело, в особенности, у московских князей, «собирателей земли русской». Здесь оно стало высшей добродетелью и наилучшим залогом успеха. И здесь оно накоплялось в изобилии, целыми пластами, целыми формациями.

Вот это качество — ум в виде хитрости — и являлось буфером, облегчавшим соотношение придавленной России с ее угнетателями. Но для того, чтобы оно могло иметь полный успех, чтобы оно, в конце концов, избавило Россию от гнета, надо было, чтобы рядом с ним, и уже не наверху, а внизу, в самой массе населения, развилось д р у г о е качество, — качество, без которого невозможно никакое большое, массовое действие. Это — дружность, согласность массы, — отнюдь уже не ее хитрость, а, наоборот, ее добросовестность, ее готовность к жертве ради общего блага, — словом, ее с о ц и а л ь н о с т ь.

Социальность — это высшее и самое важное общественное качество. Без него успешное общественное действие невозможно. И чем б о л ь ш и м должно быть это действие, тем больше требуется социальности. Вот эта социальность и развилась в русском населении, и вширь, и вглубь, под влиянием татарского ига.

Общая опасность побуждает к общему действию, а еще раньше общего действия — к общему настроению. Те, кто находятся перед лицом общей опасности, поневоле, физически сбиваются в кучу, морально сливаются воедино; отступают на задний план частные цели, тускнеют разделяющие мотивы и получает господство над всем одно сознание: необходимость дружного, согласного действия. Надо объединиться в дружном,

согласном, самоотверженном общем действии, без этого нет спасения, без этого гибель всякому — вот та очевидная истина, в ярком сознании которой пришлось жить всему русскому населению в продолжение двух с половиной веков.

И эта истина интенсивно воспитывала население в сторону социальности, она из возникающей на поверхности ума превращалась в проникающую всю его глубину, — она из ума переходила в чувство, вслед за сферой сознания захватывала подсознательное, превращалась в привычку, в автоматизм, перестраивала весь организм, становилась биологическим ответом «живой системы» на встреченное ею непреодолимое и неустранимое (по крайней мере, до времени) препятствие к жизни. Развитие «социальности» в массе русского населения явилось «приспособлением» его к возникшим неблагоприятным условиям жизни, чтобы «выжить», чтобы не потерять своего существования.

И это «приспособление», эта «тренировка» целого населения страны в сторону социальности продолжалась, ведь, целых два с половиной века! Неудивительно, что она проникла собою весь коллективный организм, вошла в плоть и кровь его. До татарского нашествия русское население было одним, а после него оно стало совсем другим. И эту перемену надо отнести, главным образом, на развитие в нем социальности, т.-е. не только поверхностного сознания своего единства, но и глубоко-органической способности к общему, согласному и самоотверженному действию.

Социальность, способность к общему действию, вообще, присуща людям, потому что человек, уже по самой своей природе, есть общественное животное. Но всякое общее действие, а в особенности, в обстановке бедствия, да еще бедствия, захватившего огромное население, — выдвигает социальность на первый план, закрепляет ее, превращает в господствующее свойство огромной массы людей.

Это именно и произошло с русским населением под влиянием татарского ига. Социальность стала его актуальным качеством, его ясно выраженным свойством, более ясно выраженным, чем у тех народов, которые такого тяжкого и такого длительного бедствия в своей истории не переживали.

Социальность охватила массу населения. Она спаяла всех тех, которые, в своей совокупности, образовали великорусское племя, т.-е. большинство русского населения. Самая «национальность», т.-е. коллективная «индивидуальность» великорусского племени сложилась под явным влиянием татарского ига. Татарское иго внесло в эту «национальность» ее характерные свойства: сметливый ум с оттенком хитрости, «себе на уме», с одной стороны, и дружность, социальность, с другой. «Себе на уме» — у тех, кто управляет, и социальность у тех, кем управляют и кто должен подчиняться.

Национальная «индивидуальность» трех отраслей русского населения — великороссов, белоруссов и украинцев — явно различна. Белоруссы — более придавлены, чем великороссы и украинцы. В общем, их активность — и индивидуальная, и социальная — понижена. Белоруссам надо еще оправиться от неблагоприятных для них условий их исторического существования. Украинцы богато умственно одарены, но они слишком большие индивидуалисты, им, в массе, недостает социальности. Поэтому и их ум, их хитрость, вошедшая даже в пословицу («хитрый» хохол), носит более узкий, более индивидуальный характер. В противоположность украинцам и белоруссам, «национальность» великороссов носит и более широкий, и более уравновешенный характер: в ней достаточно элементов ума, но достаточно и элементов социальности. Их ум, в своем действии, умеряется социальностью. Получаются условия, более благоприятные именно для общего массового действия. «Ум» остается умом, и даже становится «себе на уме», но он не разрывает социального действия изнутри, не подкапывает его чрезмерным «индивидуализмом».

Так татарское иго оказало огромное историческое влияние на развитие славянского населения, жившего в пределах восточно-европейской низменности. Оно было тяжким, но к счастью внешним. Оно придавило, но не раздавило славянского населения. Славянское население, несмотря на испытанный им гнет, сохранило свою внутреннюю упругость и развило в себе качества, необходимые для того, чтобы сперва «приспособиться» к неблагоприятным для него условиям, а затем вновь вернуть себе «активность» и сбросить с себя внешнее иго. Россия вернула себе свою самостоятельность и свободу своего исторического развития. Но вернула его в лице уже не Киева, а Москвы, в лице не украинцев или белоруссов, а в лице великороссов.

Там, на северо-востоке России, вокруг Москвы, прежде всего в окско-волжском междуречьи, сложилась национальность, и очень значительная по своей численности, и выдающаяся по своим умственным и нравственным качествам. При общем высоком умственном уровне, эта национальность явно отличалась большой социальностью, большой способностью к массовому действию. Она-то и сбросила, наконец, татарское иго, и она заняла руководящее политическое положение на освобожденной от власти кочевников российской низменности.

Таким образом, тот «особенный» факт, который имел место в начале русской истории, а именно татарское нашествие и $2^1/_2$-вековое татарское иго, имел и свое «особенное» последствие. Он не только не погубил России, но «выковал» среди славянского населения восточно-европейской низменности многочисленную и хорошо одаренную, способную к энергичному массовому действию национальность — национальность велико-

российскую. Это — исторический факт, который, может-быть, с оттенком шовинизма, но все же совершенно правильно констатировал Пушкин в своих известных стихах:

...в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло кует булат.

Исторический молот упал не на хрупкую, а на ковкую массу. Эта масса под ударами не крошилась, а оказывала сопротивление ударам своей внутренней упругостью, и в результате удары спаяли эту массу воедино, придали ей внутреннюю организацию и внешнюю форму, словом, выковали из нее историческую «индивидуальность» с определенными национальными качествами.

Но татарское владычество вложило в русский народный характер и еще одну важную черту, на которой необходимо остановиться.

Татарские властители были не только чуждой, «азиатской» расой, но и были ниже русских по своей культуре. В течение $2^1/_2$ веков приходилось не только с ними жить, но и ладить, а очень часто и подлаживаться. Получилось сожительство с «инородцами», при котором нельзя было смотреть свысока на людей другой, пусть даже низшей, культуры. Нет, приходилось применяться к этим чуждым людям, уважать их силу, вникать в их качества и особенности, — правда, может-быть, хитрить с ними, но все же быть с ними в постоянном соприкосновении и взаимодействии. Нельзя было смотреть на этих чуждых людей, как на что-то безразличное, как на какие-то манекены или автоматы, не интересуясь их человеческими свойствами, их хорошими и дурными человеческими сторонами. Надо было в них, как в людей, «вдумываться» и «вчувствоваться», — надо было их, как людей, «понимать». А такой процесс, в между-человеческих отношениях, никогда не проходит бесследно. Он создает между людьми известную внутреннюю, «человеческую» близость.

Совсем иное получается, когда народ более высокой культуры имеет людей более низкой культуры н а д собою, а п о д собою, — имеет их в подчинении, в рабстве. Тогда вырабатывается совершенно бездушное отношение к другому человеку. Другой человек — к тому же низший по своему развитию — представляется тогда своим «господам» не человеком, а вещью, рабочим животным. Его внутренняя человеческая жизнь нисколько не интересует «господина» из высшей расы, он в нее не вникает, она остается вне поля его зрения. Получается не только равнодушное, но презрительное отношение к другому человеку. И для между-человеческих отношений не может быть ничего хуже этого. Здесь разрывается всякая «человеческая» связь между людьми.

И такое «презрительное» отношение к другим людям — тоже при известных условиях — входит в плоть и кровь, становится национальной чертой господствующих рас, сопровождает их всюду и становится сильнее их самих. Если бы надо было иллюстрировать это фактами, то достаточно было бы сослаться на отношение американцев к неграм или англичан (пожалуй, вообще европейцев) к цветным. Негрский вопрос для Северо-Американских Соединенных Штатов — это не только позор, но и своего рода национальное проклятие, проклятие именно потому, что позор.

Черный человек, — или даже белый человек, но с примесью черной крови, — для настоящего янки уже не человек. Настоящий янки не только не хочет вступить с ним в дружбу, а тем более с ним породниться, он вообще не хочет иметь с ним никаких человеческих отношений, не хочет быть с ним в одной комнате, не хочет ехать с ним в одном вагоне. Он чувствует к негру органическое отвращение. Какая же при этом может быть речь о взаимных «человеческих» отношениях? Они здесь совершенно исключены и невозможны.

А отношение англичан к цветным, хотя бы таким культурным, как индусы или китайцы!

Покойный русский фельетонист В. М. Дорошевич, в очерках своего путешествия на Дальний Восток, рассказывает, как производился таможенный досмотр в Китае (он тогда находился в руках англичан). Таможенный чиновник опрашивает приходящие пароходы.

— Сколько у вас пассажиров?

— Ответ: 3 человека и 500 китайцев!

«Люди» это только белые, китайцы — не люди. И это не в шутку и не в порыве злобы, а холодно и спокойно. Другого ответа и не может быть. Никто его не замечает и никого он не удивляет. Вот только проезжий русский фельетонист нашел в этом что-то особенное и отметил в своих «впечатлениях».

Чем же объясняются все эти факты?

Конечно, не «природой», а только «историей». История отдала негров в рабство белым, и история сделала англичан «господами» над цветными. Это создало то бездушие и даже презрение к порабощенным, которое всегда является в результате порабощения, и на этой почве закрепилась «психология», которая теперь составляет «национальную» особенность американцев и англичан.

История создала эту «психологию», история же может ее и «вышибить». Для этого надо только, чтобы «порабощенные» научились давать «сдачи» поработителям и сбросили с себя все эти рабские и колониальные отношения. Человеческая природа очень пластична: при одних условиях она становится одной, а при других — другой. Уже и теперь отношение к японцам у «белых» — не то, какое к китайцам.

В России история отношений к «инородцам», к «азиатам», была совсем другая. Русским пришлось не «господствовать» над ними, а, наоборот, в течение долгого времени быть самим у них в подчинении. И у русских образовалась, в отношении к ним, совсем другая национальная психология: способность уживаться с ними, широкая терпимость, признание за ними человеческого достоинства. И это глубоко вошло в русскую натуру, это тоже составляет национальную «особенность русских». [1]

ГЛАВА IV.

БОРЬБА ЗА РАСШИРЕНИЕ.

Так отразилось на живом коллективном целом — на русском народе — то особое историческое событие, которое случилось почти в самом начале его истории: татарское владычество. Это событие придавило русское население, но не раздавило. Наоборот, оно сосредоточило в нем его внутреннюю энергию и создало в нем способность к согласному массовому действию. Русский народ, особенно в лице великороссов, стал себе на уме, но вместе с тем проникся «социальностью». Рядом с этим развилось в нем широкое, терпимое отношение к «инородцам». Инородец для него такой же «человек», как и он сам.

С такими данными, после свержения татарского ига, расчистив себе путь к свободному историческому развитию, русский народ двинулся вперед, к своей дальнейшей истории. Опять-таки, с социологической точки зрения, с точки зрения сложения социальной структуры, эволюции общественных форм, смены учреждений и пр., развитие России шло так же, как и развитие других государств, только с известным запозданием, с медлительностью в самом темпе развития. Развитие хозяйства проходило свои обычные ступени, над хозяйством надстраивалось социальное расслоение классов, экономически сильные эксплуатировали экономически слабых, свою эксплуа-

[1] Может-быть, интересно будет отметить здесь, что когда один из наших выдающихся русских людей, покойный путешественник по южному океану Н. Н. Миклухо-Маклай, описал свою жизнь среди папуасов и свои дружеские с ними отношения, другой, еще более выдающийся русский человек, один из главных выразителей нашего национального гения, Л. Н. Толстой, написал ему по этому поводу следующее: «Меня интересует — не интересует, а умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, т.-е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой». Приведено в предисловии профессора Д. Н. Анучина к «Путешествиям» Н. Н. Миклухо-Маклая, т. I, 1923, стр. 69. — «Человек везде человек, т.-е. доброе, общительное существо» вот истина, которая совершенно непонятна нынешнему капиталистическому миру, но которая будет сама собой разумеющейся для будущего трудового коммунистического человечества.

тацию они закрепляли фактическим господством, а это господство укладывалось в форму государства. Государство же в своем развитии передвигалось из стадии раздробленности власти — феодализма — в стадию ее сосредоточения, в стадию абсолютизма или самодержавия, опиравшегося на дворян-помещиков, служившего дворянским интересам и закабалившего крестьян помещикам в форме крепостного права. Словом, с социологической стороны, это было государство — как всякое другое государство на соответствующей ступени развития.

Но какова была «историческая» участь этого государства? в каких отношениях оказалось оно к другим государствам? Как вело оно борьбу со своими соперниками? как превратилось в «махину»?

Для такой организации, как государство, борьба, т.-е. война с соседями, есть неизбежное дело. Это вытекает из самой природы государства. Ведь, государство есть организация господства одних над другими. Для власть имущих в государстве всегда неизбежен соблазн — расширять свое господство, подчинять ему соседние территории и соседние населения.

Таким образом, после свержения татарского ига Москва неизбежно должна была занять аггрессивное положение по отношению к той естественной области, на которой, уже в силу ее географического единства, должно было, в конце концов, водвориться чье-то единое владычество, т.-е. по отношению к восточно-европейской низменности. И она его заняла. Сперва она стала подчинять себе соседние русские княжества, стала «собирать» русскую землю в один кулак, уничтожать в ней феодальную чересполосицу власти, воздвигать и укреплять свое «единодержавие» и «самодержавие», а затем, когда эта цель была достигнута, когда вместо Московского княжества было создано Московское царство, соединившее под «высокою» рукою московских самодержцев все былые русские удельные области,— когда это московское царство оказалось лицом к лицу с другими «государствами», — тогда должна была начаться военная борьба его с этими другими государствами, борьба за владение российской низменностью.

И она началась, она длилась много столетий и она закончилась полной победой Великороссии или великороссийского государства, т.-е. сперва московского царства, а затем Российской империи. Борьбу эту пришлось вести и с Литвой, и с крымским ханом, и с Польшей, а впоследствии с Турцией и Швецией,— борьба эта шла с переменным успехом, иногда она сопровождалась крупными неудачами для Москвы, иногда (как в Смутное время) дело доходило почти до полной гибели Москвы, но все же, в конце концов, Москва устояла, и не только устояла, но одержала полную победу над своими соперниками и, превратившись в Российскую империю, не только расширилась на всю

Российскую низменность, но и захватила Сибирь, Туркестан, Кавказ, Финляндию, большой кусок собственной Польши, вклинивающийся в Западную Европу, т.-е. не только соединила в одном государстве все ветви русского племени (великороссов, белоруссов и украинцев), но и подчинила себе не мало «инородцев», как стоявших культурно ниже русских, так и стоявших выше их. В результате и получилась та «махина», захватившая 1/6 часть всей земной поверхности, которая именовалась Россией.

В центре этой борьбы за Российскую низменность стояла борьба с Польшей. Польша, естественно, стремилась к расширению, так же как и Москва. Ее расширение на запад встречало как естественные, географические препятствия, так и сопротивление других народов. Но на восток от нее лежала безграничная равнина, населенная, большею частью, родственными ей славянскими племенами. На восток она стремилась расшириться и как будто даже не встречала к этому больших препятствий. Литву с ее западно-русскими областями ей удалось включить в свой состав сравнительно легко, почти мирным образом, Украину она себе подчинила силой; оставалась борьба с Москвой, борьба, которая, казалось, тоже не сулила очень больших трудностей. А раз была бы побеждена Москва, то это и значило бы, что на востоке Европы образовалось бы еще большее, чем Россия, государство, но государство польское, а не русское.

Мы сказали, что эта борьба Польши с Россией, как будто, даже не сулила Польше больших трудностей. Да, так могло казаться. Почему? — Потому что Польша культурно стояла выше Москвы, потому что она была в непосредственной связи с Западом, откуда могла черпать все ресурсы далеко от нас ушедшего вперед и материального, и духовного прогресса.

Ведь не надо забывать, что татарское иго было для России страшной задержкой всего ее культурного развития. Под тяжким иноземным владычеством было не до культуры, не до успехов в науках и искусствах, к тому же это владычество и прямо отрезывало Россию от сношений с западными народами. Западные народы за эти 2½ века далеко ушли вперед в культуре и просвещении, а мы в этом отношении не двигались вперед, или, вернее, шли назад: дичали, забывали и то, что у нас было раньше.

При таком культурном состоянии, казалось, что все шансы в борьбе за восток Европы — на стороне «просвещенной» Польши, а не «варварской» Москвы. В частности, Польша имела за себя католичество, т.-е. тот европейский фактор, который играл в то время огромную роль. Католичество было тогда средоточием «европейского» ума. Оно уже тогда думало за весь мир, лелеяло «мировые» мечты, и для осуществления своих планов развивало такую «хитрость», такую «дипломатию», которая,

казалось, далеко должна была оставить за собою примитивную, азиатскую «хитрость» московских заправил. Это «умное», культурное, вооруженное всеми западными ресурсами католичество было за Польшу; оно хотело сделать Польшу орудием в своих руках для своего собственного распространения на восток, — для победы в своей собственной, церковной борьбе с восточным православием.

И Польша вступила в борьбу с Москвой, — борьбу решительную, беспощадную. Соперничество между Польшей и Москвой было настолько упорно и непримиримо, что между русскими и поляками в течение долгого времени постоянным было состояние войны, а не мира: для «передышки» заключались «перемирия», но только на известный срок, а не на неопределенное время. Не мир, как постоянное, нормальное состояние, на время прерывался войной, а война, как постоянное и нормальное между Россией и Польшей состояние, на известный, условленный срок, прерывалась более или менее длительным перемирием. Открыто считалось, что постоянного мира между Россией и Польшей быть не может.

И борьба уже стала клониться в пользу Польши. Пущены были в ход все средства, — с помощью польских сил на московский престол был посажен самозванец, открывший широко ворота в Москву не только польским войскам, но и католическому влиянию, — часть московских бояр была уже на стороне польского королевича Владислава, — Россия была наводнена польскими отрядами и казачьими шайками, Россию охватила такая внутренняя смута, что казалось, что ей уже нет спасения, что тем или иным путем она, как раньше Литва, должна попасть в объятия Польши.

И однако же этого не случилось. Произошло в России какое-то внутреннее напряжение, какое-то внутреннее усилие, и Польша была отброшена, и охватившая страну смута была устранена. Чему это надо приписать?

Это надо приписать «социальности» великороссов. Долгое татарское иго приучило великороссов к дружности, к внутренней дисциплине, внедрило в них способность к массовому действию, — и это и дало России перевес над Польшей.

Перед перспективой нового ига чужеземцев население вышло из своей обычной пассивности, из ежедневной погруженности в будничные заботы, и создало то массовое действие, которое было необходимо, чтобы отбросить чужеземцев.

Замечательно, что это действие было создано при сравнительной дезорганизации верхов, непосредственным движением самой массы. Где-то, в Нижнем, появился «гражданин» Минин, кликнул клич к обывателю, снарядили ополчение, призвали к начальству над ним отставного «воеводу» Пожарского, и массовое действие оказалось готовым: оно сложилось, разрослось, было поддержано отовсюду, с успехом выполнило свою задачу.

действие не рассыпалось, а окрепло, потому что оно происходило в «социальной» массе, — потому что эта масса со всех сторон поддержала это действие.

Выступившая на историческую сцену масса закончила свое дело тем, что не только изгнала иноземцев, но и водворила «порядок», устроила «власть». Эта власть была устроена в единственно возможной тогда форме — в форме «самодержавия». После этого масса вновь разошлась по домам. Дальнейшая участь государства оказалась в руках «верхов», в руках «самодержавия».

И это «самодержавие», опираясь на «социальность» населения, опираясь на его готовность тянуть государственное «тягло», опираясь на его тогдашнее «доверие» к власти, стало быстро расширять пределы государства. Сила московского царства стала быстро крепнуть и возрастать, и ему недоставало только одного: европейской культуры, европейского образования. Надо было стать в уровень с Европой, надо было наверстать потерянное в культурном отношении благодаря $2^1/_2$-вековой остановке культурного развития.

Нужна была «европеизация» полуазиатской России.

Эта задача была выполнена «сверху», отчасти даже при сопротивлении низов. Для выполнения этой объективно необходимой для страны задачи нашелся даже «гений», — он родился там, где это было удобнее всего для выполнения самой задачи, — как раз у рычага власти, в лице самого самодержца. Петр I представляет собою личность, которая, неся в себе все недостатки и своего времени, и своего положения, тем не менее не будет забыта в русской истории.

В Петре надо отметить не только то, что это был гениальный государственный человек, двинувший Россию в сторону «европеизации», но и то, что это был настоящий «работник», — работник который уделял время не только для умственного, но и физического труда.

Слова Пушкина

. . . то академик, то герой
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник

вовсе не составляют незаслуженной лести Петру. Нет, Петр был работником по натуре, работником по страсти. Для него взмахи топором были так же необходимы, как и команда в бою, или принятие решения об учреждении Академии. Он не только любил, но и всей своей натурой уважал труд, не различая труда физического от труда духовного. Он не кокетничал ни с топором, ни с веслом, он отдавался им всецело и не только учил этому других, но и требовал этого от других. Петр — это один из самых пламенных проповедников труда, как основной стихии жизни, как ее не только необходимой, но и благороднейшей принадлеж-

ности, притом проповедник не словом, а делом. Труд не для одних внизу стоящих, а для всех, труд не как черная работа для черных рук, а как радостное творчество жизни, обязательное для всех, — вот что говорит нам образ Петра из-за грани двух веков.

Деятельность Петра была деятельностью «сверху». Внизу необходимость «европеизации» была не очень понятна. А поскольку она шла в разрез с народным невежеством, поскольку она затрагивала религиозные предрассудки, она даже прямо возбуждала против себя народные массы. Народная темнота, подстрекаемая религиозным фанатизмом, готова была видеть в безбородом и одетом по-иноземному царе самого антихриста.

Но все же Петр имел в народной массе и твердую опору: опору в ее социальности, в ее привычке «повиноваться», в традиции ее «доверия» к самодержавию. Он имел к своим услугам широкую народную психологию (особенно великорусскую), сложившуюся под влиянием всей предшествующей истории. Народная масса была «послушна»; она привыкла ждать «приказаний» и добросовестно исполнять их; она привыкла «доверять» ходу событий под руководством верхов. С этой стороны вся инерция сложившейся народной психологии была в пользу Петра. Он смело мог «командовать» сверху, мог жестоко расправляться там, наверху, со всеми, кто становился ему поперек дороги, не боясь непокорности и строптивости из самой глубины, от народных масс. Народные массы, до поры до времени, своей добросовестной послушностью, своим убежденным «доверием» к власти составляли прочный фундамент для российского самодержавия.

Деятельностью Петра Россия была превращена из московского царства в российскую империю. Гениальный царь-плотник не имел достойных себя преемников. На престоле сидели, большею частью, ничтожества или даже полоумные люди, но российская империя, как бы по исторической инерции, росла и росла, обнаруживая огромную военную силу. В начале XIX в. она выдержала борьбу с Наполеоном, опрокинула его, заняла место гегемона в Европе. Вместе с этим, в течение XVIII и XIX веков, она расширила свои границы далеко за пределы собственно-русской территории. Польша была совсем уничтожена, присоединена Финляндия, покорен Кавказ, подчинена российскому владычеству Средняя Азия, — словом, Россия после Петра превратилась в ту «махину», о которой нами говорилось выше.

И вот теперь, возвращаясь к вопросу о том: как могло это случиться, как могло образоваться такое огромное государство, было ли его «количество» одним количеством без «качества», простой рыхлой массой разнородных населений, колоссом на глиняных ногах, мы можем дать на него гораздо более уверенный ответ.

Как и надо было ожидать, это «количество» не было простой случайностью. Оно было обусловлено предшествовавшими ему «качествами», оно имело за собою определенные «причины». И эти «причины», с порожденными ими «последствиями», теперь перед нашими глазами.

Игра истории на Российской низменности сложилась бы, вероятно, иначе, если бы не татарское нашествие. Оно заставило русское население передвинуться на северо-восток; оно переместило центр русской истории из Киева в Москву. Вместе с тем оно сплотило население северо-восточной России в одну сплошную массу, оно выковало из этого населения многочисленную великорусскую национальность; оно выработало в этом населении определенные качества. Великороссу, в его тяжелом положении, пришлось напрячь все свои умственные способности, стать «себе на уме». Крепкая дума приводила его к необходимости «общего действия», а, следовательно, взаимного согласия и дисциплины. «Общее действие» глубоко внедрило в нем качества «социальности», а постоянное соприкосновение с «инородцами», над которыми не он господствовал, а которые очень долго над ним господствовали, сделало его натуру, в отношении к другим национальностям, широкой, покладистой, терпимой, избавленной от того высокомерия, которое говорит: я — человек, а ты нет.

И вот эти именно «качества» и создали российскую «махину». Руководящим народом сделались на Российской низменности великороссы. Они создали у себя крепкую и умную власть в виде московского самодержавия, и они, своей «социальностью», дали возможность этой власти предпринимать крупные исторические действия. В результате, великорусское государство разрослось во всероссийское государство, а это всероссийское государство превратилось в «империю», вышедшую далеко за пределы собственно «русских территорий». Российская империя покорила всех своих более слабых соседей и, наконец, стала мечтать о Цареграде, о выходе к Средиземному морю, Индийскому океану, словом «об империалистической» карьере в современном смысле этого слова. Но тут произошло то, чем вообще суждено закончиться «империализму»: в России произошла пролетарская революция, которая все ее развитие направила совсем в другую сторону.

ГЛАВА V.

КУЛЬТУРА. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Культурная судьба России, как уже сказано, в течение долгого времени была довольно незавидной. Россия далеко отстала от других во всех областях жизни, и материальной и духовной. Ей

пришлось «догонять» в культуре своих западных соседей, ей понадобился процесс «культурной европеизации». Со времени Петра (впрочем, в известной мере, еще и раньше) в России совершался этот процесс, но все же она не очень поспевала за другими, оставаясь в хвосте «цивилизации», являясь «отсталой» в семье культурных народов. В это время она явно преуспевала только в одном, для нее тогда самом главном: в военной деятельности. Тут ее успехи были совершенно очевидны. Тут не только сказались, в целом ряде войн, изумительные качества русского солдата: его безграничное самопожертвование, трогательная простота в подвиге, добросовестное исполнение самой строгой дисциплины,—словом, все то, что с такою художественною силою и яркостью воплощено Л. Н. Толстым в типе Платона Каратаева, — но тут выявилась на русской почве и подлинная гениальность.

Военное дело в России выдвинуло полководца, которого можно поставить в уровень с величайшими полководцами всех времен и народов. Он не был подражателем, а самым настоящим творцом. Это был Суворов.

Суворов был глубоко народным великорусским типом. Не признающая никаких препятствий, совершенно исключительная воля, огромный интеллект с практическим уклоном и с национальной складкой «себе на уме», безошибочная интуиция по отношению к свойствам русской солдатской массы, наконец, организаторские способности самого первого ранга, — вот основные свойства Суворова. Суворов был как-раз тем вождем, который был нужен русской военной силе. Не показной, простой, лишенный всякой театральности, но с наличием чудачества, столь же естественного, сколько и намеренного, Суворов вырастал среди армии в живую легенду, — умы и сердца людей, совершавших деятельность, которая требует жизни и смерти, принадлежали ему безраздельно, армия в его руках была тем же, чем бывает инструмент в руках артиста. А так как артист был гениальный, то и его живой инструмент не только никогда ему не изменял, но и никогда не имел повода раскаиваться в своей исключительной ему преданности. Как известно, самый трудный момент всей своей долгой военной деятельности Суворов переживал во время Швейцарского похода. Преодолеть Альпы, в виду более многочисленного противника, казалось совершенно невозможным. Его противник, Массена, уже доносил в Париж: «Он защищается как дог, но я его держу» (il se défend comme un dogue, mais je le tiens). И однако же не удержал. Суворов вырвался даже из клещей.

К сказанному, может-быть, надо еще добавить, что это была пора, когда ни сам гениальный полководец, ни его армия не сомневались в том, что служба «царю» и «отечеству» как-раз и есть высшая служба на земле. Поэтому «нравственный элемент» массового действия был здесь в полной наличности и никакие

сомнения не разъедали всего этого военного организма, нашедшего себе, в лице Суворова, свое высшее, возможное при данных исторических условиях руководство.

Впрочем, под руководством ли гениального полководца или без него, под начальством обыкновенных генералов, но русская солдатская масса добросовестно выполняла свое дело, и русская армия, одержав победу даже над Наполеоном, другим гениальным полководцем нового времени, но с совершенно иным, чем у Суворова, отношением и к армии, и к народу, стала терпеть поражения только тогда, когда абсолютизм стал окончательно разлагаться, когда он уже не давал армии ни достаточной военной техники, ни сносного командования, и когда, вдобавок, и нравственный элемент войны и военного устройства стал неудержимо испаряться вместе с разложением общественного строя.

Таким образом, в течение долгого времени, обладая огромным «количеством», Россия могла похвастать только своими военными качествами. Но, ведь, военные качества—это тоже «качества», и очень высокого значения.

Военная деятельность направлена на огромный и трудный результат, она требует огромной и трудной организации, люди в нее вовлекаются с самой чувствительной для них стороны — со стороны жизни и смерти — и создавать военную (а для гражданской войны — революционную) силу, создавать и обеспечивать победу в вооруженной борьбе, это требует от людей не заурядных, а самых высших качеств. Кто попадает в армию, кто попадает на войну — международную или гражданскую — тот проходит высшую жизненную школу, тот должен обнаружить высшие человеческие способности.

Конечно, армия может быть красной или белой, война может быть реакционной или революционной,—это проводит резкую грань между армиями и войнами. Но сама военная деятельность, как таковая, есть одна из высших и труднейших деятельностей.

Поэтому и успехи в военной деятельности, приведшие к созданию той «махины», которая именуется Россией, надо оценивать как положительный факт русской истории, как выражение тех качеств народа, которые можно обратить на зло, но которые сами по себе представляются высоко ценными и которые могут обеспечивать собою и высочайшее добро.

Однако, с конца XVIII и с начала XIX столетия, на почве той «европеизации», которая началась еще и раньше, стала вырастать в России и своя «гражданская» культура. Русская жизнь не только стала проникаться внешними признаками европейского обихода: техникой, модами, французским языком, ложным классицизмом, и пр., но и стала выявлять свои собственные культурные достижения. Зародилась русская «литература», появились «идеи», стала слагаться «интеллигенция», началось «общественное» движение...

И все это стало обнаруживаться уже не в виде «подражания», а в виде подлинного «органического» развития. Тут уже и культурно стало выявляться, что Россия не просто «махина», — что ее «количество» чревато «качествами». Захолустная, отсталая страна, страна в культурном отношении едва успевшая занять место «провинции» Западной Европы, стала быстро слагаться в своеобразную историческую индивидуальность, с собственными внутренними проявлениями, с собственным самосознанием, со своим отношением к жизни, — и прежде всего к своей собственной жизни, к жизни своей страны и народа. Огромный по своей численности народ стал слагаться в великий по своим качествам и по своим потенциальным судьбам народ. На какой же почве все это происходило?

Мы уже говорили, что каждый народ, совершая свое социологическое развитие, имеет вместе с тем свою историческую судьбу.

Социологическое положение России в ту эпоху, о которой мы теперь говорим, было такое же, как и везде, только с опозданием против других.

Россия была государством абсолютного, дворянского, крепостнического типа. Господствующим и эксплуататорским классом были в ней землевладельцы, помещики, дворяне, классом эксплуатируемым были крестьяне, а средством эксплуатации было крепостное право.

Но в роли каждого социально господствующего и эксплуататорского класса надо различать два периода: первый, когда господствующий класс еще только выступает на сцену и имеет за собою относительные заслуги; он развертывает в это время те производительные силы, которые его самого выдвинули вперед, и этим увеличивает относительное благосостояние всего общества.

Но за этим первым периодом наступает второй: производительные силы данной эпохи уже развернуты, заслуги тех, кто их развернул, уже исчерпаны; в недрах общества уже зарождаются и требуют себе свободы развития новые производительные силы. А между тем, «господа» положения не только не склонны бывают дать место этим новым силам, а вместе с ними и новым порядкам, но они все усерднее нажимают тот пресс, который находится в их руках. Из силы прогрессивной они становятся силой реакционной. Они все больше задерживают естественное развитие жизни и ложатся все большей тяжестью на тех, кого они эксплуатируют.

Именно в таком втором периоде и находилось самодержавное, крепостническое государство в России во второй половине XVIII и в начале XIX века. Помещичий класс в это время освободился от всяких обязанностей перед государством, но крепостное право не только не было отменено или ослаблено, но наоборот, «либеральная» Екатерина, излившая свое «свободо-

любие» и свое «народолюбие» в знаменитом «Наказе» в таких пылких выражениях, что французская цензура не допустила его к переводу во Франции, — эта поклонница, собеседница и близкий друг французских энциклопедистов довела крепостное право и произвол помещиков до степени настоящего рабства. Покойный Ключевский, в пятом томе своего «Курса русской истории», наивно упрекает ее за это, доказывая, что это было юридически и морально неправильно. «Екатерину можно назвать виновницей крепостного права не в том смысле, что она создала его, а в том, что крепостное право при ней из колеблющегося факта, оправдываемого временными нуждами государства, стало признанным правом, мало чем оправдываемым».[1] Но, ведь, Екатерина только творила этим волю господствующего класса — помещиков, а эта воля у господствующих, во втором периоде их господства, всегда бывает особенно злой, неумолимой и даже — увы! для них самих — «неблагоразумной», переходящей пределы «упругости» самого господства.

Таким образом, «социологическое» положение России в это время характеризуется тем, что это было помещичье, крепостническое государство, вступившее во второй, особенно злостный, период своего развития. Эксплуатация крестьянской массы верхним дворянским классом усилилась, утратила свой прежний, бытовой, патриархальный характер, потеряла под собой свои прежние «государственные» основы (обязанность дворян «служить» государству), стала все больше превращаться в неумолимое «выколачивание» из населения «барщины» и «оброка», сопровождалась при этом полным отчуждением от крепостной массы, а нередко и таким издевательством над ней, что даже сама венценосная крепостница вынуждена была подвергать своей опале иную слишком уже зарвавшуюся «Салтычиху».

Народная масса глухо стонала под этим тяжким гнетом и издевательством, а по временам и теряла всякое терпение, выражая свой гнев отдельными вспышками, а то так и настоящим массовым восстанием, которое не так-то легко было подавить (пугачевщина).

И вот на этой социальной почве и стала выявляться собственная общественная «мысль», стала зарождаться собственная «литература», стала формироваться собственная «интеллигенция»... Началось русское «общественное движение».

Русская общественная мысль «осознала» тяжкое положение крепостного «народа», русская литература стала выразительницей этого «сознания», русская интеллигенция прониклась этим сознанием и возложила на себя «долг перед народом», разумея под ним необходимость уничтожения крепостного права.

---

[1] Ключевский. «Курс русской истории», ч. 5, 1922, стр. 98.

В составе общественного тела, между угнетателями крепостниками и угнетенной крепостной массой, появилась тоненькая прослойка людей, протестовавших против крепостного права не во имя собственных интересов, а во имя «гуманности», во имя «прав человека». Эти люди нередко сами были помещиками, владельцами «душ», но они порицали и отрицали крепостное право, как оскорбляющее «человеческое достоинство» и как ведущее к невыносимому для «нравственного сознания» произволу и угнетению. Так, по крайней мере, они сами формулировали и мотивировали свой протест против самой основы тогдашнего общественного порядка.

Эта очень небольшая в то время кучка людей и составила зародыш русской «интеллигенции», положившей начало русской общественной «мысли», создавшей русскую «литературу».

Вопрос об «интеллигенции» много трактовался в последнее время, и трактовался с весьма различных точек зрения. Главное противоположение взглядов, какое здесь имеется, это, с одной стороны, признание интеллигенции за особый самостоятельный общественный класс, отдельную самостоятельную общественную категорию (идеалистическое воззрение) и, с другой стороны, отрицание за интеллигенцией самостоятельного значения, признание ее простым придатком к общественным классам (материалистическое или марксистское воззрение). Само собой разумеется, что интеллигенция не имеет самостоятельного общественного значения: не она — творец истории и не ее «идеи» двигают историческое развитие. История творится диалектикой классовых отношений, а классовые отношения слагаются на почве производственных отношений.

С этой точки зрения, процесс появления интеллигенции и созидания ею идеологий есть процесс закономерный, не привходящий в «общественное бытие» откуда-то извне, а наоборот, порождаемый и обусловливаемый этим самым общественным бытием. Хозяйственная основа жизни идет от одной техники к другой, от одних производственных отношений к другим, от одной хозяйственной формации — к другой. В соответствии с этим, на верх общества, к экономическому и политическому господству, выдвигается то один, то другой общественный класс. Каждый пришедший к власти общественный класс сперва играет, как мы уже указывали на это, относительно прогрессивную роль. Но затем наступает второй период: выдвигается новая техника, выступают на сцену новые производительные силы, вместе с ними рвется вперед новый общественный класс, но на пути всему этому оказывается старый господствующий класс, который начинает задерживать хозяйственное, а вместе с ним и социальное развитие общества, т.-е. начинает играть реакционную роль. И вот, в связи с этим находится и идеологическое развитие общества. Когда господствующий

класс находится в первой половине своего господства, — когда он играет прогрессивную роль, — общественная «идеология» бывает за него, она его «идеализирует» и ее пафос звучит убедительно и за пределами господствующего класса, она или не имеет идеологических соперников, или легко их побеждает. Но когда господство известного класса передвигается во вторую половину своего развития, когда оно становится реакционным, тогда начинает нарождаться общественная «идеология», выступающая против него и выдвигающая на сцену такие «идеи», которые уже предвосхищают будущее, которые идут в пользу тех, кто сменит нынешних господ. И такая новая общественная идеология становится все сильнее, — она все больше начинает побеждать идеологию господствующего класса.

Таким образом, «идеи» или «идеологии» в известном фазисе развития как бы опережают или предвосхищают ход событий. Впереди событий идет в эту пору некоторая совокупность идей, некоторый «идеал», некий «огненный столп», и освещает путь, и, как-будто, даже руководит движением общества. Последнее, конечно, есть иллюзия; «идеал» есть только отсвет в человеческой мысли уже намечающихся, уже получающих под собою реальную почву новых общественных отношений, но так как действия людей сперва проходят через их «головы», через их «идеи», то отсюда понятно, правда, не первичное, а вторичное, но все же очень важное значение «идей» и «идеалов». «Идеи» и «идеалы», вместе с теми, кто является их носителями — интеллигенцией — занимают место передового поста общественного развития.

В это время и термин «интеллигенция» получает специфический и несколько суженный против своего естественного значения смысл. Он обозначает уже не совокупность всех «идеологов» данного общества, а только тех из них, которые предвосхищают и отстаивают пути будущего развития. Интеллигенция в этом смысле обнимает только «передовых» идеологов, — идеологов, которые не на стороне «существующего порядка», а против него, — которые его критикуют, отрицают — во имя некоторого идеального будущего. Естественно, что между такой интеллигенцией и господствующим классом возникает непримиримый антагонизм. Господствующий класс начинает преследовать интеллигенцию. Интеллигенция становится не только «авангардом» общественной борьбы, но и «мученицей» событий. При известных обстоятельствах кажется даже, что она одна ведет борьбу с существующим порядком, что вся борьба взвалена лишь на ее плечи, и что победа в этой борьбе зависит только от нее, от ее героических усилий. Невольно складывается преувеличенное представление о роли интеллигенции в общественной жизни. Это преувеличенное представление, в конце концов, в общем итоге, надо, конечно, отвергнуть, но правда заключается в том, что в эпохи «переломов» жизни,

в «критические» эпохи переходов от старого порядка к новому, интеллигенция, действительно, оказывается сильно выдвинутой вперед, а ее «деятельность» и «качества» этой деятельности получают большое общественное значение.

Так было везде, так было и в России. Как известно, самое возникновение интеллигенции относят лишь к концу XVIII века, ко времени Новикова и Радищева. Это верно только в изложенном условном «смысле», т.-е., если считать, что «интеллигент» — это не просто «идеолог», представитель и выразитель общественной мысли, какою бы она ни была сама по себе, но «идеолог», выступающий против существующего порядка, против интересов господствующего класса. «Интеллигенция», в этом оппозиционном смысле, действительно, народилась в критический период крепостнической эпохи, когда эта эпоха от своего предшествующего подъема стала склоняться к упадку. В лице Новикова, Радищева, Фонвизина, интеллигенция, действительно, отделилась от крепостничества и самодержавия, стала их отрицать, стала вести с ними борьбу. И в этом русская интеллигенция ничем не отличалась от интеллигенции всякой другой страны.

Но, наряду с этим общим или социологическим характером русской интеллигенции, в ее положении была и некоторая особенность, — не социологическая, а историческая, — особенность, которая сыграла свою, и притом не малую, роль в судьбе русской интеллигенции. Нам надо ее отметить.

Как мы уже сказали, интеллигенция, в смысле «передовой», оппозиционной интеллигенции, «предвосхищает» будущее, строит «идеал» будущего. Это «предвосхищение» того, чего еще нет, но что только впереди, задача нелегкая, она требует исключительных и редких способностей. Только великие, гениальные «прозорливцы» делают здесь основную идейную «прокладку», прорезают светом новых идей самую гущу «мрака» будущего. Остальные за ними следуют, подхватывают их идеи, разрабатывают их в частностях, применяют их к тем или иным конкретным обстоятельствам, наконец, работают над их осуществлением. Получается своего рода внутренняя иерархия в самой интеллигенции: впереди самые крупные, подлинные творцы новых идеалов, сильнейшие умственные прожекторы, пронизывающие светом своих идей огромные, еще не пройденные пространства будущей жизни; а за ними толпа их последователей — тех, кто подхватывает идеи, распространяет их и борется за их осуществление.

В деятельности русской интеллигенции, — интеллигенции социально и политически отсталой страны, — не надо было «открывать», наново и впервые открывать будущего. Будущее уже было «открыто», — отчасти открыто в самой «действительности» продвинувшейся дальше России в своем социальном и политическом развитии Западной Европы, а отчасти открыто

в тех «идеальных» построениях, какие уже возникли там, на Западе. России надо было итти вперед, — но после того, как другие страны уже прошли вперед. Между тем Россия с XVIII века, в процессе своей «европеизации», уже вошла в контакт и с жизнью Западной Европы, и с ее передовой мыслью; она ознакомилась с западно-европейской действительностью и ее идеалами. Естественно, что общественная функция русской интеллигенции: предвосхищать будущее, указывать на него, проповедывать его, не могла не сворачивать в сторону Запада. Осуществляя свою общественную роль, русской интеллигенции пришлось стать отзвуком Запада. Это, с одной стороны, облегчило ее задачу, освободив от той части работы, которая лежит впереди всего: от самостоятельного творчества идеалов. Но это, с другой стороны, поставило ее в своеобразное положение и столкнуло с особыми трудностями.

Когда развитие какой-либо страны, двигаясь к новым формам жизни, должно пройти через стадию самостоятельного творчества «идеалов», предвосхищающих будущее, тогда все это развитие получает более органический, более «здоровый» характер: «идеалы» начинают слагаться, вырисовываются, облекаются в ясные образы, распространяются в массе, противополагаются действительности, когда эта действительность уже, до известной степени, подготовлена к этому будущему, когда она исторически близка к его осуществлению. Действительность сама здесь и рождает эти идеалы, потому что она уже беременна будущим, потому что в ней уже «зачался» и развивается росток этого будущего...

Другое положение получается, когда «идеал» воспринимается извне, когда он отражает развитие, уже гораздо дальше продвинувшееся вперед, — не свое, а чужое. Такое положение не может не вносить черты болезненности в общественный процесс и черты трагизма в положение интеллигенции.

Интеллигенция видит перед собой «идеал», и не только «идеал», но и продвинувшуюся вперед чужую «действительность», — она рвется вперед, — прямо к действию, к осуществлению идеала, а между тем та «действительность», в которой она живет и которую она хочет переделать, еще очень далека от того, чтобы быть готовой к этим переменам. И вот интеллигенция, со своими усилиями переделать свою действительность, уже на самых первых ступенях этих усилий — при попытках одной проповеди и распространения идеалов, — наталкивается на непрошибаемую стену и гибнет в непосильной борьбе, не находя себе отклика даже в тех, за чьи интересы она кладет свои головы.

Это создает особые трудности для интеллигенции, но это вместе с тем вырабатывает у нее и особые свойства. На первый план выдвигается для нее не момент мысли, а момент воли. Воля должна обостриться здесь до последней степени, и притом в сторону самопожертвования: интеллигенция оказывается обре-

ченной на «жертвы», — жертвы без конца и без видимого успеха. Позиция чрезвычайно тяжелая и чрезвычайно неблагодарная. Выполнять свою историческую роль при таких условиях можно только при наличии героизма. Героизм, самопожертвование, мученичество должны выдвинуться здесь на самый первый план. Интеллигенция должна получить здесь резко «революционный» характер, однако, при условии, что для «революции» еще нет объективных условий, так что кучка «революционеров» остается одинокой, не поддержанной, и героически гибнет в неравном бою. Общественное развитие должно получить при этом такой характер, что задолго до наступления «революции» идет подготовка революции, — подготовка созданием, правда, численно небольшого, но героического кадра «революционеров», кадра, который в течение долгого времени составляет штаб без армии, но который в высочайшей степени развивает и сосредоточивает в себе «революционную» энергию с величайшим напряжением революционного самопожертвования и героизма.

Повторяем, создать у себя такую «революционную», героическую интеллигенцию не легко. Далеко не всякий из отсталых народов выдвигал ее из своих недр. Русский народ ее выдвинул и выдвинул в образе такого воплощения революционной воли и революционного героизма, что трудно где-нибудь указывать подобное. Русская интеллигенция, в смысле ее неукротимой революционности и безграничного революционного самопожертвования и героизма, представляет собою явление едва ли не исключительное во всемирной истории. Нигде революции не предшествовал такой задолго появившийся и такой героический революционный авангард. Будет поэтому уместно оглянуться нам на эту особенность русской истории более конкретно, вспомнить те главные факты, в которых выразилась роль русской интеллигенции в прошлом.

ГЛАВА VI.

МАРТИРОЛОГ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ.

Вторая половина XVIII века — это был кульминационный пункт развития в России помещичьего, крепостнического государства. Буржуазия едва зачиналась и еще не имела никакой силы. Село преобладало над городом, а в городе было не очень развитое ремесло и почти никакой промышленности. Города были едва ли не исключительно административными центрами. Между крепостниками-помещиками и крепостной массой крестьян почти-что не было никаких других социальных слоев. Огромное крестьянское море — и над ним 200 000 «полицмейстеров», — вот наглядная структура тогдашнего общества.

А между тем, на Западе помещичье-крепостническое государство в это время себя уже изживало. Там издавна были

развиты города с ремесленной промышленностью, а с половины XVIII века стала развиваться мануфактура, а потом и фабрика. Буржуазия там не только народилась, но и стала забирать силу. В дверь стучалась, а потом и разразилась великая французская революция.

Все это создало на Западе огромное идейное движение. «Интеллигенция», которая раньше, в лице своих выдающихся представителей, отстаивала, в качестве «естественного» строя, абсолютизм, теперь стала выдвигать иные «естественные» «идеалы». Эти идеалы слагались из «прирожденных», «неотчуждаемых» прав «личности» и из народного «суверенитета». Закладывались основы будущей теории «представительного», «конституционного», «правового», «демократического» государства.

Все это было не в воздухе, а на реальной почве, на почве развития промышленности и капитализма. «Идеал» был нужен новому, выдвигавшемуся на сцену жизни классу, — он «предвосхищал» близкие перемены, надвигавшуюся революцию.

И вот, все это движение отразилось и в России... Отразилось в таких характерных документах, как «Наказ» Екатерины. Пропаганда западных «идей» и «идеалов» исходила с самой верхушки общества. Примкнули к ней и настоящие «интеллигенты», еще очень немногочисленные, печатавшие свои произведения под покровительством «просвещенной» монархини. Все в совокупности носило вначале характер не то «каприза», не то «забавы» свыше.

Но так продолжалось, пока не разразилась французская революция. Громы революции сразу изменили всю картину. Екатерина отреклась от своего «вольтерьянства», «баловство» сверху с «вольнодумством» сразу было оборвано. И те, кто брали дело всерьез, кто хотел продолжать проповедь «прав человека», не только оказались на мели, но очень больно ударились об стену. Начался «мартиролог» русской интеллигенции. Новиков и Радищев были «расточены». В печати водворено было молчание. Идеи и идеалы должны были уйти под поверхность общественной жизни. Абсолютизм стал еще более непреклонным, крепостное право стало еще более незыблемым. Так закончился первый эпизод русского «общественного» движения.

Оно не имело за собою реальных сил, оно было «отраженным» и чисто «идеологическим», оно было предвосхищением будущего, но будущего еще очень отдаленного. Главное его значение заключалось в протесте против крепостного права, но этот протест был гласом вопиющего в пустыне. До крестьянства он не доходил, а буржуазии в то время, можно сказать, еще не было.

Вторым эпизодом в истории русского «общественного» движения, а вместе с тем и в истории русской «интеллигенции»,

является «бунт» декабристов. В лице декабристов «кучка» интеллигентов значительно расширилась, но все же деятельность их попрежнему носила «интеллигентский» характер.

Абсолютизм и крепостное право попрежнему оставались основами русского общественного быта. Крестьянская масса с трудом переносила тяжкое крепостное насилие над своим хозяйством и над своей человеческой личностью. Хотя настоящее крестьянское восстание XVIII века (пугачевщина) в таком масштабе больше уже и не повторялось, но все чаще происходили отдельные вспышки и убийства, и все социальное положение делалось все более обостренным. Сверху это понимали, пытались вносить в положение частичные поправки, но это происходило в таких микроскопических дозах, что крепостная основа общества оставалась нетронутой. Всемогущий абсолютизм не хотел выступить сколько-нибудь серьезно против помещичьих интересов, и естественно, среди оппозиционной интеллигенции возникала мысль, что для того, чтобы устранить крепостное право, надо сперва уничтожить абсолютизм.

Как известно, развитию русской общественной мысли в эту сторону не мало содействовало непосредственное знакомство с Европой во время наполеоновских войн. Там русские «передовые» люди могли не только знакомиться с «идеями», но и воочию видеть «действительность». А эта «действительность» уже стала передвигаться в сторону ограничения абсолютизма, в сторону замены помещичье-самодержавного государства государством буржуазно-конституционным.

И русская «интеллигенция» усвоила себе эти «идеи», она выдвинула лозунг не только уничтожения крепостного права, но и ограничения самодержавия. И она сделала практическую попытку «бунта» против самодержавия... Как известно, в связи с этим бунтом выдвигалась даже идея «цареубийства».

Однако, бунт декабристов, несмотря на то, что их организация захватила довольно значительные круги общества, не только не имел успеха, но и оказался социально совершенно изолированной, «героической» попыткой «передовых» людей. Народные массы о нем не ведали и его совершенно не понимали; поскольку в него вовлечены были войсковые части, это покоилось на недоразумении с престолонаследием Константина, а уровень понимания низами «конституционных» идей декабристов хорошо характеризуется знаменитым анекдотом о жене Константина — «конституции». Таким образом, крепостные массы просто не знали о том, что в этом «офицерском» и «дворянском» движении дело шло о протесте против крепостного права; а что касается «конституционных» идей, то те, для кого они могли предназначаться по ходу объективной истории, — «буржуи», капиталисты, — имелись в России тогда только в жалком зачатке и находились в таком глубоком невежестве, что говорить об их «классовом сознании» было просто смешно.

Так русское «общественное» движение и в этом своем дальнейшем развитии, при этом своем более широком обнаружении, в своей попытке «прямого» действия, оставалось чисто «интеллигентским», не проникавшим в настоящую «классовую» толщу. Оно попрежнему было «отраженным»,—оно свои идеи заимствовало с Запада и пыталось перенести их в Россию. А Россия настолько мало еще была подготовлена к тому, чтобы стать почвой для осуществления этих идей, что и эта новая попытка разбилась о стену, она стала героической трагедией тех, кто ее предпринял.

После восстания декабристов атмосфера русской жизни стала окончательно беспросветной. Абсолютизм придушил всякую жизнь в стране; невозможным стало не только «политическое вольномыслие», но и какая бы то ни было культурная деятельность, какое бы то ни было «просвещение». Россия опять стала страшно отставать от Европы в культурном отношении, абсолютизм из «просвещенного» превратился в поистине «мракобесный», в своей непосредственной функции управления государством он выродился в бездушный, формальный бюрократизм, проникся необузданным произволом и чудовищным взяточничеством.

Однако, русская интеллигенция была живучей. Она вовсе не умерла после разгрома декабристов. Она сосредоточилась в себе, она продолжала «идеологически» углубляться и она стала значительно расширяться: из чисто дворянской она стала превращаться в разночинную. Свою деятельность она проявляла как могла. О политической «деятельности» или о политической «литературе», конечно, и говорить не приходилось. Но возможна была, хотя и под страшным цензурным гнетом, литература художественная и рядом с ней идущая, ее сопровождающая, литература критическая. Правда, и здесь, чтобы что-нибудь сказать, — чтобы образом, художественным типом, или критическим обсуждением выявить «правду» реальную и идеальную, правду «жизни» и правду отрицания жизни во имя «идеала», нужен был огромный талант, покоряющий всех своею силой, — но именно такие таланты и выросли в русской литературе художественной и критической. Пушкин, Лермонтов, Гоголь — это тогдашние воспитатели русского общества, и воспитатели в сторону интересов крепостного народа, а не прав помещичьей власти или бюрократического государства. Что из того, что Гоголь не выдержал напряжения тогдашней политической атмосферы, потерял свое умственное равновесие и художественную ясность, бросился в мистицизм и в обскурантизм, стал сжигать свои литературные произведения. Его «Исповедь» или «Переписка с друзьями» были только запоздалыми холостыми выстрелами, а его «Ревизор» или «Мертвые души» оставались навеки неотразимой и неумолимой оценкой русской действительности. Не даром существует рассказ о том,

что Николай, увидев на сцене «Ревизора», не мог удержаться от замечания, что в этой пьесе Гоголь и «его не пощадил».

Да, русская литература в эту беспросветную пору выдвинула таких гениальных творцов, которые прорывали для «правды» все препятствия, которые заставляли склоняться перед нею самых могущественных ее врагов.

А русская критика! Наш титан литературной критики — неистовый Виссарион! Белинского не даром называют «отцом» русской интеллигенции. Он не только имел колоссальное влияние на тогдашнее русское «образованное» общество, но он сам был таким типичным русским «интеллигентом», что его образ навсегда останется лучшим воплощением «интеллигентских свойств». Пылкий, бескорыстный, весь погруженный в «идеи», далекий от всяких «материальностей» и «условностей» жизни, он все время «горел» — горел страстным устремлением ко всему «идеальному»: к истине, добру, красоте, общему благу, интересам народа и пр. Это было почти-что идеалистическое «умоисступление». Не даром оно выражалось в знаменитых русских спорах по целым ночам напролет, с калейдоскопической сменой тем, с обсуждением всего «мирового бытия». Но у Белинского это «идеалистическое» умоисступление было соединено с таким огромным талантом, с такой общественной чуткостью, с таким искренним народолюбием, с такой глубокой и бескорыстной преданностью общему благу и общим интересам, что всякая насмешка над чрезмерностью этого «идеализма», над его известной отвлеченностью, слишком большой подвижностью, наконец, над его известной научной легковесностью, замолкает на устах и заменяется восторженным удивлением и восхищением этим рыцарем идеи, всегда готовым сражаться за нее до конца и пожертвовать ей всем.

Позже этот тип чистого «идеалиста», идеалиста для идеи, в тургеневских образах Рудина, Михалевича и других разменялся по мелочам и окрасился сатирическим оттенком, но во времена Белинского, в лице самого Белинского, он стоял на своей полной героической высоте. Ибо в то время «идея» была так одинока, так гонима, так мало понимаема и воспринимаема классовой толщей жизни, что нужны были люди именно с исключительной преданностью идее, насквозь проникнутые идеализмом. Надо было сохранить и пронести «идеи» через десятилетия беспросветного мрака, и не только пронести, но и распространить, увеличить кадры «идейных» людей, воспитать грядущие поколения в «идейных» традициях. И Белинский выполнил эту роль с таким талантом, с такой силой, с такой заражающей преданностью «идее», что его имя навсегда останется одним из самых любимых и почетных имен в русской общественности.

Белинский сделался учителем и знаменосцем всей той тяжкой эпохи, когда помещики были полными хозяевами жизни, когда

крестьяне глухо стонали под гнетом, коснели в нищете и невежестве, когда едва нарождавшаяся буржуазия еще и не думала о завоевании себе каких-либо прав, а промышленного пролетариата не было еще и в помине. В эту тяжкую эпоху нужна была просто «идейная» жизнь, «идейная традиция», — и Белинский все это дал, все это сделал. Он — главное «идейное» лицо той эпохи. Когда он, в своем известном письме, бичевал Гоголя за его «Переписку с друзьями», он делал это, как власть имеющий, — имеющий «идейную» власть над целым поколением. Ему она принадлежала по праву, он заслужил ее всей своей деятельностью, и ее признавали за ним самые великие из его современников.

Но в «идейной» жизни того времени надо отметить и еще одну черту. Мы уже говорили, что русские заимствовали свои «идеалы» с Запада. Так пришли к нам идеалы «свободы» личности, «прав» человека, народного представительства, «конституционного» государства, — пришли через Новикова и Радищева, через декабристов.

Но «идеологическая» жизнь Запада, в событиях великой французской революции и после нее, продвинулась дальше. Там не только народился капитализм, но вместе с ним стал нарождаться и рабочий класс. Сперва казалось, что интересы рабочего класса и буржуазии — одни и те же, что и тем и другим нужна только с в о б о д а. Однако, на самом деле, интересы буржуазии противоположны интересам рабочего класса. «Свобода» нужна буржуазии, но совершенно недостаточна для рабочего класса. Рабочему классу нужна не только «свобода», но и «равенство», притом равенство не «юридическое», а фактическое, социальное, равенство в имущественном положении. И мы видим, что уже во время великой французской революции находится сильный ум и мужественный характер, который это провозглашает, который требует фактического, а не юридического равенства граждан. Это — Бабеф. Бабеф правильно предусматривал всю мнимость «свободы» при отсутствии «равенства», и он в этом отношении является родоначальником всего последующего «социального» движения.

Но идею Бабефа пришлось развивать и дальше. Если трудящимся, рабочим людям, нужно «равенство», и без равенства нет для них и «свободы», то как же обеспечить им это «равенство»? Обеспечить равенство, пока есть право собственности, невозможно. Даже фактический раздел имуществ, при наличии права собственности, очень быстро повел бы к новому неравенству. Ибо коренной источник неравенства — отдельное, частное хозяйство, опирающееся на право собственности. До тех пор, пока человечество поддерживает свое материальное существование системою частных хозяйств, основанных на праве собственности на землю и орудия производства, не только невозможно фактическое равенство между людьми, но неизбежно

порабощение и эксплуатация одних людей другими. Надо вместо частных хозяйств установить хозяйство общественное. Отсюда новая система общественной жизни и новый «идеал» общественного устройства — социализм. Социализм, как учение и как стремление, возник на Западе, в связи с продвинувшимся там вперед общественным развитием. Народился там капитализм, но вместе с ним народился и промышленный рабочий класс, пролетариат. Интересы пролетариата оказались так же противоположны интересам капиталистов, как интересы крепостных крестьян противоположны интересам помещиков. Жизнь потребовала осознания этого факта и практических выводов из него. Появилась почва для новой «идеологии», идеологии рабочего класса. Эта «идеология» и стала складываться на Западе, она воплотилась в социализме, сперва «утопическом», а затем и «научном».

И вот, мы видим, что этот новый «идеал»—идеал социализма—заражает собою и русских «интеллигентов». Уже среди декабристов, напр., Пестель, явно склонялся к социализму, большое воздействие оказал социализм на Белинского, его вполне усвоил Герцен.

Таким образом, к тому времени, когда, наконец, было уничтожено главное зло нашей тогдашней жизни — крепостное право, когда незачем было уже сосредоточивать всего «идеологического» жара на этом пункте, когда не нужны стали «аннибаловы клятвы», в роде той, какую дали друг другу Герцен и Огарев на Воробьевых горах, русская интеллигенция уже сильно была проникнута социалистическими стремлениями.

Отмена крепостного права, введение целого ряда так называемых «великих» реформ снова подтянуло Россию к Европе, после того как мы сильно от нее отстали при Николае I и поплатились за это крахом крымской войны. Россия вторично «европеизировалась», и это открыло перед нею новые перспективы, прежде всего, хозяйственного развития. Ее производительные силы, загражденные крепостным правом, стали освобождаться и развиваться — в какую же сторону? Конечно, в сторону капитализма. Построена была сеть железных дорог, стала крепнуть текстильная промышленность, а в деревне, освобожденной от власти крепостника-помещика, стал орудовать «чумазый»... Пошло на всем пространстве безграничной Российской империи первоначальное капиталистическое накопление.

Но безграничное крестьянское море трудно было сразу переплыть. Русь оставалась крестьянской, сермяжной. На широком горбе крестьянина сидело военно-бюрократическое государство, отставшее от Европы в культурном и промышленном отношении, но вынужденное равняться с ней, ради самосохранения, в военном отношении. На этот же горб, освобожденный теперь от помещика, прочно уселся свой доморощенный «капиталист», кулак того или иного масштаба. Крестьянин

при освобождении был обижен в пользу помещика — обижен малоземельем. Его примитивное хозяйство шло плохо — урожаи были слабые, скотинка худая, инвентаря никакого. Он едва в состоянии был прокормиться на своем урезанном наделе. А между тем с него выколачивали огромный государственный бюджет, и из него же русский доморощенный капитализм тянул свое первоначальное капиталистическое накопление. Кулак стал прочно завладевать деревней, вытесняя окончательно потерявшего всякую жизнеспособность помещика из его родовых дворянских гнезд. И если помещик еще поддерживал иной раз с крестьянами кое-какие патриархальные отношения, заводил кое-какую культуру, насаждал «вишневые сады», то «чумазый» не знал никаких «отношений» и никакой «культуры». Он вырубал «сады», и прикручивал крестьянина так, что ему «куренка некуда было выпустить». Крестьянину жить стало совсем «невозможно», «даже смеху достойно».

Русский крестьянин от уничтожения крепостного права выиграл очень мало. С него был, конечно, снят прямой личный гнет, но его хозяйственное положение нисколько не улучшилось. Наоборот, деревня, придавленная налогами, опутанная кулацкой паутиной, стала беднеть. Захудал отживший дворянин, но стал хиреть и мужик. Хорошо себя чувствовал, на всем просторе орудовал только кровопиец-кулак, да все больше приспособлявшийся к «капитализму» взяточник-чиновник. Подъем, увлечение великими реформами, — увлечение, так ярко сказавшееся в статьях, которыми Герцен за рубежом приветствовал освобождение крестьян «сверху», — стало сменяться разочарованием. В сплошь крестьянской стране «общественная» мысль, мысль «интеллигенции», не могла не обратить внимания на положение крестьянства. Крестьянство освободили от одной кабалы, но над ним явно стала вырастать другая кабала, не вооруженная «правом» эксплуатации, но получившая к тому все экономические возможности. Эти возможности, в руках новых эксплуататоров, не смягчались ни культурностью, ни даже тем элементарным соображением, что прежде, чем овцу стричь, надо все-таки дать на ней шерсти отрасти. Овцу стригли, стригли не только с шерстью, но и с мясом. «Вольная», не «крепостная» эксплуатация крестьянина стала получать тот же беспощадный, даже дикий характер, какой имела капиталистическая эксплуатация рабочих в первую пору капитализма, когда еще не было фабричного законодательства.

И вот, русская «интеллигенция» осознала и этот факт; ее мысль вновь приковалась к бедственному положению крестьянства, к страданиям «народа». В течение 60-х годов, вожди русской интеллигенции (особенно, Писарев) несколько отошли от «народа», стали больше заниматься вопросами «личности» и ее «индивидуального» благополучия, предавались отвлеченному радикализму, стали строить теории «разумного» или «есте-

ственного» эгоизма, оторвались от «общественности», — но «действительность», печальная русская крестьянская действительность неумолимо вторгалась в народившуюся на русской почве «писаревщину» и «базаровщину» и властно требовала к себе внимания «передовых» людей.

Тогда, к концу 60-х — к началу 70-х годов, «передовая» общественная мысль России вновь вернулась к «народу», т.-е., в сущности, к крестьянству. Вновь ярким пламенем загорелось «народолюбие», вновь стало слагаться «народничество», но уже народничество новой формации — 70-х годов.

К этому времени русская интеллигенция сильно возросла в численности и совершенно утратила тот «дворянский» характер, какой она имела в 40-х годах. Тогда интеллигент — это был «кающийся» дворянин, душевно надломленный своим противоречивым положением, не умеющий действовать, самое большое что умеющий «красноречиво» говорить, — теперь это был разночинец, с гораздо более практической складкой, с более твердой волей, не парализованной собственным владением «душами». К тому же среди этой разночинной интеллигенции не малую струю составляла учащаяся молодежь, студенчество. Количество высших учебных заведений возросло, там скопились массы молодежи, эта молодежь чутко воспринимала «веяния времени», она стала общественным «барометром», — и не только барометром, но и «застрельщиком». Она вновь, как во времена декабристов, направила общественное движение в сторону «действия».

«Народничество» 70-х годов, по своей эмоциональной и волевой основе, по своей «крестьянской» подоплеке, было глубоко русским явлением, до известной степени даже не имеющим себе аналогий на Западе, но по своему «идеологическому» устремлению оно было «отражением» Запада. Его идеология была «социалистическая», при чем надо прибавить: в ее старой редакции. Не в виде «научного» социализма, выдвинутого Марксом и Энгельсом, а в виде «утопического» социализма старых учителей.

И в почти сплошь крестьянской стране, при отсутствии сколько-нибудь значительного пролетариата, это, конечно, было более, чем понятно. «Научный», «реальный» социализм, в противоположность «утопическому», зиждется не на одном «желании» или «предчувствии», а на настоящей научной теории. А в основе этой теории лежит не только понятие классового общества, но и нарождения капитализма, вместе с его неизбежным спутником — пролетариатом. С точки зрения марксизма, без предварительного развития капитализма и без нарождения пролетариата социализм не имеет под собой реальной почвы, он остается простым «мечтанием». Принять тогда, в начале 70-х годов, социализм в марксистской редакции, это значило бы, для русской интеллигенции, совсем отказаться от «социалистического» идеала и заменить его идеалом чисто «политическим», т.-е. буржуазным.

Русская интеллигенция, т.-е. ее передовая, наиболее активная часть, особенно молодежь, студенчество, этого не сделала, она осталась верна тем социалистическим идеалам, которые уже существовали со времени Пестеля, Белинского, Герцена. Она решила добиваться в России осуществления социализма, доказывая самой себе и другим, что это возможно при наличных условиях, т.-е. усилиями самой интеллигенции, направленными на то, чтобы разбудить к социализму крестьянство. Такая постановка дела, конечно, дала о себе знать и в его результатах. Постановка была «утопическая», поэтому не дала она и «реальных» результатов. Она дала «революционное» усилие необычайного напряжения, — очень характерное для России, — но это революционное усилие не только не водворило в России социализма, но и не могло сдвинуть с места самодержавия. Самодержавие выдержало его удары, потому что это были только удары интеллигенции без поддержки народных масс.

Однако взглянем несколько ближе на то, что тогда произошло.

ГЛАВА VII.

«НАРОДНИКИ» И «НАРОДНАЯ ВОЛЯ».

Народническое движение 70-х годов — это одна из лучших страниц русской истории. Оно, как мы только-что говорили, не имело под собой реальной почвы, оно, по выражению одной из его лучших участниц, В. Н. Фигнер, на 25 лет опередило свое время, — оно было «утопическим» и «идеалистическим» по всему своему внутреннему строю, но оно представляло собой порыв такого героизма, такой преданности интересам трудящегося народа, такого самоотвержения и вместе с тем такой неумолимой и к себе, и к другим настойчивости в стремлении к поставленной цели, что трудно указать в истории других народов что-нибудь подобное. Как будто из недр народного организма, тяжко страдавшего, в лице крестьянства, от невыносимого гнета и необузданной эксплуатации, вырвался целый поток подземного огня, который, на взгляд, сгорел бесплодно, но, на самом деле, был грозным предостережением — настоящим «мене тэкел фарес» — и предвозвещал собою таившуюся в глубине этого самого народного организма возможность других событий, столь же героических, столь же решительных, но только в ином масштабе, с иными участниками, с иным внутренним содержанием и с иным исходом...

Началось это движение—как движение «младенцев»,—знаменитым «хождением в народ». Молодежь решила проповедывать «народу», т.-е. крестьянству, социализм и вместе с тем подготовлять его к борьбе за осуществление социализма, т.-е. к революции. «Проводить в народе социалистические идеи, —

говорит В. Н. Фигнер,—мы думали без всяких уступок существующему народному миросозерцанию; считали необходимым говорить ему не только о коллективной собственности, но и о коллективном труде,—по принципу: «от каждого по его способностям», и о коллективном потреблении продуктов труда — по принципу: «каждому по его потребностям». Говоря коротко, думали вырабатывать среди народа сознательных социалистов в западноевропейском смысле».[1]

«Народники» первой половины 70-х годов делились, как известно, на две категории: пропагандистов и бунтарей. В. Н. Фигнер характеризует их так: «Пропагандисты смотрели на народ, как на белый лист бумаги, на котором они должны начертать социалистические письмена: они хотели поднять массу нравственно и умственно до уровня своих собственных понятий и образовать из среды народа такое сплоченное и сознательное меньшинство, которое вполне обеспечивало бы, в случае стихийного или подготовленного организацией движения, проведение в жизнь социалистических принципов и идеалов... Бунтари, напротив, не только не думали учить народ, но находили, что нам самим у него надо поучиться; они утверждали, что народ — социалист по своему положению и вполне готов к социальной революции; он ненавидит существующий строй и, собственно говоря, никогда не перестает протестовать против него; сопротивляясь, то пассивно, то активно, он постоянно бунтует. Объединить и слить в один общий поток все эти отдельные протесты и мелкие возмущения — вот задача интеллигенции... Современное положение крестьянства таково, что недостает только искры — этой искрой будет интеллигенция». И «бунтари» еще прибавляли: «Когда народ восстанет, движение будет беспорядочно и хаотично, но народный разум выведет народ из хаоса и он сумеет устроиться на новых и справедливых началах».[2]

Таким образом обеими ветвями движения дело ставилось так: не «политическая», а «социальная» революция. Тут, конечно, сказывалось влияние Запада и того опыта, который дали там политические революции. В. Н. Фигнер говорит об этом так: «Видя, что на Западе политическая свобода не осчастливила народа и оставила незатронутым целый ряд интересов, мы ухватились за последнее слово домогательств рабочего класса и стали исключительно на почву экономических отношений. Мы считали невозможным призывать русский народ к борьбе за такие права, которые не дадут ему хлеба».[3]

Предполагалось, что «социальную революцию» сделает «народ», т.-е. собственно крестьянство, с помощью интеллиген-

---

[1] В. Н. Фигнер. «Запечатленный труд», т. I, стр. 74.
[2] Там же, стр. 84—85.
[3] Там же, стр. 73—74.

ции. При чем одна ветвь думала, что в сознании «народа» надо все-таки предварительно «начертать социалистические письмена», а другая считала, что и этого не надо, ибо эти «письмена» там уже начертаны. Впрочем и первая ветвь не считала своей задачи особенно трудной и полагала, что «интеллигенция» справится с ней легко и быстро.

Теперь, — спустя 50 лет, — по поводу этой постановки общественного «действия», конечно, только и остается сказать одно — что это была «утопия», чистейшая «идеалистическая» утопия.

Но эта явная утопия заключала в себе не одни только благие «намерения», но и «действенные элементы», а эти действенные элементы были таковы, что они превратили «хождение в народ» 70-х годов в несомненное начало того великого, отнюдь не утопического дела, которое совершается в России только теперь.

Проповедь народу «социализма», сама по себе, должна была быть, конечно, «мирной», но, ведь, она должна была, по мысли тех, кто к ней приступал, подготовлять к «революции». Да и независимо от этого, не только «бунтари», но и «пропагандисты» имели в виду, еще и раньше «революции», — возбуждать и поддерживать революционные вспышки народа. «Имея задачей образование среди народа социалистического меньшинства путем мирной пропаганды,—говорит В. Н. Фигнер,—организация признавала и агитацию, необходимость поддержания и возбуждения частных бунтов, не дожидаясь общего и победоносного взрыва». [1]

Словом «хождение в народ» не было одним «просвещенством», хотя бы и социального свойства, — в него была вложена настоящая революционная воля. Эта воля заранее предусматривала, что она может встретиться с препятствиями, и она заранее готовилась реагировать на эти препятствия: реагировать революционным образом. В. Н. Фигнер рассказывает, что когда была выработана программа общества «Земля и Воля», то она была подвергнута обсуждению на целом ряде сходок людей, сочувствующих этой программе. И на этих сходках, как подчеркивает В. Н., не только была единодушно «одобрена» эта программа, но «к ней были сделаны новые и весьма важные добавления, носившие в себе зародыш будущего». [2]

Что же это были за «добавления»?

В этих добавлениях и содержались те «действенные» элементы, о которых мы говорили выше. Так как к тому времени, когда было основано общество «Земля и Воля» (1876 г.) уже был проделан опыт «хождения в народ» и почти все его участники попали в тюрьмы, где и встретились с произволом и издеватель-

---

[1] В. Н. Фигнер. «Запечатленный труд», т. I, стр. 79.
[2] Там же, стр. 88.

ством над ними администрации, то на тех съездах, о которых мы теперь говорим, было решено «защищать оружием честь и достоинство товарищей и обуздывать ударами кинжала произвол слишком рьяных правительственных агентов». [1]

Однако, в этом было только решение о личной, хотя и революционной, самозащите. А на этих же сходках, к «программе» «Земли и Воли» было сделано и другое «добавление». Как уже сказано, «программа» предусматривала будущую «социальную революцию», на которую должен подняться просвещенный социализмом «народ», и не считала эту революцию очень отдаленной. Поэтому весьма естественной была мысль, что не только надо проповедывать народу социализм, но и «готовиться» к предстоящей революции, т.-е., с своей стороны, принимать меры к тому, чтобы эта революция оказалась успешной. И вот, именно эта мысль и была формулирована на тех сходках, о которых рассказывает В. Н. Фигнер. «На этих сходках,— читаем мы в воспоминаниях В. Н.,—было впервые указано, что никакому восстанию не будет обеспечен успех, если часть революционных сил не будет направлена на борьбу с правительством и подготовление такого удара в центре в момент восстания в провинции, который привел бы государственный механизм в замешательство, в расстройство, и тем дал возможность народному движению окрепнуть и разрастись. Тогда же заговорили о возможности,—добавляет В. Н. Фигнер,—посредством динамита, взорвать Зимний дворец и похоронить под его развалинами всю царскую фамилию». И та, и другая мысль были «единодушно одобрены присутствующими». [2]

Итак, вот что произошло в России 50 лет тому назад. В почти сплошь крестьянской стране, с едва начинающимся промышленным развитием, во имя избавления «народа», т.-е. в сущности, крестьянства, от гнета и эксплуатации, передовой интеллигенцией была поставлена на очередь социальная революция. И была поставлена не на словах, а на деле. В эту постановку была вложена неслыханная революционная воля. Во имя ее бестрепетно были предприняты все те «действия», каких она, по ходу событий, потребовала. А ход событий оказался следующим.

Как уже сказано, дело началось мирной проповедью социализма в первые $1^1/_2$ — 2 года «хождения в народ». Но пионеры этой проповеди сразу же очутились в тюрьмах и испытали на себе все прелести самодержавного режима. Тогда вторая волна «хожденцев» решила уже не только проповедывать социализм и готовить «будущую» революцию, но и «защищать» с оружием в руках от произвола властей как свою «проповедь», так и свои личности. Раздались первые выстрелы «мстителей»

---

[1] В. Н. Фигнер. «Запечатленный труд», т. I, стр. 89.
[2] Там же, стр. 88 — 89.

за административный произвол и за поруганное человеческое достоинство. Раздался выстрел В. И. Засулич в Трепова, раздался (в Киеве) выстрел в товарища прокурора Котляревского. Как-то сам собой образовался «Исполнительный Комитет», поставивший себе целью «убийства зловредных лиц, препятствовавших развитию революционной деятельности, напр., предателей, жандармских сыщиков, прокуроров, и пр.». [1]

Правительство пришло в ярость. Оно не только не ослабило своего произвола, но решило пустить его во-всю. 30 января 1878 г., в Одессе, Ковальский и его товарищи оказали вооруженное сопротивление при аресте. Дело их было передано военному суду, и Ковальский был приговорен к смертной казни через расстрел. Через 2 дня после казни Ковальского Кравчинский убил кинжалом на улице в Петербурге шефа жандармов Мезенцева (4 августа 1878 г.). В ответ на это правительство опубликовало «правительственное сообщение», в котором заявило, что доныне «с особенным долготерпением» оно «направляло все, подлежащие судебному преследованию, дела о пропагандистах путем, указанным законом, воздерживаясь от принятия каких-либо особых, чрезвычайных мер», но что теперь его «терпение» «исчерпано до конца». «Правительство, — написано было дальше в этом сообщении, — не может и не должно относиться к людям, глумящимся над законом и попирающим все, что дорого и священно русскому народу, так, как оно относится к остальным верноподданным русского государя». [2]

Это было объявление «пропагандистов» вне закона. По отношению к ним был формально провозглашен правительственный «террор».

«Правительственное сообщение» не осталось простым заявлением, оно немедленно было проведено в жизнь. В короткое время, мерами правительства «южный исполнительный комитет был почти поголовно сметен с лица земли. Кто не попал на эшафот, тот был или убит во время вооруженных сопротивлений, или умер в тюрьме, или отправился в бессрочную каторгу. По России в это время было воздвигнуто 16 виселиц». [3]

Тогда в ответ на правительственный террор был развернут террор революционный. В. Я. Богучарский по этому поводу справедливо говорит: «Правительство думало, что своими жестокими мерами оно убьет сразу терроризм. Оно ошиблось. Из зародыша развился целый организм». [4]

Да, на этой почве тотчас же вырос целый «организм» террористической борьбы с царизмом.

---

[1] В. Я. Богучарский. «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах», стр. 12.

[2] Там же, стр. 19.

[3] Там же, стр. 23.

[4] Там же, стр. 23.

Психология зарождения этого «организма» в душах русских революционеров хорошо выражена Кравчинским в брошюре «Смерть за смерть», написанной им по поводу убийства Мезенцева.

Перешло в наступление правительство, но в наступление перешли также и революционеры. В порядок своей террористической «техники» они поставили д и н а м и т, а в порядок своих террористических целей — уже не предположительно, а фактически — они поставили цареубийство. Начался ряд «покушений» против Александра II, который и закончился событием 1 марта.

Так быстро, в течение каких-нибудь 5 — 6 лет, те «действенные» элементы, которые с самого начала заключались в «народническом» движении 70-х годов, выросли в тот грандиозный террористический «организм», который носил название «Народной Воли».

Судьба этого «организма» и тех людей, которые составили «Народную Волю», была поистине трагической. Они начали и развернули свою деятельность отнюдь не ради водворения в России буржуазного «правового порядка». Они хотели осуществить здесь социализм. Но объективная логика событий придала их террору исключительно «политический» характер и заставила добиваться «свобод» и «конституции». Как мы уже говорили, сперва террор народовольцев представлял собою не более как революционную «самозащиту». Эта самозащита была столь понятна всякому, что даже «средняя», «обывательская» совесть суда присяжных оправдала Веру Засулич, стрелявшую в Трепова.

Но террор народников 70-х годов очень быстро превратился в террор политический. В руках партии «Народной Воли» он сделался орудием настоящего политического действия, фактически главным и единственным. Он стал средством у с т р а ш е н и я. Устрашение было направлено на самую верхушку власти, будучи облечено в форму «цареубийства». Опять-таки, первоначально предполагалось, что цареубийство будет средством «дезорганизации» власти ради успеха восстания, которое поднимет народ, но фактически оно стало средством з а с т а в и т ь самодержца дать народу конституцию.

Такой метаморфозе смысла цареубийства прежде всего способствовало то, что оно удалось не сразу.

Событию 1 марта предшествовал целый ряд неудачных покушений, начавшихся с 1878 г. (первое покушение готовилось в Николаеве на 18 августа 1878 г.). Каждое из этих покушений производило, конечно, огромное впечатление и на правительство, и на революционеров, и на все общество. Благодаря этой «рассрочке» террора, «устрашающее» его действие чрезвычайно возросло и сильно выдвинулось вперед в сознании всех. Оно получило, как бы, вполне самостоятельное значение. Его пред-

полагавшееся дезорганизующее влияние на власть совершенно стушевалось. На первый план выступила возможность добиться путем «устрашения» не водворения «социализма», а такой политической обстановки, которая обеспечила бы права «личности», свободу «слова», свободу «печати» и пр., т.-е. все те предпосылки, без которых самая проповедь социализма оказывалась невозможной.

Мысль о «терроре», в частности о «цареубийстве», тесно связалась с этой политической целью, которую приходилось формулировать как уничтожение «самодержавия» и введение «конституции». Эта конституция, конечно, могла быть дана только самодержцем. И вот, весь террор, если его значение выразить грубо и решительно, на современном языке, получил смысл: «Даешь конституцию! А если не даешь, то смерть и тебе, и твоим преемникам».

Как известно, террор, до известной степени, оказал устрашающее действие на Александра II. Результатом его явилась так называемая «диктатура сердца», а затем и «некоторая» конституция. Но событие 1 марта оставило эту «конституцию» во мраке небытия.

Однако, не один Александр II так усваивал себе «политическое» значение террора. Так оно было, в конце концов, формулировано и в знаменитом «письме» к Александру III Исполнительного Комитета. Смысл этого письма отнюдь не «социалистический», он исключительно «конституционный». Исполнительный Комитет от имени революционной партии «торжественно» обещал в нем, что он не позволит себе впредь «никакого насильственного противодействия правительству» — при каких же условиях?

Этих условий было поставлено два: 1) общая амнистия по всем политическим преступлениям и 2) созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями. Ко второму условию было присоединено «напоминание», что «выборы должны быть произведены совершенно свободно», а для этого правительство уже до выборов, «в виде временной меры — впредь до решения народного собрания», должно допустить: а) полную свободу печати, б) полную свободу слова, в) полную свободу сходок, г) полную свободу избирательных программ.

Как видим, это обыкновенная «конституционная» программа, только выраженная чрезвычайно мягко. Предполагаемое «народное собрание» нигде не названо «учредительным». О возможности или желательности «республики» — ни слова. Наоборот, молчаливо предполагается, что существующая монархия останется, если только она перестанет быть «произвольной».

«Ударной» мыслью всего «письма» является мысль о добровольном обращении верховной власти к народу. С этой мыслью

связан весь «пафос» письма. «В интересах родной страны, — читаем мы в письме, — во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный Комитет обращается к вашему величеству с советом избрать второй путь (путь обращения к народу). Верьте, что как только верховная власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осуществлять лишь требования народного сознания и совести — вы можете смело прогнать позорящих правительство шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы. Исполнительный Комитет сам прекратит свою деятельность и организованные около него силы разойдутся для того, чтобы посвятить себя культурной работе на благо родного народа. Мирная, идейная борьба сменит насилие, которое противно нам более, чем вашим слугам, и которое практикуется нами только из печальной необходимости».

Но «террор» все-таки не удался. Он не устрашил. Когда он достиг своей высшей точки — события 1 марта, на минуту показалось, что его могущество безгранично. Внешнее впечатление от убийства Александра II и у нас, и за границей, было колоссально. Но прошло несколько дней, — и торжество народовольцев стало сменяться трагическим отчаянием. Твердыня самодержавия продолжала стоять: Александр III не внял письму Исполнительного Комитета. Он оставил под спудом даже ту «куцую» конституцию, которую подписал Александр II. Вместо нее открыто и определенно была провозглашена реакция.

Но политический террор, примененный при тех условиях, как это было сделано «Народной Волей», заключал в себе и еще одну неудачу, — неудачу, которую тоже в полной мере пришлось испытать народовольцам. Ведь не надо забывать, что этот террор был превращен в орудие «устрашения» лишь неумолимой логикой событий. Первоначальное его предназначение, как мы видели, было другое, — этот террор (в частности, цареубийство) должен был дезорганизовать центральную власть к моменту *народного восстания*. Главной мыслью народовольцев была мысль о народном (прежде всего крестьянском) восстании. Они его ожидали, они думали, что своей деятельностью они его вызывают и ему содействуют. Они мечтали о том, что вслед за взрывами их метательных снарядов раздастся другой взрыв — взрыв народного гнева, гром социальной революции...

И вот, и эта главная их мысль потерпела полное крушение. Гром их метательных снарядов, причинивших, наконец, смерть Александру II, раздался на весь мир, но за ним водворилась в России жуткая, мертвая тишина. «Народ» не шевельнулся, — так называемое «общество» запряталось еще глубже...

«Народная Воля», — пишет В. Н. Фигнер, — имела упование, что... политическая катастрофа 1 марта, низвергая импера-

тора, освободит живые силы народных масс, недовольных своим экономическим положением, и они придут в движение, и в то же время общество воспользуется благоприятным моментом и выявит свои политические требования. Но народ молчал после 1 марта и общество безмолвствовало после него. Так у «Народной Воли» не оказалось ни опоры в обществе, ни фундамента в народе»...[1]

Итак, «Народная Воля» — это единственное во всем мире воплощение самой решительной политической борьбы, этот нигде неслыханный поединок между небольшой кучкой «передовых» людей и правительством огромной страны — потерпела крушение.

Но значит ли это, что деятельность «Народной Воли» надо оценить о т р и ц а т е л ь н о? Значит ли это, что надо сказать: лучше бы народовольцы и не затевали того, что на 25 лет опередило историю и что окончилось такой трагической неудачей?

Нет, нет и нет. События вовсе не измеряются в своем историческом значении их непосредственной удачей. Наоборот, неудача событий, зависящая от того, что они «опережают» свое время, есть для них лучшая п о л о ж и т е л ь н а я оценка. Народовольцы имеют полное право сказать, как это сделала В. Н. Фигнер в своей изумительной по глубине, простоте и нравственной силе книге: «Народная Воля» сделала свое дело. Она потрясла Россию, неподвижную и пассивную, создала направление, основа которого с тех пор уже не умирала. Ее опыт не пропал даром; сознание необходимости политической свободы и активной борьбы за нее осталось в умах последующих поколений и не переставало входить во все последующие революционные программы».[2]

Нам только кажется, что заслугу «Народной Воли» перед русской историей надо формулировать несколько иначе. Не в том главное дело, что она «потрясла» «неподвижную и пассивную Россию». Россия была «неподвижна» и «пассивна», во-первых, потому, что она выросла в «махину», и махине трудно обнаруживать подвижность и активность; а во-вторых, потому, что эта махина к тому же отстала от других и культурно и политически. Поэтому неудивительно, что по сравнению с другими Россия была «неподвижной и пассивной».

Мы думаем, что главное дело также и не в том, что «опыт» «Народной Воли» привел к сознанию необходимости политической свободы и активной борьбы за нее. Правда, совершенно верно, что этот опыт привел к такому «сознанию» и прежде всего самих народовольцев; правда, и то, что борьба за «политическую

---

[1] В. Н. Ф и г н е р. «Запечатленный труд», стр. 283.
[2] Там же, стр. 283.

свободу» продолжалась, развернувшись в 1905 г. во всенародное движение. Но, ведь, Россия так этой «политической свободы» — настоящего, европейского, правового порядка — и не получила. Она, в сущности, если не считать за настоящую конституцию октябрьской «милости» Николая II и нескольких месяцев существования «временного правительства», перескочила прямо от деспотии помещичьего самодержавия к пролетарской диктатуре. Периода «буржуазной демократии» и так называемой «политической свободы» в русской истории не оказалось...

Но, ведь, и жалеть-то об этом едва ли приходится. Ведь сами народовольцы начинали с того, что не доверяли «политической свободе», которая, по их справедливому мнению, «на Западе» «не осчастливила народа» и не «дала ему хлеба». Они добивались «социализма» и перешли к требованию политической свободы только как к средству достигнуть этой основной цели. Таким образом, цена политической свободе, с точки зрения интересов трудящихся, очень условная, и теперь это даже яснее, чем было во времена народовольцев.

Нам кажется, что историческую заслугу «Народной Воли» надо формулировать гораздо прямее, — она состоит именно в том, что больше всего составляет самую сущность «Народной Воли». Эта сущность — в ее «действенности», в ее «революционности».

Каждая идея имеет свою цену, но ее цена практически бывает тем меньше, чем меньше находится в ее пользу «действенности». И, наоборот, «действенность» сама по себе, в пользу чего бы она ни шла, представляет собою огромную ценность. А когда «действенность» присоединяется к великой идее, да еще при трудных обстоятельствах, например, тогда, когда идея, по объективным условиям, еще неосуществима, то тут «действенность» становится настоящей драгоценностью, ибо великая идея никогда не может быть осуществлена сразу, этому всегда должны предшествовать попытки ее осуществления, кончающиеся неудачей. Те, кто делают такие попытки, именно и являются героями. Их основная заслуга в том и заключается, что они не останавливаются перед непреоборимыми — до времени — препятствиями, что они обнаруживают полное самоотвержение и самопожертвование. Их «действенность» и есть их величайшая заслуга.

Такими подлинными, настоящими, величайшими г е р о я м и и были народовольцы.

Перед всей Россией, перед всем миром прошла историческая эпопея «Народной Воли», и она оставила после себя глубочайший след, несмотря на свою видимую неудачу. Она не только показала с п о с о б н о с т ь русской интеллигенции (конечно, в лице ее лучших представителей) к самому неукротимому революционному действию, осуществляемому при самых трудных обстоятельствах, — но и прочно закрепила эту способность, возвела ее в традицию. Великая, героическая, революцион-

ная действенность народовольцев должна была исчерпаться, кончиться без успеха, но способность к ней, традиция ее осталась, и она вспыхивала еще не раз впоследствии и она пригодилась для другого исторического «действия», при иной исторической обстановке, с иными шансами на успех и с иными фактическими результатами.

ГЛАВА VIII.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА.

Литература, наука, религия, философия, мораль.

Героическая эпопея «Народной Воли» осталась бесплодной. Не только не добилась кучка героев для своей страны «политической свободы», но восторжествовавшее над нею самодержавие на целых 25 лет вновь погрузило Россию в самую беспросветную реакцию. Александр III, чтобы не потерпеть участи своего отца, отсиживался в Гатчине, но давил Россию неумолимо. Все его царствование идейно окрасилось духом, по-своему умного, но ненавидевшего смертной ненавистью все живое Победоносцева.

Среди мрака реакции вспышки молнии продолжались. Революционная традиция, и именно традиция народовольческая, террористическая, отнюдь не умерла. Русская интеллигенция продолжала выдвигать мстителей и борцов за «политическую свободу» того типа, каким были народовольцы. В 1887 г. «младонародовольцами» (Ульянов, Генералов, Шевырев, Новорусский и др.) была сделана попытка повторить 1 марта, а затем, за невозможностью добраться до самодержца, образовавшаяся в России партия «социалистов-революционеров» организовала ряд террористических актов против высших агентов власти. В эту эпоху террор сделался чуть не нормальной принадлежностью русской жизни. Он технически конституировался в «боевую организацию», за которой стояла нелегальная, конспиративная партия. Но против конституировавшегося, постоянного террора, конституировалась такая же постоянная «охранка», со своими широко разветвленными кадрами и учреждениями. Обе стороны наносили друг другу жестокие удары, но становилось все более ясным, что террор, сам по себе, не способен дать ни политических, ни социальных результатов. К тому же эта взаимная борьба во мраке, под землей, — борьба, главным средством которой было «предательство», — стала все больше обнаруживать свои неприглядные стороны. Из этой борьбы стали все чаще выглядывать фигуры террористов-предателей, пока, наконец, всю картину не заслонила собой фигура Евно Азефа. Это окончательно подорвало даже нравственный престиж террористи-

ческой борьбы. Террор стал уходить из русской жизни. Политическая жизнь России стала перемещаться на совсем другие рельсы и вовсе не под влиянием намерений или деятельности интеллигенции, а под влиянием выступления на сцену пролетарских масс.

Но прежде чем мы оставим революционную интеллигенцию и обратимся к революционным массам, полезно будет нам оглянуться на русскую интеллигенцию еще с одной стороны, — со стороны, которая также была предуказателем будущей великой судьбы России.

Основная и обычная роль интеллигенции — не революционная, а культурная. Интеллигенция создает, усваивает и распространяет культурные ценности.

Как же выполняла эту свою основную, культурную роль интеллигенция в России?

В силу своей исторической судьбы, прежде всего в силу больше чем двухвекового татарского ига, Россия была, да, в сущности, и теперь еще остается, отсталой в культурном отношении страной. Чтобы хоть сколько-нибудь поравняться в культуре с Западом, ей пришлось просто заимствовать культуру из Европы, — «европеизироваться».

В этом процессе «заимствования» чужого, кроме своей полезной и даже необходимой стороны, была и большая опасность: опасность культурно обезличиться, превратиться исключительно в подражателей, не обнаружить собственных творческих способностей. XVIII век очень близко подвел Россию к этой опасности, но все же она была преодолена творческими силами народа. Мало-по-малу, — можно даже сказать, не слишком медленно, а сравнительно быстро, — Россия заняла самостоятельное положение в культурном творчестве человечества и стала давать многое такое, что уже из России переходило в Европу.

Прежде всего такую самостоятельность Россия проявила в области художественного творчества. И это очень характерно. Художественная литература ближе всего стоит к жизни народа, больше всего ее в себе отражает и имеет на нее наибольшее обратное влияние. Художественная литература дает глубокий синтез народной жизни, отображает ее в ярких, всем понятных образах. Художник есть орган самого широкого и самого глубокого размышления общественной среды над своею собственной жизнью, над ее смыслом, над ее хорошими и дурными сторонами.

Поэтому художественная литература (вместе с дополняющей ее критической литературой) больше, чем какая-либо другая отрасль культуры, является выражением народного самосознания, народного самоощущения и самооценки. Это самосознание, это самоощущение и самооценка — коллективны, художник только собирает воедино их рассеянные, невыявленные в самой среде элементы; этим он оказывает огромную услугу своей среде, но и оказывается в величайшей от нее зависимости. Художник

и среда составляют, в сущности, одно, и раз выступают в какой-либо среде великие художники, это дает также измерение и внутренней значительности самой среды.

В течение XVIII века, в эпоху почти механической «европеизации», нет в русской литературе самостоятельных творцов. На литературном поприще подвизаются Тредьяковские и Херасковы — не только «подражатели», но жалкие подражатели. Лишь в конце века появляется Фонвизин, в комедиях которого бьется некоторая живая струя. Но и он, и Державин, у которого также был несомненный поэтический талант, все же находятся в оковах подражания, как по форме, так и по содержанию своих произведений. То же самое и Карамзин. Да, в сущности, то же самое и Жуковский, этот певец «грусти», отнюдь не народной, а заимствованной из той романтики, которая владела в это время Западом.

Но вот, на ряду с этими художниками несколько казенного образца, и потому совершенно не выражавшими глубины русской жизни, появляется такой колосс художественного творчества, как Пушкин. Рядом с ним становится Гоголь. К ним обоим присоединяется Лермонтов. Русская литература сразу подымается на огромную высоту. В ней уже нет ничего подражательного. Она становится органом настоящего народного самосознания. Посредством нее народ сам себя ощущает, оценивает свои сильные и слабые стороны. В России уже есть национальная литература, не уступающая литературам Запада. К великим художникам примыкает великий критик — неистовый Виссарион. И все это почти внезапно, совершенно неожиданно, и при крайне неблагоприятных обстоятельствах. Пушкин и Лермонтов погибают слишком рано, создав русскую литературу, но далеко не исчерпав огромных сил своего творчества. Гоголь, отнюдь не на закате лет, внутренно надламывается. Белинского вгоняют в преждевременную чахотку. Взрыв творчества имеет вид фонтана, забившего с неудержимой силой из самой глубины народного организма, переварившего заимствованное и ставшего творить свое собственное.

В лице Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Белинского русская литература родилась и заняла свое место среди других европейских литератур. С тех пор она не только не ослабевала в своем творчестве, но, на почве все возраставшего общения с западно-европейской жизнью, выдвинула таких гигантов, которые уже прямо вошли в мировую литературу, которые оказали огромное влияние на западно-европейское мироощущение и миропонимание, которые создали обратный ток влияния России на Европу. Эти гиганты — Достоевский и Толстой. В лице их русская литература достигает вершины в среде мировых литератур. Здесь Достоевский и Толстой стоят рядом с Данте, Гете, Шиллером, Байроном, Шекспиром. Тут полное равенство и полное взаимодействие России с остальным миром.

Достоевский и Толстой уже сошли со сцены. Им пока нет преемников в русской литературе такой же силы, как они. Но это вовсе не значит, что русская литература иссякла или пришла в упадок. Нет, после них мы имели Короленко, Горького, Леонида Андреева. Значение их меньшее, чем Достоевского или Толстого, но оно все же не только российское, но и европейское. В этом отношении особенно выделяется Горький — певец пролетариата и его освободительных стремлений. Равноправное взаимодействие России с остальным миром в области литературы продолжается. Она не менее того отдает другим, сколько и сама от других получает.

Таково положение России в области самого широкого производства и обмена высших культурных ценностей — в области художественного творчества. Что касается другой области высшего творчества — области науки, то здесь Россия не имеет такого мирового веса, как в области литературы. Но все же она занимает не последнее место. Еще в период «подражания», в середине XVIII века, она выдвинула человека такой огромной научной силы, как Ломоносов. Ломоносов, побывав за границей, не только усвоил себе содержание тогдашней европейской науки, но, став твердо на этой основе, развил ряд идей (напр., в области механической теории теплоты), которые далеко предвосхитили позднейшее развитие науки.

Но Ломоносов, воплощавший в себе один «всю академию наук», надолго остался уникумом; развитие русской науки и в XVIII, и в первой половине XIX века шло очень туго. Российсская академия наук превратилась просто в казенное учреждение, а русских университетов почти еще не существовало. В эту эпоху таким же одиночным, как и Ломоносов, взлетом научной мысли явился только гениальный математик Лобачевский.

Но пришла пора шестидесятых годов, реформированы были на европейский лад университеты, целый ряд молодых русских ученых побывал за границей, установлена была связь между русской и западно-европейской научной мыслью, и научная работа пошла, русская наука родилась, вошла в международную среду, заняла там свое место, стала делать свои регулярные вклады в эту, может-быть, самую важную из отраслей высшей человеческой культуры. И в науке также выдвинулись люди европейского значения, — люди, которые работали и работают на самых передовых постах науки и дают там результаты, которые закладываются в самую основу человеческого знания. В этом отношении достаточно назвать из умерших русских ученых имя Менделеева, а из живущих имя Павлова. Периодическая система элементов Менделеева легла в основу химии, теория условных рефлексов Павлова ложится в основу высшей нервной физиологии. Так и в области науки Россия дала высших творцов и высшие результаты.

К области высшей духовной культуры человечества, кроме искусства и науки, относят еще религию, философию и мораль. Религия играла очень большую роль в истории человечества, но, по существу, она есть своеобразный отсвет работающей над реальными явлениями человеческой мысли, своеобразное решение тех же вопросов, которые решаются и наукой. Однако, если наука дает критически-проверенную истину, то религия дает наивное заблуждение.

Религия не дала в России ничего значительного, скорее обнаружила такие обскурантные явления, как раскол и староверие; но жалеть об этом едва ли приходится. Прогресс религии есть прогресс к ее устранению из человеческой жизни. Поэтому скудость религиозного творчества в России не представляет собою ничего отрицательного.

Философия есть та область, которая колеблется между религией и наукой. С развитием науки она все больше примыкает к последней. С исчезновением религии, с иссяканием в человеческой мысли тех источников, которые ведут к религиозным представлениям, философия, надо думать, просто сольется с обобщающей наукой. Русская философия не дала ничего особенно значительного. Из русских философов, в качестве явления, способного стать в уровень с европейской философской мыслью, называют только одного Владимира Соловьева. Но скудость философской мысли в России также едва ли может считаться большим минусом.

Остается область нравственности, морали, этики. Это — тоже своеобразная область, в своем историческом развитии зависимая и от религии, и от философии, и от науки. Поскольку мораль конструируют как теорию, ее даже просто выводят или из религии, или из философии, или из науки. Но есть в ней и некоторый относительно-самостоятельный элемент: это так называемое нравственное сознание, выдвигающее свои утверждения или веления с известной независимостью или самостоятельностью (кантовский «категорический императив»).

Это вовсе не значит, что «нравственное сознание» есть, действительно, какой-то ни от чего не зависящий, первичный и самостоятельный фактор. Конечно, нет. Наоборот, это «сознание», как и всякое другое сознание, есть выражение более глубоких факторов, под ним лежащих и его определяющих. Но факт тот, что оно п р и с у т с т в у е т в человеческой мысли и дает свои указания человеческому поведению с ф о р м а л ь н о й самостоятельностью, т.-е. так, что при этом не видна и не обнаруживается зависимость самого нравственного сознания от более глубоких факторов. На этой почве возможна относительно-самостоятельная, «автономная» этика. И вот, в разработке, в выявлении как самого «нравственного сознания», так и зиждущейся на нем «нравственности», Россия выдвинула человека,

который оказал огромное влияние на весь остальной мир. Это — Лев Толстой.

Лев Толстой — это одно из самых крупных русских имен перед остальным миром. До Ленина Россия была представлена пред миром Толстым больше, чем кем-нибудь другим. Но какой же своей стороной стал Толстой перед целым миром? Не только как художник. Это — само собой. Художественное творчество Толстого так же известно миру, как и творчество Шекспира или Байрона. Но он известен миру не одним своим художественным творчеством. Он стоит пред миром еще и как учитель, как учитель нравственности, и тут его влияне на мир было не меньшим, а еще большим, чем его влияние как художника. Толстой был гением не только художественного творчества, но и нравственного сознания.

Сам Лев Толстой связывал свою проповедь нравственности с религией. Но его религия — суха, скудна, рассудочна. В ней почти-что нет ничего религиозного. Его бог — совершенно отвлеченный, безличный, не обладающий никакими конкретными атрибутами. Поэтому нельзя стать к нему ни в какое личное отношение, по отношению к нему невозможен никакой культ. Это — бог, который оставляет человека в одиночестве, наедине с его нравственным сознанием. Неудивительно, поэтому, что Толстой говорил даже не о «вере» в бога, а о «доверии» к богу.

Таким образом, связь с богом для Толстого — внешняя, отдаленная; непосредственную связь человеческая жизнь должна иметь с «нравственным сознанием». И Толстой является проповедником «нравственного сознания». Он обнаружил в этой проповеди огромную силу. Он произвел ею огромное впечатление. Это впечатление и воздействие вышло далеко за пределы России. Россия посредством Толстого воздействовала на все остальное человечество. Так называемый культурный мир через Толстого учился у России нравственности. Толстой, как учитель нравственности, стоит перед миром рядом с Сократом. Такое же внутреннее нравственное спокойствие, и такая же внутренняя нравственная сила.

Что касается содержания нравственной проповеди Толстого, в основе которой лежит то, что окрестили названием «толстовства», т.-е. учение о непротивлении злу злом, то в оценку его по существу мы здесь не входим. С марксистской точки зрения, эта оценка, конечно, не может быть положительной, — но это уже другой вопрос. Можно совсем не быть «толстовцем», и признавать Толстого великим гением, оказавшим огромное нравственное влияние на человечество.

Такова была культурная роль России, в мировом масштабе осуществленная ею через ее «великих» людей. Эта роль была такова, что Россия заняла в остальном мире равноправное поло-

жение, на ряду с другими великими культурными странами. Правда, мы, русские, были, и доныне остаемся, культурно-отсталым народом, но это скорее в смысле «количества», чем «качества» нашей культуры. Русская наука стоит высоко, но в России мало просвещения, мало школ, слишком много невежества и темноты. Русская художественная литература — одна из самых первоклассных, но народные низы все еще не знают ни Пушкина, ни Гоголя, ни Толстого. Нравственное сознание, в лице Толстого, достигло в России величайшей умственной утонченности, но народная «нравственность» все еще покоится на самой примитивной религиозной закоснелости. Словом, здесь «качество» далеко обогнало собою «количество», — русская «интеллигенция», в своей культуре, оторвалась от народных масс, ушла вперед от них, народные массы сильно отстали от своего культурного авангарда, но, ведь, такого рода «культурный» разрыв между массами и теми, кто стоит н а д ними, существует везде. Культура везде составляет не общее достояние, а п р и в и л е г и ю меньшинства, и это состояние может быть изменено только радикальной перестройкой всей общественной жизни. Но и здесь только отражается общее состояние современной культуры.

НАКАНУНЕ.

ГЛАВА IX.

1905-й ГОД.

В культурном отношении мы, русские, оказались довольно способными учениками опередившего нас человечества. В течение двух веков мы не только успешно совершили процесс своей «европеизации», но и заняли в Европе равноправное место.

Но под процессом культурного приобщения к остальному человечеству шел более глубокий процесс социально-экономической эволюции, шло с о ц и о л о г и ч е с к о е развитие. После уничтожения крепостного права экономическое развитие России стало явственно вливаться в русло капитализма. Была построена, хотя и не очень густая, сеть железных дорог, стали разрабатываться ископаемые богатства — каменный уголь, нефть, железная руда, стали строиться фабрики и заводы, стала быстро развиваться текстильная промышленность, возникли металлургические заводы, в Россию стал все больше притекать иностранный капитал... В течение 70-х годов этот процесс был еще не очень заметен, в 80-х годах он наметился гораздо яснее, а в 90-х годах он стал уже настолько очевиден, что «народнические» споры стали исчерпываться; делалось ясно, что «народникам» своих позиций не удержать, что нужна какая-то другая оценка русской действительности, а вместе с ней и другая ориентация общественного действия.

Однако, все это происходило в рамках самодержавно-помещичьего государства. К тому же это самодержавно-помещичье государство все ощетинилось реакцией, под влиянием революционного нападения на него народнической интеллигенции. Эпоху «великих реформ» оно сменило эпохой контр-реформ, — эпохой реакции, и эта эпоха растянулась чуть не на целых 25 лет (80-е годы, 90-е годы и начало 900-х). Российское самодержавие заграждало путь всякому развитию России, в том числе и капиталистическому. Капитализм развивался

в самодержавной России, и даже развивался неудержимо, но он был опутан полицейским гнетом на местах, он должен был считаться с самодержавно-помещичьим самодурством в центре, он не мог стать полным «хозяином», чтобы развернуться во всю, чтобы мобилизовать в свою пользу неисчерпаемые богатства огромной страны. «Державным» хозяином русской земли был злой и глупый Александр III, а затем еще более злой и глупый Николай II...

Это загромождение безумным и оголтелым крепостнически-помещичьим самодержавием всей русской жизни, в том числе и ее капиталистического развития, создало против него всеобщую оппозицию. Не только продолжалась, в виде вспышек грома и молний, террористическая деятельность народнической интеллигенции, не только народилось революционное рабочее движение, но и так называемые лойяльные слои населения становились все более оппозиционными, — настолько, что они стали уже соприкасаться с революционными настроениями: если они и не решались сами «делать» революцию, то стали все более ей сочувствовать и ее желать.

Так дело шло до самой японской войны. Напряжение внутренних сил в стране все более увеличивалось, а самодержавие все больше их сжимало.

При таких условиях, японская война, с ее неслыханными поражениями, оказалась роковой для российского самодержавия. Она развязала внутренние силы России к революционному действию, она послужила непосредственным толчком к первой русской революции 1905 — 1906 гг.

Революция 1905 — 1906 гг. была первым настоящим революционным туром, в котором боролись против существующего строя уже не одни «герои», а самые подлинные и самые глубокие народные массы. Революцию 1905 — 1906 гг. делали города, непосредственное революционное действие в них совершали рабочие, но это революционное действие сопровождалось нескрываемым сочувствием всех: буржуазии, интеллигенции, крестьянства. С этой стороны, революция 1905 — 1906 гг. получила значение огромного, всенародного опыта, давшего определенные, весьма поучительные результаты. Остановиться на этом опыте, уяснить себе, в чем он заключался и чему он научил, — это значит понять исходные моменты всего новейшего развития России. Ибо с 1905 — 1906 гг. к политической и социальной жизни был разбужен весь народ, все классы населения, каждый по своему, и с тех пор это бодрственное политическое состояние народа не прекращалось, оно влилось в революцию 1917 г., оно продолжает действовать и поныне.

Общественное движение, развившееся в революцию 1905 г., началось вверху, прежде всего в так называемых земских

и городских сферах, — полосой «банкетов» оно захватило всю либеральную интеллигенцию и начало сплачиваться вокруг требования «конституции». Это требование было окончательно оформлено и зафиксировано в постановлениях съезда земских и городских деятелей, происходившего в конце 1904 г.

Но правительство, как водится, не шло навстречу «общественным» желаниям. Правда, под влиянием военных поражений, а также под влиянием целого ряда террористических актов (убийство Плеве, убийство великого князя Сергея и др.) оно растерялось, оно хотело итти на какое-то «примирение», но признать требование «конституции», настоящей конституции, такой как в Западной Европе, т.-е. с «ограничением» самодержавия, — это было не только вне его желаний, но и выше его понимания.

Когда общественное движение — осенью 1904 г. — стало не на шутку охватывать страну, правящие сферы стали играть назад, они уже стали ставить в упрек тогдашнему «мягкому» министру Святополк-Мирскому, что он «распустил» страну, и они, конечно, тотчас же «подтянули» бы эту страну, если бы не война, которая неумолимо приносила все дальнейшие и дальнейшие поражения. И правительство совершенно не знало, что ему делать: затягивать вожжи было опасно, но и отпускать их оно совершенно не хотело.

Между тем в движение стали вливаться «низы». Заволновались города с их рабочим населением; стали прорываться стачки, уличные демонстрации. Чувствовалось, что мощность движения возрастает, что оно захватывает подлинные народные массы, что оно становится все более настойчивым. Вместе с тем, перед лицом тупого, упорного в своем обскурантизме, правительства, оно все больше проникалось всеобщим согласием. Буржуазия вместе с либеральной интеллигенцией видела, что сломить упорство правительства можно только народным, массовым на него натиском, и она с удовлетворением констатировала, что этот натиск увеличивается. Она одобряла мобилизацию низов, она выражала им свое сочувствие.

И эта мобилизация продолжалась, низы все больше поднимались... Наконец, это разразилось событием 9 января 1905 г.

День 9 января 1905 г. надо считать исключительным днем в русской истории. Он не только имел огромное влияние на весь последующий ход событий 1905 — 1906 гг., но он вообще представляет собою одну из коренных граней русской истории. Поскольку история делается массами, а не отдельными личностями, наша народная масса, в этот день, сделала один из самых решительных своих шагов и вывела из этого шага одно из самых важных своих заключений.

Событие 9 января было действием подлинной народной массы, и притом рабочей массы, — рабочей массы передового столичного города. Сто тысяч рабочих, двинувшихся на демонстрацию, которой к тому же сочувствовало все остальное мил-

лионное население города, — это не те или иные кружки, не те или иные партии, а это сама рабочая масса, как она есть, как она живет, как она думает и чувствует. Да, конечно, были там и кружки, и партии, и провокация, — все это там имело свою долю участия и влияния, но все это потонуло в массе, плыло вместе с массой, не направляло действия массы, а направлялось вместе с ней.

Русская рабочая масса 1905 г., даже в самом передовом городе России, была все еще очень темной в политическом отношении. В ней были передовые, сознательные элементы, эти элементы далеко опередили остальных в своем политическом развитии, но сама масса была еще темна, она жила старыми, традиционными мыслями и чувствами, она была еще религиозна по-православному, а политически и социально она еще верила в самодержавие, верила по старой, трехсотлетней традиции, шедшей от ненавистника бояр Ивана Грозного, проходившей через царя-работника Петра, подновленной Александром II, освободившим крестьян от крепостного рабства. Эта русская рабочая масса верила в бога и верила в царя. И вот, вместе с богом, она двинулась к царю. С православным священником во главе, с иконами и хоругвями вместо знамен, безоружная и, в сущности, покорная, она двинулась к жилищу царя, но двинулась вместе с тем и с полным сознанием своего народного достоинства: с сознанием того, что царь не *смеет* не выйти *к народу*. При всей своей покорности, эта масса понимала свое достоинство *подлинного* народа, и в этом смысле она импонировала, она покоряла. Странно было бы, если бы, при других обстоятельствах, сознательные, партийные рабочие, покончившие с религией, презиравшие и ненавидевшие самодержавие, шли бы к царю, притом со священником во главе, с хоругвями и иконами. А здесь они шли, и не могли не итти, обязаны были итти, потому что это шел народ, именно народ, а не сборище тех или иных людей. Народ шел к своему царю, с народной верой в него, с намерением изложить непосредственно ему свои нужды и притеснения, просить прямо у него заступничества и облегчения.

Шествие народных масс 9 января к зимнему дворцу — это была, конечно, реставрация XVI — XVII века, но реставрация безыскусственная, вылившаяся из самой глубины давно составленного и с тех пор пассивно хранившегося народом политического сознания. Когда-то народ ставил над собой самодержцев, доверял им свою судьбу, поддерживал их в борьбе с феодалами. С тех пор многое и многое изменилось. Феодалы превратились в дворян и помещиков, покорных самодержцу и благодетельствуемых им. Самодержец стал первым дворянином, дворяне стали «опорой» его престола, но народ не понимал всего этого, он хранил легенду о царе — враге бояр и заступнике за народ — и думал, что царь «не знает» о самовольстве

и озорстве помещиков и чиновников, — что надо его об этом осведомить, рассказать ему самому об обидах и притеснениях народа...

Но жалкий царь не понял смысла происходившего, а его оголтелые советники, конечно, не могли ему этого растолковать. Когда-то Петр самолично выходил к бунтующим стрельцам; когда-то Николай I сам вышел на площадь к декабристам. Для Николая II это уже было что-то недосягаемое. Он не вышел к безоружной толпе, несшей впереди себя его же собственные портреты. Вместо этого он расстрелял эту толпу, встретил ее свинцовым градом, от которого валились на окровавленный снег женщины и дети.

«Свидание» народа с царем не состоялось, царь не захотел выслушать шедшего к нему и верившего в него народа. Он предательски оградился от народа штыками, на зов народа о помощи он ответил ружейными залпами.

Трудно теперь даже передать то потрясающее впечатление, какое было произведено на так называемое «общество» и на широкие, по крайней мере, городские массы расстрелом 9 января. Всем сразу стало ясно, что это не просто пролитие народной крови, но нечто исторически гораздо более важное и гораздо более значительное, что это расстрел всей легенды о царе, что это полное внутреннее крушение самодержавия. До 9 января «самодержец» в России был, пусть, как народная иллюзия, пусть, как народный пережиток, после 9 января его, даже и в этом смысле, уже не стало. До 9 января самодержавие было чем-то священным для темной массы народа, его упованием и мысленным прибежищем, — после 9 января от этого упования остались одни кровавые обломки. «Верить» в царя, поддерживать не за страх, а за совесть его «самодержавие» сделалось больше невозможным. «Царь» превратился в жестокую, кровавую фигуру, возбуждающую презрение и ужас.

Самодержавие, в глазах народа, в сущности, ничего не потеряло тогда, когда 1 марта 1881 г. был убит царь. Пожалуй, даже наоборот: масса народа негодовала тогда на «сицилистов» за то, что они убили «освободителя» крестьян от ига помещиков. Но самодержавие, в глазах народа, сразу потеряло все, когда 9 января 1905 г. царь расстрелял тот самый народ, который доверчиво носил в себе эту свою легенду о царе.

И уже вечером 9 января все хорошо понимали, что произошло событие решающей важности, что исторический путь расчищен от главного препятствия, что самодержавие устранено из сознания широких народных масс, т.-е. что оно потеряло свою действительную опору, что оно превратилось из реальной величины в мнимую.

Это сразу же поняли сами приверженцы самодержавия, по крайней мере, в лице своих более умных представителей. Они поняли, что для самодержавия, а вместе с ним, и для всего ста-

рого строя жизни, в день 9 января совершилось нечто роковое и непоправимое. Совершенно правильно и по-своему очень сильно выразил эту мысль тогдашний петербургский митрополит Антоний в своей проповеди, произнесенной по случаю события 9 января. Он сказал в ней, что событие 9 января — это великое несчастье для России, более великое, чем все поражения японской войны...

Да, для самодержавия, для всего связанного с ним строя жизни, это было великое несчастье, нанесшее ему более сильный удар, чем вся японская война. Но для народа, для России, для всей ее последующей исторический судьбы, это было великим счастьем. Великим счастьем было то, что народ сразу собрал воедино свою мысль и свою волю и воплотил их в решительное действие. Действие привело к выводу: раз нет царя, а есть палач, то нечего убеждать и просить, а надо бунтовать.

И этот вывод: бунтовать, добиваться силою — начертался в воздухе. Он пронизал всю общественную атмосферу, ему невозможно стало сопротивляться. За него был теперь весь наклон возбужденных общественных чувств.

Движение, после 9 января, стало беспрепятственно разливаться по всей стране. Однако назвать его «революционным» в том смысле, чтобы оно стремилось ниспровергнуть власть и захватить ее в свои руки, все же было нельзя, потому что этого еще не было, никто на это сколько-нибудь серьезно практически не посягал, но вся страна была переполнена протестом. Земские и городские собрания, советы профессоров и сходки студентов, съезды врачей, агрономов, юристов, словом, чуть не все учреждения, чуть не все собрания, законные и самочинные, обычные и экстраординарные, — все это постановляло одно: требовать реорганизации власти, отмены самодержавия, установления «свобод», созыва народного представительства. Сделалось всеобщей формулой, что никакая нормальная деятельность невозможна до тех пор, пока это не будет исполнено.

Правительство совершенно не знало, что ему со всем этим делать. Прибегнуть к мерам репрессий было невозможно, не только в виду того, что опыт 9 января оказался для власти в этом отношении убийственным, не только потому, что все это «освободительное», как его тогда называли, движение было слишком единодушным, но и потому, что на Дальнем Востоке не было решительно ничего для власти утешительного.

После Цусимы правительство внутри страны окончательно село на мель.

И нравственно и физически оно сделалось совершенно беспомощным, и будь в России другое общественное состояние, это уже тогда могло бы кончиться тем, чем кончилось в 1917 году.

Но общественное состояние было в то время еще не «революционным», оно было только «освободительным». Самодержавие, с его глупостью, упорством, бюрократическим произ-

волом встречало всеобщее отрицание. Против него выступали не только «низы», но и «верхи»: буржуазия, либеральное дворянство, интеллигенция. Но «верхи», в качестве своего органического требования, выдвигали идею «народного представительства», и эта же идея представлялась привлекательной также и для «низов».

Правительство уже не стало прямо возражать против этой идеи. Оно уже не преследовало за провозглашение ее, за ее развитие, пропаганду и пр. Оно даже, как будто, признало эту идею и ее себе усвоило, но, конечно, весь вопрос был в том, в каком виде эта идея будет осуществлена: в виде ли настоящей, европейской «конституции», или в виде какого-нибудь совещательного славянофильского «собора». Над этим работала правительственная (Булыгинская) комиссия, и это до поры до времени оставалось неизвестной величиной.

И вот на этом и сосредоточилась весною и летом 1905 г. политическая жизнь. Рабочие в городах волновались, происходили демонстрации, стачки, столкновения с властями, но еще не выдвигалась идея «социальной революции». Крестьянство тоже волновалось из-за земли, кое-где оно громило усадьбы, но и оно вполне удовлетворялось идеей «народного представительства» и мыслью о том, что народные представители разрешат и «земельный вопрос». Что касается «либеральных» верхов, то они, конечно, ни к чему другому и не стремились, как только к конституции.

Так подошла осень 1905 г. Правительство теперь уже изо всех сил стремилось заключить мир, чтобы устранить влияние неудачной войны на внутреннее состояние страны. Этот мир и был заключен на сравнительно сносных для России условиях (с потерей половины Сахалина, но без военной контрибуции). Правительство, таким образом, вытащило ноги из японской авантюры и решило покончить и с внутренним вопросом. Оно дало стране «народное представительство», но дало в виде «совещательной», Булыгинской думы. Это было немногим больше той «куцой» конституции, какую когда-то подписал Александр II. Но ответом на Булыгинскую думу был взрыв всеобщего негодования. «Волнение» не только не прекратилось, но еще больше усилилось, вопрос сосредоточился на том: принимать ли Булыгинскую думу, или ее отвергнуть, т. е. подвергнуть ее решительному бойкоту. И ответ на этот вопрос был решительный и согласный: отвергнуть, — требовать настоящего, решающего, а не совещательного народного представительства.

В этом смысле постановляли свои резолюции бесчисленные собрания различных учреждений, руководимых либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией, и в этом же смысле это движение вверху было поддержано движением внизу. Рабочая масса городов, фабрик и заводов к этому времени была уже

вся мобилизована и сильно революционизирована. Чувствовалось, что и крестьянство сдвинуто с места и все больше волнуется «земельным вопросом». К тому же и самая организация масс сделала большие успехи. Среди городского, рабочего населения сильно было влияние социал-демократической партии (с ее обеими фракциями — большевиков и меньшевиков), а среди крестьянства действовала партия социалистов-революционеров и крестьянский союз. Массы уже не были совершенно разрознены, наоборот, они были внутренне сплочены, и даже там, где не было оформленных организаций, где их просто н е д о с т а в а л о (а как их могло быть достаточно, особенно, в безграничном крестьянском море), массы инстинктом понимали, что требуется согласное, организованное действие в совершенно определенную сторону: против правительства, против того, чем оно хочет отделаться от народного движения.

И вот, на этой почве, в виде протеста против упорства правительства, разразилась знаменитая, историческая, всеобщая, октябрьская забастовка 1905 года. Как по мановению волшебного жезла, остановилось все в огромной стране: фабрики, заводы, магазины, учебные заведения, административные учреждения, почта, телеграф, железные дороги, — словом, вся жизнь страны. Все замерло и в неподвижности ждало: что сделает правительство — пойдет ли навстречу всеобщему требованию, или будет упорствовать в своем упрямстве править страной самовластно.

Октябрьская забастовка оказалась решающей. Под ней чувствовалось такое всеобщее согласие, такая изолированность правительства от всех слоев населения, что противодействовать ей было невозможно. К тому же она была м и р н ы м средством воздействия на власть. Было очевидно, что двинуть против нее военную силу — это значило рисковать повиновением этой военной силы. А если бы даже эта военная сила повиновалась, то расстрелять эту всеобщую мирную забастовку — это значило бы повторить расстрел 9 января, но только в несравненно более грандиозном масштабе. И было очевидно, что тогда, уже после первых залпов, после первой пролитой крови, поднялся бы такой всенародный вихрь против власти, что этот вихрь смел бы все преграды и мог бы выкинуть без остатка и правящую династию, со всеми ее приспешниками и прихлебателями.

Николай II не решился итти против столь очевидного народного возбуждения в этом вопросе об ограничении своей самодержавной власти. Правда, тупость этого жалкого субъекта была такова, что он все-таки не хотел открыто употребить слова «конституция», но он подписал манифест 17 октября с прямым обещанием, что будет созвана не «совещательная», а настоящая, «решающая» государственная дума.

Издание манифеста 17 октября послужило поворотным пунктом в «освободительном» движении 1905 — 1906 гг. Этот,

впоследствии, очевидно, такой фальшивый документ, тогда еще не был разоблачен в этой своей природе. Он вводил в состав государственного устройства России институт народного представительства, если не с правительственной, то во всяком случае с законодательной властью. Вместе с ним юридически падало самодержавие, и перед Россией открывалась перспектива того самого конституционного развития, по которому уже раньше нее двинулся весь остальной культурный мир. Этот путь конституции, политической свободы, демократии, парламентаризма, отнюдь еще не был изжит в Западной Европе. Он представлялся чем-то идеальным, дающим место всякому иному развитию в какую-угодно сторону, и притом мирным, эволюционным образом. Этот путь тогда далеко еще не был разоблачен в своей истинной природе, как путь великого социального обмана (ведь, и теперь это разоблачение далеко еще не всеми усвоено, все еще не усвоено даже большинством европейского пролетариата). Неудивительно, поэтому, что манифест 17 октября принят был огромным большинством страны как такой акт, который кладет начало самому главному, самому нужному для народа; считали, что он совершает нечто такое, в пределах чего обеспечивается всякое дальнейшее развитие.

Под влиянием этого октябрьская забастовка, которая была высшим пунктом всеобщего согласия в стране, тотчас же прекратилась. Она была отменена теми самыми организациями, которые ее декретировали, и она казалась ненужной после того, как правительство уступило в самом существенном. В стране водворилось всеобщее ликование; ощущалась огромная, решающая победа, которая — так казалось — сразу переносит Россию из Азии в Европу, обеспечивает все ее будущее.

Таким образом, первым следствием манифеста 17 октября было то, что он, как бы мановением руки, остановил волнение и движение в стране. Но это был только один момент. Прошло два-три дня, и «движение» возобновилось. Оно возобновилось по двум причинам и в двух направлениях.

Во-первых, уже чуть не на другой день после издания манифеста стало ясно, что Николай II подписал манифест только под давлением страха и что он вовсе не считает себя обязанным держать свое слово перед народом. А так как манифест был к тому же редактирован наскоро и содержал в себе одно голое обещание, то неизбежно получилась полоса неопределенного положения, в течение которого можно было ожидать всякого предательства со стороны власти. Поэтому, прекратить в стране всякое движение, дать полный революционный «отбой», даже с точки зрения буржуазно-либеральных слоев, представлялось весьма сомнительным. Надо было продолжать «давить» на правительство народным движением, пока оно не облечет своего голого «обещания» в настоящий закон о государственной думе,

условиях ее созыва, ее правах и пр. Поэтому даже «либералы», в лице земских и городских деятелей, не говоря уже о более радикальной интеллигенции, не давали решительного «отбоя», продолжали свои съезды, формулировали свои «требования» и пр.

С другой стороны, подлинное «революционное» движение, настоящий народный «натиск» на правительство происходил, как уже сказано, в городах, со стороны рабочих масс.

Городское рабочее движение, в течение 1905 года, далеко подвинулось вперед. Рабочие массы вышли из того неопределенного политического состояния, в каком они еще, в значительной мере, находились до 9 января. 9 января открыло полный доступ партийным влияниям на самую глубину рабочего класса. Рабочий класс стал итти под партийным, прежде всего социал-демократическим, руководством.

Между тем с точки зрения социал-демократии (по крайней мере, тогдашней) удовлетвориться «конституцией», хотя бы и западно-европейского образца, не представлялось возможным. В перспективе рисовалась не «политическая», а «социальная» революция, осуществление идеалов социализма. Социалисты-революционеры проповедывали крестьянству захват земли без всякого выкупа, а марксисты, даже и меньшевики, не могли тогда не следовать за порывами рабочей массы довести революцию до захвата власти рабочим классом, с целью сбросить с рабочих самую эксплуатацию их капитализмом.

Хотя рабочий класс, настоящий фабричный пролетариат России, по сравнению со всей остальной огромной крестьянской и мелко-буржуазной массой, и был малочислен, но он существовал, он был сосредоточен в центрах, и он не мог, в такое время, не обнаружить своей природы активного общественного класса, подлинного мотора истории. Этот еще юный и, относительно, не очень многочисленный пролетариат, особенно в своем главном средоточии, в Петербурге, был полон энергии, он был охвачен неудержимым порывом вперед к такому общественному переустройству, которое поставило бы его во главе истории, которое обеспечило бы интересы труда, которое уничтожило бы эксплуатацию труда капиталом.

Пролетариат не мог удовлетвориться манифестом 17 октября, даже если бы он и не был фальшивой грамотой, пролетариат не мог остановить своего революционного движения раньше полной победы или непреодолимого препятствия.

И пролетариат, особенно питерский и московский, продолжал «революцию», он вел ее с этапа на этап, в соответствии со складывавшимися обстоятельствами. Он отделился, со своими целями и со своими действиями, от остального «освободительного» движения. Он создал свой собственный орган—первый в мире Совет рабочих депутатов; он провозгласил свою вторую, пролетарскую забастовку; а когда эта забастовка оказалась

изолированной и не дала успеха, он довел дело до вооруженного восстания.

Но дело пролетариата тогда еще не созрело. Вторая забастовка уже не увлекла за собою всей страны, Совет рабочих депутатов был арестован, вооруженное восстание в Москве было подавлено. Все это были действия, которыми пролетариат еще только расправлял свои крылья для будущего великого взлета, но самый взлет не состоялся. Не все еще было готово. Особенно неготова была огромная крестьянская масса. России еще предстояло проделать свой опыт с народным представительством и — разочароваться в нем. Надо было изжить свой «демократический» этап, и Россия, как целое, Россия крестьянская, Россия буржуазная, Россия интеллигентская, — Россия, в которой влияние пролетариата еще тонуло в общей массе и не могло оторвать крестьянства от буржуазии, — Россия бросилась в этот этап со всем энтузиазмом всенародного увлечения и проделала его исторически-моментально, на протяжении менее чем трех месяцев, в виде первой думы. Первая дума стала тем событием, в которое влилась на некоторое время вся жизнь страны и которое глубоко разочаровало народ в самой возможности совершать свой исторический путь этим «законным» или «эволюционным» способом.

ГЛАВА X.

ПЕРВАЯ ДУМА.

К концу 1905 г., после издания положения о государственной думе, страна все еще была охвачена революционным волнением, но «революция» уже потерпела существенные удары: Совет рабочих депутатов был устранен, московское восстание было подавлено. Рядом с этим стояла, казалось, вполне реальная возможность мирного парламентского развития. Значит, населению предстояло решить два вопроса: 1) итти ли в государственную думу и 2) если итти, то за кем следовать, кого выбирать. Что касается первого из этих вопросов, то, как известно, существовало и бойкотистское течение. Оно предлагало не участвовать в выборах, т.-е. так же отвергнуть «законодательную» думу 17 октября, как была отвергнута «законосовещательная» дума 6 августа. Практически в пользу этого говорило то, что правительству Николая II ни в чем нельзя было доверять, ибо оно во всякое время готово было нарушить все свои обещания.

Тем не менее бойкотистское течение не имело успеха. Оно потонуло в общем устремлении использовать открывшуюся возможность дать России «новое» бытие, с помощью народного представительства. Это было даже не решение тех или иных партий, а это было стихийное устремление самого населения.

Оно было так сильно, что к концу выборного периода пошли к урнам и бойкотисты, бойкот был смят и опрокинут фактическим ходом вещей.

Таким образом, народ, как целое, на вопрос о том, итти ли в думу, принять ли ее всерьез, поставить ли на нее политическую ставку момента, — ответил утвердительно. Это стихийное, всеобщее устремление в думу, по своей глубине и непосредственности, невольно напоминает шествие рабочей массы 9 января. Тогда это было шествие к царю, теперь это было шествие к государственной думе. Тогда это была вера в самодержавие, теперь это была вера в народное представительство. Она была всеобщая и восторженная. Известно, с каким воодушевлением и подъемом прошли выборы в первую государственную думу.

Население встречало и провожало своих избранников с величайшим энтузиазмом. Давались наказы во что бы то ни стало добиться «земли и воли», и в ответ раздавались клятвы: умрем, а не уступим, потребуем, добьемся... И все это не было одними пустыми словами, — нет, в то время все в это верили. Это была всенародная мечта, всенародное очарование. Были убеждены, что «народным представителям» нельзя противиться, что государственная дума, опираясь на народ, будет всесильна. Царь представлялся в уменьшенном виде, а дума — в увеличенном. Казалось, что отныне «державным» хозяином земли русской станет не царь, а народное представительство.

Но если в думу итти, то за кем следовать, какую партию выбирать, какую программу предпочесть?

В решении всех этих вопросов главную роль предстояло сыграть крестьянству. Эта роль была обеспечена за ним не только его численностью в составе населения, но и характером изданного тогда избирательного закона. Вдохновителем этого закона был Витте. Закон был составлен весьма хитро, с многостепенными выборами, с цензовыми уловками, со всевозможными препятствиями для постановки кандидатур. Но его все же проникала некоторая общая мысль, некоторое общее ожидание: это была мысль о крестьянстве и ожидание от крестьянства. По предположению Витте, крестьянство должно было дать консервативное и послушное правительству представительство. Он поэтому дал крестьянству, в избирательном законе, известный простор и хотел крестьян противопоставить «либеральной» буржуазии и «демократической» интеллигенции. Он был уверен, что темная сермяжная Русь будет верна «самодержавию» и «заветам» предков. Словом, это была ставка на крестьянское невежество и крестьянскую косность. И Витте представлял их себе в каком-то допотопном виде и в поистине гомерических размерах.

Конечно, крестьянин по натуре консервативен. Его психология есть психология собственника. Его идеал — иметь в своем распоряжении кусок земли, на котором он мог бы спокойно

работать. При этом условии, он не хочет никаких перемен и никаких затей.

Но вот этого-то главного условия крестьянского консерватизма в России и не было. Огромное большинство русского крестьянства было безземельно или малоземельно. Кругом крестьянина была земля, но только не его, а помещичья. Крестьянину «куренка некуда было выпустить», и он изо дня в день лелеял одну мечту: «землицы», вот этой самой землицы, которая тут же, под руками, но которая принадлежит кулаку или помещику. Крестьянин равнодушен к многим переменам, но одна перемена ему нужна до зарезу, перемена «земельная», передача в его руки земли из рук помещиков и кулаков.

Вот это Витте просмотрел: «земельное» положение русского крестьянства и его классовую, «земельную психологию» — власть «земли» над крестьянином. А из-за «земли» крестьянин хотел и политической перемены, хотел государственной думы и «народного представительства», хотел потому, что царь не давал ему земли, не удовлетворял его земельного голода, и крестьянин надеялся, что это сделает «дума». Для крестьянства выборы в думу имели один смысл: разрешение в его пользу «земельного вопроса». Крестьянин хотел послать в думу таких людей, которые дали бы ему землю.

В этом отношении перед крестьянством развернулись различные партийные программы. Главных решений земельного вопроса в этих программах было три: 1) передать землю в руки крестьян без всякого выкупа, 2) передать землю в руки крестьян, но с выкупом по справедливой оценке, 3) не передавать земли крестьянам, оставить все по-прежнему. Первое решение было эсеровское и эсдековское, второе — кадетское, третье — октябристское и иных. Первое было «революционное», второе — «мирное», третье совсем не давало крестьянству того, что ему было нужно.

Какое же из этих трех решений должно было выбрать крестьянство? О третьем, конечно, и говорить нечего: крестьянство не могло его не отвергнуть. Но какое из первых двух оно должно было предпочесть?

Казалось бы, самое выгодное получить землю без всякого выкупа. Ведь, по народному воззрению, земля — н и ч ь я или б о ж ь я. Никто не должен ее себе присваивать: она должна принадлежать тому, кто обрабатывает ее собственными руками.

Да, казалось бы, что лучше всего получить землю «хлеборобу» даром, без всякого выкупа.

Но перед этим решением в массе крестьянства выступала его натура скептика, собственника и консерватора. С точки зрения скептицизма, это решение было уж слишком хорошо, оно, из всех возможных, было самое лучшее... А ведь лучшее есть враг хорошего; не благоразумнее ли удовольствоваться х о р о ш и м и не добиваться л у ч ш е г о?

Крестьянин инстинктивно чувствовал, что земля без выкупа — это уже революция, со всем ее риском и чрезвычайностью. Так не лучше ли обойтись без революции?

И крестьянин, в массе, не только не отворачивался от кадетской программы, но, наоборот, она казалась ему вполне приемлемой, даже, пожалуй, предпочтительной. К тому же ее предлагали люди с весом, «серьезные», земские и городские «деятели», профессора, ученые, адвокаты и т. п.

Поэтому крестьянин охотно примыкал к кадетской программе и выбирал кадетских кандидатов.

Таким образом, кадетская программа получила за себя крестьянство. А это в крестьянской стране, да еще при наклоненном в сторону деревни избирательном законе, значило все. Это обеспечивало «кадетам» полное торжество на выборах.

И, действительно, выборы в первую думу прошли под кадетским флагом. «Кадетство» стало в центре выборов, выборы окрасились в зеленый кадетский цвет. Как будто вся страна, в ее преобладающей массе, уполномачивала кадетскую партию на представительство в первом русском парламенте.

За кадетами пошло крестьянство, пошло городское мещанство, чиновничество, интеллигенция, пошла значительная часть буржуазии и даже некоторая часть самих помещиков. Против кадетов были только «зубры» из среды помещиков, крупного чиновничества и части буржуазии, да наиболее сознательная часть рабочего класса, которая не верила в общественный компромисс, которая стояла за «революцию» и видела возможность ограждения своих интересов только в социализме. Но масса тех, которые поддерживали кадетов, была так велика, что она совершенно подавляла оба несогласных с ней фланга. «Зубры» до поры до времени просто стушевались, а противники кадетов слева — «революционеры» и «социалисты» — до известной степени сами поддались общему настроению и, как уже сказано, сняли идею «бойкота» и решили войти в думу на ряду с кадетами. Таким образом «кадеты» оказались главными героями первых русских парламентских выборов. С ними — с их программой, с их политическим миросозерцанием — связался главный смысл этих выборов. Выборы оказались не безыдейными — чего можно было опасаться в такой мало культурной стране, как Россия, — и не разрозненными, не рассыпавшимися среди разных идей, а сплоченными, сосредоточенными, проникнутыми одной господствующей идеей и одним настроением, и эта идея и это настроение — были кадетские. Это, вместе с тем, обозначало, что страна, по крайней мере, в своем огромном большинстве, предпочитала не революцию, а мирный исход своей борьбы с абсолютизмом.

27 апреля 1906 г. первая дума собралась. Она просуществовала 72 дня. Ее деятельность протекала на виду у всех и при жадном внимании к каждому ее слову. Был проделан

всенародный опыт добиться удовлетворения коренных нужд и запросов страны «мирным», «парламентским» способом. И этот опыт оказался не только не удавшимся, но прямо плачевным. «Кадетская» дума оказалась не всесильной, а бессильной. Ее история показала, что «парламентское» действие не годится в социальной борьбе, что тут нужна именно «революция». И она вместе с тем показала, что для революции нужны «революционеры», а не «мирные» соглашатели, тем более кадетского толка.

В этом смысле первая дума была одним из весьма важных этапов в социальном и политическом развитии России,—конечно, этапом не положительным, а отрицательным: не потому, что она что-то дала, а потому, что она нечто устранила— устранила иллюзию возможности мирного социального развития, и так называемого общественного компромисса. Судьба первой думы нанесла жестокий удар либерализму и даже радикализму верхних слоев, несмотря на то, что этот радикализм проявился в первой думе, может-быть, в своей самой привлекательной форме и при поддержке его целым населением.

С этой стороны, история первой думы весьма поучительна, стоит остановиться на некоторых ее этапах и эпизодах.

Здесь прежде всего надо отметить полное внутреннее единодушие, царившее в первой думе, и ее огромную популярность. Дума погибла не от внутренних раздоров и не от недостатка поддержки ее населением. Она погибла оттого, что история потребовала от нее революционного действия, а она была к нему неспособна.

Несмотря на то, что выборы в первую думу прошли под кадетским флагом и были кадетским торжеством, кадеты все-таки не имели в ней абсолютного большинства. В кадетской фракции числилось несколько больше 180 человек, и рядом с ней стояли, во-первых, «трудовики», а во-вторых, целый ряд национальных групп, социал-демократы, и было некоторое количество октябристов и правых. При таком разношерстном составе думы, она могла оказаться неспособной ни к какому согласному и дружному действию. Но этого не только не случилось, а наоборот, первую думу можно считать образцом согласия и единодушия.

Весьма характерно, что это единодушие не было нарушено даже с национальной стороны.

Тогда переживался такой всеобщий подъем, такое торжественное доверие к идее народного представительства, что представители многочисленных национальностей, живущих в России, не выдвигали вперед своих национальных требований, считая, что прежде всего Россия должна, как целое, перестроиться на новых государственных началах, и тогда — они верили — очередь дойдет и до удовлетворения их национальных желаний.

Таким образом, национальный вопрос не только не нарушил единства первой думы, но наоборот, как бы подчеркнул всю силу

этого единства, на почве общего доверия к идее «народного представительства».

При таких условиях неудивительно, что во главе первой думы, с согласия всех, была поставлена партия, правда, не имевшая там абсолютного большинства, но выдвинувшая, сперва на выборах, а затем и в самой думе, программу демократического преобразования государства и демократического разрешения аграрного вопроса: партия кадетская или, как она себя торжественно называла, партия народной свободы.

Единодушно, почти единогласно, был избран председателем думы Муромцев, — единодушно, почти единогласно был принят ответ думы на тронную речь, составленный в духе кадетской программы, и так же единодушно, по инициативе кадетов, было выражено недоверие министерству, когда возглавлявший его тогда Горемыкин заявил, что требования, изложенные в ответе на тронную речь, для правительства неприемлемы.

Но к этому надо добавить, что эти первые голосования не только внутренно сплотили первую думу, но и прочно закрепили ее связь со страной, создали ей колоссальную популярность. Ответ думы на тронную речь был принят населением как подлинное выражение нужд страны, как правильное изложение народных требований, как программа национального преобразования России. После того, как этот ответ стал известен населению, непререкаемым сделалось мнение, что избранные в первую думу депутаты исполнили то, ради чего их посылали, не покривили душой перед народом, изложили царю все, что надо было изложить. А когда первая дума, в дополнение к своему адресу, направленному к царю, выразила еще и свое недоверие министерству, то это вызвало всеобщий и бурный восторг, величайший энтузиазм. Даже «левые» заявляли тогда кадетам, что они их одобряют и находят, что они «не изменили» народу.

Таким образом, первая дума лойяльно, в парламентской форме, от имени огромного большинства населения, предъявила правительству требования о политической и аграрной реформе.

Как же отнеслись к этим требованиям правительство и те зубры-помещики, которые составляли социальную основу этого правительства?

Выразительным ответом на этот вопрос является вся кратковременная история первой думы. Вместе с тем эта же история ярко раскрыла и «природу» самой первой думы. Позиция правительства по отношению к народному представительству уже заранее определялась тем, что перед самым созывом думы, следовательно, без ее согласия, несмотря на то, что манифест 17 октября ограничил законодательную власть царя, были опубликованы новые «основные законы», в которых Николай II попрежнему именовался «самодержцем», а кроме того, буквально за день до созыва думы, был уволен от должности председателя совета министров Витте, который считался «виновником» издания мани-

феста 17 октября и «конституционалистом», и на место его был посажен ярый и тупой реакционер Горемыкин.

Все это не предвещало ничего хорошего первой думе, но она решила «обходить» все подводные камни. Первым из таких подводных камней была присяга членов думы. Формула присяги была составлена на имя не только «императора» но и «самодержца», т.-е. совершенно неприемлемым для думы образом. Надо было, собственно, отказаться от такой присяги, или, если уж присягать, то просто «наплевать» на содержание этой присяги. Но кадеты не сделали ни того, ни другого. Они присягнули, но при этом сделали декларацию, что они понимают слово «самодержавие» в новых основных законах не в современном и актуальном, а в старом, историческом смысле: в смысле независимости власти российских государей от каких-либо иных держав или властителей. Это значило просто зарыть голову в песок, но это избавляло от немедленного конфликта «народных представителей» с вероломным монархом.

Но все же конфликт с властью был неизбежен, и он разразился...

Это, правда, произошло по всем «парламентским» правилам, но все же громко и внушительно.

Когда Горемыкин, в качестве главы правительства, выступил с ответом на обращение думы к монарху и начисто отклонил все ее пожелания, дума дала полную волю своему парламентскому гневу против правительства. В целом ряде речей она громила министерство и открыто требовала его отставки, а в заключение выразила министерству формальное недоверие. Как уже сказано, это недоверие громким эхом прокатилось по всей стране, но... нисколько не подействовало ни на правительство, ни на монарха. По «основным законам» и по собственному миропомазанному мнению монарха, министерство вовсе и не нуждается в доверии народных представителей, оно ответственно только перед монархом. И монарх, окруженный своей камарильей и зубрами-помещиками, даже бровью не моргнул в ответ на недоверие его «правительству». Он делал вид, что ничего особенного не случилось.

Однако, благодаря прямому вотуму недоверия, выраженному думой министерству Горемыкина, скрытый до сих пор (по крайней мере, официально) конфликт между думой и правительством или, вернее сказать, между народным представительством и царем, был целиком выведен наружу. Он стал зиять в тогдашнем политическом положении и делал его невыносимым. Отвергнувшая правительство дума оставалась на месте, но и... отвергавшее думу правительство оставалось на месте. Думы еще боялись, боялись того народа, который ее послал и который ее поддерживал, но не хотели искать с думой никакого соглашения. Все дальнейшее существование думы превратилось в драматическую инсценировку получившегося конфликта перед глазами целого населения.

Правительство решило игнорировать думу, пренебрегать ею, даже выказывать ей свое явное презрение. Последнее недвусмысленно было выражено официальным внесением в думу единственного правительственного законопроекта. Это был знаменитый законопроект о ремонте прачешной в Юрьевском университете. Этим хотели нравственно уязвить думу, уязвить ее достоинство.

Создалось такое положение: дума остается на месте, в ее распоряжении имеется парламентская трибуна, но и только. Правительство сотрудничать с думой не желает, а что касается управления страной, то оно идет так, как если бы думы и не было. Не только во-всю чинились всякого рода беззакония, шли высылки и аресты, но самым бесцеремонным образом организовывались еврейские погромы, как, напр., знаменитый Белостокский погром. Это было уже специально для думы.

И это нелепое положение длилось целых два месяца. Естественно, что оно с каждым днем становилось все более невыносимым.

Изолированная от правительства, но сомкнутая с народом дума могла говорить во всеуслышание. Она и решила говорить каждый день, говорить по самым жгучим вопросам. Для этого искусными руками кадетских юристов и политиков создана была возможность прений в порядке направления законопроектов, т.-е., в сущности, без всяких практических границ, а в дополнение к этому вносились запросы по всевозможным всюду творившимся беззакониям, также с возможностью неограниченной и самой жестокой критики правительства. Дума каждый день громила порядки в государстве, громила правителей и рядом развертывала перед страной перспективы подлинной конституционной жизни, с господством закона, с гражданским равноправием и пр. В частности, два специальных дня в неделю были отведены для прений по аграрному вопросу, и тут не только оглашались и защищались земельные законопроекты всех партий, но и крестьяне из всех углов России выкладывали свои наболевшие нужды и жалобы на весь уклад деревенской жизни.

Дума каждый день говорила, ее речи печатались во всех газетах и жадно прочитывались населением. Население все больше преисполнялось негодованием против правительства, со всех сторон притекали к депутатам наказы ни в чем не уступать, с обещанием «поддержать думу во всех ее действиях».

Правительство 2 — 3 раза вздумало вмешаться в то, что происходило в думе. Среди думских прений вдруг появлялся министр или его товарищ, чтобы дать свои «объяснения» по запросу, чтобы парировать или, по крайней мере, смягчить наносимые думой удары.

Однако, все эти попытки «министерских» вмешательств в прения думы всегда оканчивались самым плачевным для правительства образом. Правительство не только ничего от них не выигрывало, но наоборот, все больше получало вид побитой собаки.

Таким образом, попытки парализовать действие думских речей вели к совершенно обратному результату. А между тем в думе все ярче разгоралась не только струя политическая, но и струя социальная. Там, ведь, шли не прекращавшиеся, регулярные, еженедельные прения по аграрному вопросу. Можно себе представить, как они действовали на крестьянство...

Чтобы иллюстрировать эту сторону дела, я приведу здесь одну из самых замечательных тогдашних думских речей — речь тамбовского крестьянина Лосева. Эта речь явилась удивительно красочным эпизодом на фоне думских прений и уже тогда обратила на себя большое внимание. Но ее глубокий прозорливый крестьянский смысл может быть в достаточной мере оценен только в настоящее время. Дело происходило в том знаменитом заседании 13 мая, в котором была прочитана Горемыкиным правительственная декларация и в котором один оратор за другим всходили на трибуну, чтобы громить министерство и требовать его отставки. Возбуждение в думе было огромное. Но уже произнесена была первая речь Набокова, вся засыпанная аплодисментами и законченная знаменитой фразой: «исполнительная власть да покорится власти законодательной!». Произнесены были речи ряда других думских «златоустов». Сделан был перерыв. Еще несколько пылких речей. И внимание стало уже утомляться, стала наступать психологическая реакция после большого возбуждения. Лидеры партий уже стали проявлять заботы о сокращении прений, чтобы не делать напрасной оттяжки нанесенному удару, чтобы не ослаблять его повторением или более слабым выражением тех же мыслей.

И вот именно в это время выступил крестьянин Лосев. Первых слов его речи почти-что не слушали; казалось, что он не скажет ничего, чего бы уже не говорили другие. Но некоторые зазвучавшие в речи выражения, а еще больше того особый тон речи, растяжистый, певучий, по-крестьянски задушевный, заставили аудиторию насторожиться; а когда стало ясно, что это настоящая крестьянская речь, кое в чем по-крестьянски наивная, но по-крестьянски здравая и твердая, то вся дума замерла, водворилось гробовое молчание, и крестьянин Лосев, как бодрый пловец, поддерживаемый волнами, с той трибуны, на которой можно было говорить с целым народом, высказал свою мысль до конца и одел ее во все те краски, какие были в его распоряжении.

Что же сказал крестьянин Лосев?

В первой части речи он выразил именно те надежды, которые крестьянство возлагало на думу и ту радость, какую оно, в своей

доверчивой простоте, испытывало в первые дни думы, особенно, по поводу адреса думы и тех пожеланий, которые были в нем высказаны.

Лосев говорил:

«Господа народные представители, до сегодняшнего дня я был движим чувством радости, я думал, что вот настанет тот момент, в который начнется обновление нашей измученной страны, я думал, что этот голос измученной страны раздался по всей стране и дошел до слуха великого священного нашего монарха. Он благоволил по своей милости издать указ и собрать народных представителей, чтобы ознакомиться с нуждами нашей страны. Да, это в моих глазах случилось, и я имею счастье быть этим представителем. До сегодняшнего дня сердце мое чувствовало радость: вот исчезнет тот момент гибели, когда продерутся сквозь слезы утомленные, измученные глаза крестьян, которые увидят лучи обновленной страны и благосостояние своей жизни, которые более не будут бояться угроз этого полицейского режима, которые более не будут жить при такой бедности, в такой голодной стране и с лишением всех их прав».

Вот с какими надеждами на «великого священного монарха» и на народное представительство, и с какой радостью по поводу предстоящего «обновления» страны крестьянство вошло в думу.

Но выступление Горемыкина сразу же показало здоровому крестьянскому уму, что всем «надеждам» и всей «радости» конец. И Лосев продолжал:

«Но, друзья, я вам скажу, радость моя была и сердце мое чувствовало радость только до сегодня. Я ныне услышал с этой трибуны тот ужасный голос, который принес сюда премьер, председатель совета министров; он ясно и кратко сказал, что все то, чего требует страна, безусловно недопустимо ставить на разрешение государственной думы. Что же тут недопустимого? Именно главный вопрос удовлетворению и не подлежит. Чтобы удовлетворить голодную страну, это министерство, под руками которого мы находимся, как безответные и бессловесные животные, с этой трибуны принесло нам бумагу и говорит: «эти нужды, это удовлетворение этих нужд недопустимо».

И крестьянин Лосев опять, попросту, но с полным пониманием совершавшегося говорил:

«Меня это сильно огорчило, да думаю, что не одного меня, но, я думаю, всю страну. Этот листок помутил глаза тех крестьян, которые тут с нами, помутил глаза и сердца тех, которые ждали, что осуществит нам эта дума. Эти разнообразные, пестрые представители ждали, что она осуществит. Да, я до сих пор видел желание этих представителей, здесь есть истинные умы, искренние желания к обновлению страны, я до сих пор слушал и радовался, авось господь благословит своею милостью. Но моя радость была только до сегодня. Ныне я снова получил себе грустное впечатление и теперича, дорогие мои, опять вижу

свое несчастное положение, опять нам грозит та золотая туча этих золотых мундиров бюрократии, которая снова нас раздавит».

Лосев говорит о положении крестьянства четко и образно.

«Я теперь снова ставлю себя в число тех бедных крестьян, к которым я принадлежу, и говорю, что они снова обратились, при всей своей силе, какую они имеют, в прежнее состояние. Я хорошо знаю, что это 100-миллионное крестьянство имело бы громадную силу, если бы дать в его руки такие способы, при которых оно могло бы расти и развиваться. Но кого же оно теперь собою изображает? Его сумели сделать и обратить в такое состояние, в каком был тот святой человек, которого указывает нам библия. Это сильный, могучий, но слепой Самсон».

Библейский образ овладевает оратором, и он все свои дальнейшие мысли связывает с ним.

«Я повторяю теперь,—говорит он,—что же сделали с этим 100-миллионным трудовым населением? Его и до сих пор обращают в игрушку, как это делали филистимляне, когда привели этого жалкого слепого человека в свой храм. Когда он был силен и у него были глаза, он их побеждал. Филистимлянам стало тошно от него. И что же тогда они придумали? Узнав, в чем состоит его сила, они при помощи хитрой и коварной Далилы захотели отнять у него силу. В таком положении находимся и мы в настоящее время. Мы сильны, но всеми хитростями и кознями мы ослеплены и поэтому нас берут на это зрелище, как Самсона брали филистимляне. Еще раз я повторяю всем, на ком лежит обязанность, взять за пример и не забывать этого Самсона и не забывать этой 100-миллионной группы крестьян. Знаете, что сделал Самсон в последний момент, когда он почувствовал вновь в себе прежнюю силу?

«Он сказал вожаку: «подведи меня к колоннам и дай мне ощупать их». И опершись правой рукой в одну, а левой в другую колонну, сказал: «умри, душа моя, с филистимлянами». Что, друзья, заставило его это сделать? Если бы он, при своей силе, не был обманут этой хитрой Далилой и не были ему выколоты глаза, то он этого не сделал бы. Но когда он пришел в безвыходное положение, тогда, опершись и опрокинув столбы, на которых было устроено зрелище, с теми многими тысячами, которые пришли смотреть на него, он сказал: «умри душа моя со всеми ними». Это он сделал потому, что ему тошно стало жить сильному, но слепому. И они умерли под градом камней и под развалинами. Друзья, теперь я обращаюсь к вам и говорю, что все трудовое крестьянство поставлено теперь в такое критическое положение, что его сделали, как этого жалкого слепого Самсона. Но я одно должен сказать вам, что я не ручаюсь за то, выдержит ли этот несчастный Самсон или также упрется и скажет: «умри, душа моя, вместе с филистимлянами».

Эта речь произвела тогда на думу впечатление, но она все же не была оценена в ней, как следует, особенно ее руководителями. Красочный эпизод, живописное сравнение, сильный Самсон, который если дело до того дойдет, так может и тряхнуть сводами «здания», — все это принималось кадетами скорее фигурально, чем реально, или, пожалуй, реально, но как-то «условно»: до этого, мол, все-таки не дойдет, все «образуется» иначе, по-хорошему. А между тем это была именно сама реальность, и какая грозная реальность...

Вот при таком разочаровании крестьянства и в «священном» монархе, и в его «раззолоченном» правительстве, можно себе представить, как действовали на население прения думы по аграрному вопросу. Правительство заявило, что «принудительное» отчуждение земель в пользу крестьянства «безусловно недопустимо», а дума каждый день твердила, что это безусловно необходимо, что без этого крестьянину жить нельзя.

Всем становилось все более ясно, что так дело продолжаться не может, что должен быть какой-то выход из этого положения. Но какой?

Сама дума, почти целиком отдавшаяся кадетскому руководству, ждала этого выхода в виде «думского» министерства. Она думала, что «вверху» поймут, что с огнем шутить нельзя, — поймут и призовут к власти кадетов. Этот выход, по крайней мере, для руководившей думой кадетской партии казался единственным приемлемым. Кадеты не хотели соглашаться на меньшее, но и не хотели прибегнуть к большему, т.-е. призвать народ к активной помощи парламенту. Кадетский образ действий был целиком замкнут в «парламентской» доктрине. Это была парламентская «твердокаменность», парламентское «доктринерство», или, по известному выражению, парламентский «кретинизм».

И как будто стены Иерихона даже заколебались от звука думских труб. В правительственном стане появилось течение, склонявшееся к созданию думского министерства. Представителем его оказался знаменитый Трепов. Велись по этому поводу некоторые закулисные переговоры, но они ни к чему не привели.

«Думское» министерство не состоялось.

Тогда правительство решилось на другой выход. Видя, что дума упорно держится своих парламентских прав, оно решило прибегнуть к «парламентскому» же исходу, т.-е. распустить думу. Просто и даже законно.

Но, прежде чем прибегнуть к этому средству избавиться от думы, правительство решило несколько обезопасить себя со стороны аграрного вопроса. С этою целью было издано (20 июня) «правительственное сообщение», которое умышленно перепутывало все карты в этом вопросе, — с одной стороны, возражало против думы, а с другой — смешивало думу с правительством, — словом было составлено в расчете на крестьянскую темноту.

В своем окончательном выводе оно обещало разрешение аграрного вопроса от имени царя, а не от имени думы.

Опубликование этого правительственного сообщения с ясностью показало, что правительство готовится думу устранить, а то дело, ради которого дума была избрана и в верном исполнении которого первые народные представители клялись перед народом, — свести на-нет, т.-е. не только не дать стране «земли и воли», но опять погрузить ее в то состояние, в каком она пребывала доселе. Наступил таким образом для думы решительный момент: что делать? Как защитить дело народа? И вот тут-то и сказалась вся природа этой «кадетской» думы.

Несмотря на то, что кадеты предусматривали возможность наступления необходимости «внепарламентских» действий, и не раз это высказывали, и несмотря на то, что опубликование правительственного сообщения явно подвело их к этой необходимости, кадеты пришли теперь в полное замешательство. В их собственной среде возникла мысль, что надо ответить ударом на удар, что надо, в противовес правительственному сообщению, опубликовать думское «сообщение» по аграрному вопросу. В этом смысле было даже принято думой формальное постановление. Ясно было при этом, что сообщение думы должно было быть не канцелярской отпиской, а торжественным «обращением к народу» с призывом его к защите прав народного представительства. Но на это у кадетской думы совершенно «не хватило духу». По поводу необходимости «обращения к народу» много дней велись в думе жалкие прения между его сторонниками и противниками, раскрывшие все политическое безволие и бессилие этой кадетской думы. «Наверху» с злорадством наблюдали всю эту картину и сделали из нее совершенно правильный вывод, что дума не «страшна», что она, конечно, не призовет народа к «революции». А для правительства в этом было все дело. Оно жило без «дальних» рассуждений. Ему достаточно было «сегодняшнего дня».

Указом от 8 июля дума была распущена.

ГЛАВА XI.

ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ.

Предположение правительства, что можно первую думу распустить «безнаказанно», оправдалось, но все же не вполне, а с некоторым заключительным эпизодом со стороны думы. Первая дума не покорилась «молча» акту роспуска, она ответила на него тоже «актом», и этим актом было так называемое «выборгское воззвание».

Роспуск первой думы, по существу, был, конечно, насилием еще не свергнутого самодержавия над народным представитель-

ством, а не апелляцией «конституционного» правительства к народу.

Было ясно, что правительство «распустило» думу или для того, чтобы ее больше не собирать, или, во всяком случае, для того, чтобы принять меры — путем ли давления на выборы, или путем изменения избирательного закона, — чтобы такой думы, которая требовала бы того, чего требовала первая дума, больше не было.

При таких условиях, просто «разойтись» и приглашать народ к отстаиванию своих прав на новых выборах, которые к тому же в акте роспуска первой думы, как известно, не были даже определенно назначены, было бы явной изменой тем обязательствам, которые торжественно взяли на себя первые народные представители: во что бы то ни стало добиться «земли» для крестьянства и «воли» для всего населения. Очевидно, надо было предпринять что-то чрезвычайное, «внепарламентское».

И, действительно, первая дума предприняла, после своего роспуска, «внепарламентский» шаг. Этим шагом было «обращение к народу», получившее название «выборгского воззвания». Инициатива выборгского воззвания, с его призывом к неплатежу налогов и недаче рекрут, принадлежала к.-д. партии.

Но этот призыв был одобрен и всеми группами, стоявшими левее к.-д., т.-е. трудовиками, эсерами и социал-демократами.

Таким образом, первая дума самочинно продолжила свое существование для поездки в Выборг. Но, издав свое воззвание к народу, она «разошлась» и уже больше не посягала ни на какие самовластные действия.

Как отнеслось население к выборгскому воззванию?

Оно отнеслось к нему вполне благоприятно. Доказательством этого является, прежде всего, колоссальное распространение этого воззвания, конечно, нелегальным путем. Впервые оно было напечатано (текст вместе с подписями), в самый день его принятия, там же, в Выборге. Но с этих экземпляров оно печаталось потом по всей России, в самых различных типографиях, было переведено на языки почти всех ее народностей. Словом, до этого ни одно воззвание не было так широко распространено среди населения, и призыв воззвания — не платить налогов и не давать рекрут — стал, несомненно, известен всем, и именно, как призыв, открыто исходящий от членов первой думы.

Другим доказательством того же может служить то, что первая дума, после роспуска, нисколько не потеряла в своей популярности, — наоборот, эта популярность окончательно за ней закрепилась. И это, несомненно, произошло именно потому, что она, после роспуска, не просто разошлась, а обратилась к народу со своим воззванием.

Конечно, мы теперь, живем в совсем другой полосе жизни, нас окружает совсем другая атмосфера. Все, что тогда проис-

ходило, кажется нам таким далеким и чуждым, а главное, незначительным. И первая дума сейчас почти забыта, во всяком случае, она целиком отошла в область истории. Но ведь тогда это была не история, а современность, и в этой современности первая дума была большим всенародным переживанием. И, повторяем, это переживание оставило в населении благодарный след. Первая дума была для населения отрадным, поднимающим его дух событием. Население считало, что посланные им в первую думу люди ему «не изменили», а, наоборот, отстаивали, как могли, его интересы, добиваясь для него земли и воли. И первая дума была чрезвычайно популярна в самых глубинах населения.

Мне вспоминается рассказ одного из левых кадетов, члена первой думы, саратовского присяжного поверенного Н. И. Семенова, как он приехал в деревню после роспуска первой думы. К нему собрались старики-крестьяне из соседних деревень, с вопросом: что же дума,—сделала ли она что-нибудь для народа, или нет? Я рассказал им,—говорил Семенов,—с начала и до конца все, как было в думе. И про то, чего требовала дума, и про то, как ответили на это министры, и про то, как распустили думу, и, наконец, про выборгское воззвание. Крестьяне все выслушали, выслушав, попечаловались на свою судьбу, — как выразился Н. И. Семенов: мы вместе поплакали — а в заключение ему сказали: «Ну, вот что, Николай Иванович, мы видим, что на тебе вины нет. Ты старался для народа, а что вышла неудача, в этом ты не виноват».

Таким образом «избиратели» не упрекали своих «избранников», а, наоборот, снимали с них вину, заявляя, что признают их действия правильными.

А когда правительство имело еще и глупость привлечь подписавших выборгское воззвание к суду и присудило их (правда, всего к трехмесячному) тюремному заключению, то это еще выше подняло в глазах народа престиж перводумцев.

«Выборгское воззвание» в тот момент, когда оно было издано, удовлетворило, таким образом, всех, кроме, конечно, зубров-помещиков и заклятых бюрократов. Кадеты были довольны им, потому что оно дало «приличный» конец для той думы, которой они всецело руководили и которая ничего не добилась для народа. Те, кто были левее кадетов, в том числе и те, кто стоял за революцию, а не за парламентаризм, были довольны выборгским воззванием, потому что, с их точки зрения, оно было maximum'ом того, чего можно было ожидать от кадетов думы и, в конечном счете, не могло не производить революционного действия на население. Наконец, само население, в особенности, безбрежная крестьянская масса, бесконечно-терпеливая и благодушная, была просто благодарна первой думе, как говорится, «на добром слове». Она видела по всей деятельности первой думы и по «выборгскому воззванию», что первая дума была за «народ», а не за «правительство», и она ценила это, как «утешение»

в своей тяжкой доле. Крестьянин понимал, что перводумцы для него ничего не сделали, но они хоть всенародно сказали то, что надо крестьянину. Они не дали ему земли, но они поддержали его «душу», и он, по своему многотерпению и благодушию, ценил это, как нечто очень высокое. Как выразился один крестьянский делегат на кадетском съезде в октябре 1906 г., «выборгское воззвание» было для крестьян все равно, что дождь на иссохшую землю. Оно «утешило» крестьян в их тяжелом разочаровании от неудачи тех надежд, которые возлагались на первую думу, оно поддержало их «дух» в эту тяжелую для них минуту.

В момент издания выборгского воззвания, оно всем казалось правильным исходом из положения. Но прошел месяц, другой, третий... Попытки «революционеров» продолжать «революцию», организовать новые «восстания» окончились неудачей. Реакция стала свирепствовать на всем просторе. А тем временем приближалась осень, приближался «набор», т.-е. время, когда дело должно было дойти до практического осуществления выборгского воззвания, в той его части, которая говорила о «недаче рекрут». «Недача» рекрут, если бы она осуществлялась, должна была привести к прямому столкновению с властью.

А в этом «столкновении» надо было бы принять участие и членам первой думы, потому что в конце своего воззвания «к народу» они написали: «Граждане, в этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами».

Но, конечно, кадеты были совершенно неспособны ни к какому «прямому» действию. Они могли выступать «добрыми» посредниками между «народом» и «властью», могли, в этом посредничестве, грозить чужой революцией, но делать свою — это совсем не их специальность. Они совсем не для этого созданы.

Приведенные выше слова выборгского воззвания были просто фразой, и только фразой. Никто из кадетов серьезно и не думал о том, что придется эти слова осуществлять, — никто не заботился о том, как их осуществлять. Все было предоставлено самому «населению», а выборные люди, в том числе и центральный комитет кадетской партии, просто этим вопросом не занимались.

Насколько это было политически, с точки зрения ответственности за свои «обращения» к населению, — ну выразимся так: непозволительно и предосудительно, это ярко оттенилось тем, что среди кадетов нашелся один «праведник», который принял выборгское воззвание всерьез и который у себя на месте (в Курской губ., Суджанский уезд) сделал все, чтобы призыв думы, ко времени набора, был готов к исполнению. Это был товарищ председателя первой думы кн. Петр (не Павел) Дмитриевич Долгоруков. Так как факт этот остался, можно сказать, никому не известен, а между тем он заслуживает внимания, то

я здесь его приведу, как он был доложен самим кн. Долгоруковым в Центральном Комитете к-д. партии.

Кн. П. Д. Долгоруков был давнишним земским и культурным деятелем в своем уезде. У него были близкие и хорошие связи с местным крестьянством, и еще до первой думы он был организатором и участником местного «крестьянского союза» (о чем он сам заявил в заседании думы при обсуждении вопроса о крестьянском союзе). Пользуясь этим своим положением в уезде и близкими связями с крестьянством, кн. П. Д. Долгоруков, вернувшись из Выборга, прямо поставил перед крестьянами вопрос о предстоящей «недаче» рекрут. И он свидетельствовал, что крестьяне не только с полным одобрением усвоили себе эту мысль, но и отнеслись к ней самым деловым образом. На целом ряде совещаний был выработан определенный план действий. Между прочим, было решено, что призываемые должны были не просто не являться на призыв, потому что это распыляло бы самих призываемых и уничтожало эффект их «сопротивления» призыву, а, наоборот, должны были все явиться в уездный город, и уже там, скопом, отказаться от отбывания воинской повинности.

Кн. П. Д. Долгоруков подчеркивал, что такой план выдвинули сами крестьяне и что, вообще, ко всему этому вопросу они отнеслись крайне активно, предусматривая все детали предстоящих действий.

Кн. Долгоруков докладывал об этом в ЦК к-д. партии, когда там под разными предлогами уже били отбой, он доказывал этим, что «недачу» рекрут можно было практически провести, если сделать то же самое во всех уездах России, но, конечно, он своим сообщением только привел своих коллег в крайнее смущение, а сам должен был с горечью убедиться в том, что его «товарищи» пригодны для «слов», но не пригодны для «осуществления» этих слов, и что это вовсе не случайность, а самая их «натура». Не могу скрыть здесь, что после этого заседания кн. П. Д. Долгоруков и мне лично говорил: «как же это вы так горячо выступали в Выборге в пользу призыва народа к сопротивлению, а теперь доказываете, что этот призыв, от имени кадетской партии, надо взять обратно?» — и он добавлял: «с каким лицом мне теперь возвращаться к себе в уезд, как предстать перед крестьянами, что сказать им по поводу решения партии — отменить выборгское воззвание?».

Я не знаю, что говорил этот политически идеально-честный человек крестьянам Суджанского уезда по поводу решения своей партии не приводить в исполнение выборгского воззвания, но я знаю, что после этого он уже не принимал никакого участия в деятельности к-д. партии, не являлся ни на какие ее заседания и съезды и даже никогда не присутствовал на ежегодных собраниях перводумцев в день созыва первой думы. И он не изменил этому своему абсентеизму даже для похорон Муромцева.

Но это было единственное исключение в кадетской партии, и о том, что сделал кн. П. Д. Долгоруков для осуществления выборгского воззвания в Суджанском уезде, как он организовал для «пассивного» сопротивления целый уезд, — никогда, нигде и никому не сообщалось.

Центральный комитет партии и сама к-д. партия, сперва на своей конференции, а затем и на съезде «отменила» от своего имени призыв думы к населению о неплатеже налогов и недаче рекрут. И к стыду своему я должен сказать, что и я был в числе тех докладчиков, которые мотивировали перед партией это решение.

Таким образом, «выборгское воззвание» не вызвало никаких реальных последствий. Население, может-быть, с недоимками, но уплатило налоги и без сопротивления дало правительству рекрут. Но позволительно все-таки спросить: какое же значение имело это воззвание в ходе событий, сыграло ли оно какую-нибудь историческую роль, или нет?

Я думаю, что на этот вопрос надо ответить так: взятое на большом расстоянии, в смысле его о б щ е г о действия на население, оно, несомненно, сыграло революционную роль (как и вся деятельность первой думы), но взятое в тот момент, когда оно было издано, оно сыграло контр-революционную роль, оно избавило Николая II от того революционного взрыва, который должен был обрушиться на него за разгон первой думы.

Позволю себе аргументировать этот вывод в несколько личной форме. Летом 1914 г. мне случилось делать доклад о политическом положении России в Париже, перед русской эмигрантской аудиторией. По обыкновению, я его сделал в самых сгущенных кадетских тонах, доказывая, как это было тогда моим убеждением, что не революция, а эволюция, конституционное развитие, приведет нас к лучшему положению вещей. Коснувшись в докладе, в частности, первой думы и выборгского воззвания, я горячо отстаивал последнее, доказывая, что оно также было своего рода «конституционным» (а не революционным) актом со стороны первого русского народного представительства. Ибо конституция, говорил я, есть своего рода договор между народом и властью, — договор, по которому обе стороны обязуются законодательствовать (а в том числе и взимать налоги и набирать рекрут) только совместно, по взаимному соглашению. И раз одна сторона — власть — нарушает этот договор, то другая — народ — имеет и естественное, и юридическое право не давать власти ни денег, ни солдат. К этому, — и только к этому, — говорил я, — и призывало население выборгское воззвание. И это было правильно и конституционно. Выборгское воззвание было не «глупостью», говорил я, как называли его даже многие кадеты, а, наоборот, мудрым актом первого русского народного представительства, которое этим закладывало в народном сознании самые основы конституционного порядка вещей.

На этом моем докладе присутствовал покойный Плеханов, и он выступил с возражением против меня. По обыкновению, его речь была очень остроумной, но менее ядовитой по отношению к моему кадетскому настроению, чем я этого ожидал. В частности, он одобрил и выборгское воззвание, заявив, что в тот момент ничего лучшего и нельзя было сделать. Мы тогда слишком переоценивали, говорил он, революционное настроение народа; мы придавали слишком большое значение всем этим наказам и обещаниям «поддержать» думу, которые тысячами присылались к членам думы; на самом деле «народ» не был готов к революции, надеяться на то, что он «поднимется» на защиту думы было «иллюзией». А при таких условиях, даже и с революционной точки зрения, выборгское воззвание надо считать maximum'ом того, что тогда можно было сделать. Значит, выборгское воззвание есть заслуга первой думы не только перед «конституционной» эволюцией, но и перед «революцией».

Может-быть я, за дальностью времени, теперь не совсем точно передаю «форму» мысли Плеханова, но, несомненно, такова была ее сущность.

Я, в свою очередь, выступил с возражением против этой мысли Плеханова, как всегда выступал против нее, когда она кем-либо высказывалась. Я никогда не был согласен с тем, что мы в 1905 — 1906 гг. переоценивали революционное настроение народа. Наоборот, мы его оценивали совершенно правильно. Народ, т.-е. не только рабочие, но и крестьяне, были уже тогда вполне мобилизованы к революции. Эта революция была предотвращена, или, вернее сказать, приостановлена только созывом первой думы. И «разгон» первой думы мог и должен был повести к революционному взрыву, от которого также не поздоровилось бы Романовым, как им не поздоровилось в 1917 г. Плеханов не ставил в упрек первой думе то, что она поехала в Выборг и издала там свое «воззвание». Но есть люди, которые ставили ей это в упрек, которые говорили, что дума должна была остаться в Петербурге, сделать попытку, вопреки «роспуску», собраться там же и непосредственно призвать народ к защите прав народного представительства. Я всегда говорил, что люди, утверждающие это, были правы в том отношении, что если бы перводумцы, вместо того, чтобы ехать в Выборг, собрались, скажем, на Казанской площади, и имели мужество дать себя там «постреллять», то, конечно, в России была бы самая настоящая революция уже тогда. Народ выступил бы на защиту своих «выборных людей», и едва ли против этого устояли бы и воинские части. Если воинские части, покидая Романовых, приходили в 1917 г. в т р е т ь ю думу, то, конечно, в п е р в у ю думу, не к Родзянко, а к Муромцеву, они приходили бы уже в 1906 г.

Таким образом, — и это мое глубокое убеждение поныне,—«революция» б ы л а б ы, если бы ее х о т е л а первая дума, если

бы первая дума н е п р е д о т в р а т и л а ее своим образом действий.

В самом деле, что сделала первая дума в этот решительный момент, — в момент «разгона» первого русского народного представительства?

Вместо того, чтобы тотчас же закричать на весь народ: «караул, грабят, отнимают то, что уже принадлежит народу!», — она уехала из столицы и оставила народ в одиночестве. И это сделала популярная, любимая дума, дума, которой народ доверял. Естественно, что и народ в этот решительный и решающий момент остался в бездействии. Он стал ждать, что скажут, что сделают его «выборные люди». Миновало, таким образом, безнаказанно для правительства, разогнавшего думу, несколько самых важных, самых решительных дней. И что же дума сделала, что она сказала? Она обратилась к народу, — она призвала его: но не к «действию», а к «бездействию», к «пассивному» сопротивлению. И притом к такому «бездействию», срок которому должен был притти только через несколько месяцев.

Что же это было такое? Это было «мудрое» предотвращение революции. Один Столыпин не мог бы тогда ее предотвратить, потому что едва ли ему повиновались бы воинские части; ведь, они очень плохо повиновались правительству уже в декабре 1905 г., а расстреливать «перводумцев», излюбленных людей народа, которые хотели дать народу «землю», может-быть, какая-нибудь часть и попробовала бы, но ей очень скоро пришлось бы в этом раскаяться. Но то, чего н е м о г Столыпин, то м о г л а первая дума, и она именно это и сделала своей поездкой в Выборг и выборгским воззванием. За это можно в и н и т ь первую думу, но можно ей это и с т а в и т ь в з а с л у г у. Винить — с революционной точки зрения, а ставить в заслугу — с кадетской, конституционной точки зрения.

И в моей реплике Плеханову я тогда так и ставил это в заслугу первой думе с моей тогдашней кадетской, «эволюционной» точки зрения. Я говорил, что непосредственное политическое действие выборгского воззвания заключалось в том, что в тот момент, когда все в народе накипело, когда все кулаки, не только рабочие, но и крестьянские, уже сжимались, чтобы перейти в действие, выборгское воззвание создало о т с р о ч к у действия, т.-е. на место жара и пыла возбужденных чувств поставило длительное, холодное размышление. С эволюционной точки зрения, по моему тогдашнему рассуждению, это было превосходно, ибо «жар и пыл» — это основа революции, а «холод и размышление» — это, как-раз, и есть основа конституции. Революционер должен пользоваться моментами «жара и пыла», должен не упускать их, должен ковать железо, пока оно горячо, а «эволюционист» должен как-нибудь и куда-нибудь «спускать» эти моменты, чтобы они чего не натворили, — должен создавать моменты «холода» и размышления, чтобы из этого размышления рождалось его

излюбленное «детище» — общественный «компромисс», который осуществляет «эволюцию» и делает ненужной «революцию».

Я должен сказать, что моя аргументация произвела известное впечатление на Плеханова. Отвечая мне вторично, он не нашел ничего другого, как сказать, что, если только я прав, если народ действительно, был готов «поддержать» первую думу, то на кадетов и на первую думу ложится в и н а, — вина, что они не воспользовались этой готовностью народа и не призвали его к непосредственной поддержке того, чего требовала первая дума.

Теперь я так и думаю. Да, на первой, кадетской думе лежит эта вина, — вина за то, что революция в России не разразилась уже в 1906 г., а оказалась отсроченной до 1917 г.

Так, мне кажется, надо смотреть на непосредственное действие выборгского воззвания. Оно было контр-революционном. Оно предотвратило революцию, т.-е., конечно, ту революцию, во главе которой захотела бы стать сама первая дума.

Но, конечно, другой вопрос, как надо оценивать значение выборгского воззвания, как и вообще всей деятельности первой думы, не для одного тогдашнего момента, а для общего течения русской истории последних лет. Тут надо сказать, что в развитии революционного сознания России и первая дума вообще, и эпилог ее деятельности — выборгское воззвание — имели не малое значение. Ведь, не надо забывать, что первая дума была в с е н а р о д н ы м политическим переживанием, переживанием ярким, всколыхнувшим самую подоплеку, в особенности, крестьянской души. Это переживание было всенародной попыткой м и р н о г о разрешения, не только политического, но и социального вопроса, — последнего, поскольку он касается крестьянства и земли. И эта попытка потерпела полную неудачу.

Вывод из этой неудачи не только для передового рабочего, но и для самого рядового крестьянина, не мог не быть тот, что «добром» ничего не поделаешь, что сломить упорство «владеющих» можно только силою, бунтом, революцией. И это убеждение отлагалось, глубоко отлагалось не только в рабочем классе, но и в крестьянстве. Нарастало и закреплялось революционное сознание крестьянства. Тускнели «иллюзии», преподносимые крестьянству «лучшими» из помещиков и «прекраснодушными» интеллигентами, разрывалась установившаяся-было связь между крестьянством и передовыми либералами, в лице кадетов, закладывались основы будущему политическому и социальному союзу между пролетариатом и крестьянством...

Первая дума, а вместе с тем и выборгское воззвание, сыграли, таким образом, большую революционную роль, но только не с п о л о ж и т е л ь н о й, а с о т р и ц а т е л ь н о й стороны.

ГЛАВА XII.

РЕАКЦИЯ.

Первая дума была для русского населения большим политическим уроком, — уроком тем более поучительным, что он был проделан с полным доверием, с огромным энтузиазмом по адресу «эволюции» и «конституции». Но смысл этого урока был целиком в пользу «революции».

После слишком недолгих «огней» первой думы наступила полоса такой беспросветной реакции, такого разложения и вместе с тем упорства существующего строя, что «революционный» урок первой думы не только ничем не смягчался в последующем, но с каждым днем обострялся до последней степени, пока, наконец, правящая «верхушка» не приняла такого сумасшедшего характера, что если не о «революции», то о дворцовом перевороте стали задумываться даже великие князья.

Все мы хорошо помним, как это происходило.

Сперва Столыпин думал изображать из себя умеренно-конституционного министра. Правительственной партией сделались чуть не «мирнообновленцы» (Н. Н. Львов, Стахович, кн. Е. Н. Трубецкой). Столыпин хотел править с думой, но с думой «умеренной». Но как ее получить? Конечно, прежде всего правительственным давлением. Поэтому он оставил в силе уже изданный избирательный закон, но «поднажал» на выборы. Однако, Россия оказалась не Болгарией и не Грецией, где любой министр, при всеобщем голосовании, создавал себе «свое» большинство и правил страной, как хотел, не нарушая «демократических» принципов. В России это оказалось совершенно неосуществимым. Несмотря на то, что избирательный закон был отнюдь не «всеобщим голосованием», а, наоборот, цензовой, хитросплетенной системой, со множеством лазеек для правительства, но совершенно «подтасовать» при нем думу не удалось. По своему составу «вторая» дума оказалась даже л е в е е первой. В ней уже не было ни «кадетского» настроения, ни «кадетского» большинства. В ней сильно выросло все левое крыло, очень увеличилась социал-демократическая фракция, образовалась фракция «народных» социалистов, выявилась в открытую фракция «социалистов-революционеров».

«Работать» вместе с такой думой Столыпину было, конечно, невозможно. Тогда социал-демократическая фракция думы, с Церетели во главе, была обвинена в «заговоре», отправлена на каторгу, а вторая дума распущена. Правительство же, нарушая манифест 17 октября, издало новый избирательный закон (3 июня), который совершенно отрезал народные массы от влияния на результаты выборов. Избранная по этому новому закону, «третья» или «третьеиюньская» дума оказалась целиком

в руках «октябристов». Вождем и символом ее сделался именитый московский купец, Александр Иванович Гучков, который никак не мог попасть ни в первую, ни во вторую думу.

Это как-раз и была столыпинская комбинация. Столыпин, в лице Гучкова, хотел опереться на «умеренные», «благоразумные» слои русского общества, а Гучков, в лице Столыпина, хотел иметь союзника «вверху». Столыпин думал, что он станет «сильнее» через Гучкова, а Гучков думал, что он станет «сильнее» через Столыпина. Но вся эта комбинация была построена без «хозяина» — Николая Романова. Этого «хозяина» признавали оба — и Гучков, и Столыпин. Оба одинаково хотели, в качестве сторожевых псов, охранить его от «революции». Но они хотели, чтобы, огражденный от революции, он был «приличным» конституционным монархом.

А Николай этого не хотел. Не хотела этого и та помещичья клика, которая его окружала. К тому же у Николая была полоумная жена, да и сам он был только с «четвертью» ума, но зато с безграничным самомнением.

Он хотел быть не конституционным монархом, а самым заправским «самодержцем», и притом так, чтобы не только Столыпин, но и сам Гучков с третьей думой были у него на посылках.

Так из третьей думы ничего и не вышло. Не стала она органом «умеренного», конституционного развития. Не обеспечила она именитому московскому купечеству влияния на ход государственных дел. Наоборот, в ней только выявился непримиримый антагонизм между капиталистами и помещиками. Николай закусил удила. Над его «скорбною» главою стала вовсю орудовать придворная, помещичья камарилья. Столыпин с его «конституционными» намерениями был оттеснен на второй план. Образовалась «правая», «монархическая» партия, которая шла поперек Столыпину, которая отрицала октябрьский манифест, как монаршую слабость, которая проповедывала глупому Николаю и сумасшедшей Александре, что никакой думы не надо, что они должны править по старине, самодержавно, умудрением и милостью «божиею», а не «советами» каких-нибудь Столыпиных или Гучковых.

И вот, сперва третья дума топталась на месте, водимая совместно Столыпиным и Гучковым, а затем Столыпин ей изменил, все больше покидая свои «конституционные» позиции и передаваясь на сторону «камарильи». Как известно, ему это не помогло, он окончательно запутался среди своих собственных сетей и был убит охранником, который при этом действовал неизвестно по чьему поручению. Что же касается третьей думы, то, вместо того, чтобы быть «правительственной», она, вопреки своей воле, стала «оппозиционной», т.-е. не то что «оппозиционной», — быть такою она была неспособна и не была, — но она очутилась в положении «неугодной», отталкиваемой и отрицаемой, несмотря на всю свою угодливость.

В своем «никчемном» состоянии третья дума прожила весь срок своего существования. К концу этого существования «монархисты» (Дубровин, Пуришкевич и пр.) вместе с придворной кликой настолько обнаглели, настолько овладели Николаем, настолько убедили его в том, что ему для управления государством ничего больше не нужно, кроме того елея, который был возлиян на его главу при коронации (помазанник божий), — что уже они решительно не хотели октябристской думы. Дума должна быть «правой», распластанной у ног самодержца, смотрящей ему в глаза, повинующейся всякому его мановению.

Поэтому на выборы в четвертую думу решено было произвести такой «нажим», чтобы там не оказалось не только «левых» или «кадетов», но и «октябристов», а чтобы были там только «монархисты», да как можно больше попов. Однако, «нажим» не удался. Не только «октябристы», но и многие помещики стали понимать, что «наверху» не ладно, что с тем «полоумием» и «изуверством», какие там все прочнее водворялись, угодишь прямо в зубы к чорту, т.-е. к «революции». Ведь, наверху орудовал и был там кумиром уже даже не Победоносцев, а буквально всякий нахал и проходимец, в роде Пуришкевича или инока Илиодора. Верховным «властителем» тогда еще не сделался, но уже «предчувствовался», носился в воздухе — «незабвенный» Распутин. К тому же при «нажиме» на выборы уж очень покровительствовали п о п а м, а попов помещик не выносит, т.-е. выносит, и даже жалует, но только в передней. А тут, ведь, выходило так, что на выборах «начальство» попами хотело вытеснить «землевладельцев». «Предводители» дворянства и само «дворянство» этого стерпеть не могли. Тут вышла маленькая «междоусобица».

И вот четвертая дума также оказалась не «правой» и не «монархической», а так же, как и третья — октябристской и поэтому — увы — «неугодной», «о п п о з и ц и о н н о й» (фу, какое скверное слово, октябристу даже не выговорить!). И была эта четвертая дума, пожалуй даже л е в е е третьей. По крайней мере, левее по настроению.

В ней была довольно изрядная группа кадетов, а, главное, между кадетами и октябристами оказалась еще группа «прогрессистов». Это были те же октябристы, но только с несколько большим «темпераментом».

И вот, в верхнем этаже «государственного» здания, — там, наверху, над народными массами, которые были совершенно отрезаны от всякого влияния на ход «государственных» дел — пошло д в а процесса: один — процесс «ошаления», «изуверства», полового и религиозного умопомешательства «престола», а другой — процесс «настороження» владеющих и господствующих — капиталистов и землевладельцев, их пробуждающегося понимания, что «престол» их до добра не доведет, что это пахнет «катастрофой». А когда на сцене появился еще

и Распутин, когда он получил неограниченное влияние на Николая, а главное на Александру, когда по указанию его корявого пальца стали слетать министры, а затем и «иерархи», когда он чуть не сам стал посвящать во «епископы» (знаменитый Варнава Тобольский), — когда при попытках противостоять его влиянию впадали в немилость и срывались с мест самые «надежные», самые «несомненные» в консервативном и даже в реакционном смысле люди (например, обер-прокурор синода, бывший Московский предводитель дворянства, Самарин, а за ним и «сам» митрополит Владимир), — тогда всем стало ясно, что надо «сплотиться» против Николая, — сплотиться, конечно, не в революционном, а в «конституционном» смысле, сплотиться в думе, чтобы создать хоть какое-нибудь противодействие «безумию» престола среди самих «владеющих», дабы все здание не полетело в «тар-тарары».

И вот открылось тут широкое поприще для политического творчества «премудрого» Павла Николаевича Милюкова. Он уловил настроение встревоженных и довольно-таки неуклюжих на политическое действие «предводителей» дворянства и «предводителей» российского капитала. Он понял, что им нужен «мастер» парламентского дела и парламентских комбинаций. И он, который до того так хранил «чистоту» кадетского имени, так настаивал на «независимости» всякого кадетского действия, — если допускал иногда мысль о «временных» соглашениях, то только «налево», а не «направо», — он двинулся именно «направо» — через прогрессистов — в сторону октябристов, и даже правее, если только кому угодно примкнуть к его комбинации...

Шаг был для Павла Николаевича экстраординарный, но, ведь, и дело было нешуточное, оно шло не о чем ином, как о «спасении»: спасении здания российской государственности с народившейся в нем третьеиюньской конституционностью от гибели, от развала, — от развала по вине становившегося «скандально» невозможным престола. Этот престол, своими действиями, грозил вновь вызвать против себя революционный взрыв народных масс. А Павел Николаевич — как потом оказалось, совершенно справедливо — боялся революции. С кадетов было достаточно и одного «освободительного» движения 1905 — 1906 гг.

И вот опытною рукою, с величайшим терпением и упорством, П. Н. Милюков стал сплетать настоящую «парламентскую комбинацию», — собирать «парламентское большинство» на такой платформе, к которой могли бы примкнуть не только кадеты, но и прогрессисты и — ох, как трудно! — даже октябристы и даже те, кто правее их, если они только понимают, что надо «спасать» отечество...

Трудно было бедному «искуснику», работа не раз, особенно на первых порах, расползалась под его руками, но его настойчивость и «парламентская» изобретательность были неисто-

щимы, а «объективные» обстоятельства — ошаление Николая, обнагление камарильи — были за него. Октябристы и даже националисты, а потом и «правые», в роде Шульгина, все больше стали понимать, что следовать за Николаем невозможно, что надо ему противодействовать. Особенно это стало очевидным, когда взошла «звезда» Распутина. Тут уж и Родзянко, и Бобринский, и Шульгин увидели, что надо «образумливать» Николая. А как его образумливать? Не «революцией» же! Единственно — авторитетом думы. Не «крамольной», не «выборгской», а «законопослушной» — третье-июньской думы. И вот этот «авторитет» создавали, создавали сплочением в ней «благоразумного», «конституционного» большинства. Так и возник в «четвертой» думе тот прогрессивный блок, главным войсковым «писарем» которого был П. Н. Милюков. Он вел все переговоры, он изготовлял все платформы и резолюции.

Предполагалось, что «прогрессивный блок», соединив в себе все «благоразумные», «конституционные» элементы думы и образовав в ней прочное, организованное, а не случайное большинство, составит силу, способную парламентскими средствами направить Николая и его министров на путь благоразумия. И, действительно, «большинство» было составлено, кадеты слились с октябристами, октябристы побратались с кадетами, «блок» составился, как-будто, даже «прочный», но только ни «обуздать», ни «образумить» реакцию ему ни в малейшей мере не удалось.

Реакция не только продолжалась, но принимала все более шальной характер. Николай с Александрой окончательно отдались религиозно-половому психозу. Они не только «приблизили» к себе Распутина, но сделали его своим «духовным» отцом, вручили ему остатки своей совести, поставили его не только выше своих министров, но и выше самих себя. Государственное управление превратилось в какой-то бедлам, где никто ни за что не отвечал, где все зависело от пьяного, распутного, невежественного мужика.

Этот мужик не только пьянствовал, скандалил, распутничал, но вдобавок еще и ничего не скрывал, а наоборот, сознавая свою распутную силу, компрометировал своих «высоких» покровителей во-всю. Среди пьяных, почти публичных оргий рассказывал об Александре такие вещи, что «флигель-адьютанты» не знали, куда им деваться и как им охранять «честь» высочайших особ: доносить ли в Царское Село, или просто молчать. Пробовали доносить (Джунковский), но оказалось, что этим отнюдь не «вредили» Распутину, а вредили только самим себе.

Так дело и шло все дальше в этих д в у х направлениях: «престол» все больше ошалевал, а государственная дума — представительница купцов и помещиков — все больше «сплачивалась» — в ужасе перед этим ошалением. Революционное настроение в «низах» все больше нарастало, а кадеты все больше

отходили от низов и сплетались с помещиками и купцами. Государственное здание получало все более шаткий характер. «Престол», в лице Николая, оторвался от «господствующих» классов, а «господствующие» классы, со своей думой, оторвались от массы населения. Население не только не возлагало никаких надежд на третье-июньскую думу, но относилось к ней враждебно и с презрением. Крестьянство ушло в себя, разочарованное в своих надеждах на «землю», а рабочий класс активно сосредоточивал свои силы, «попробовав» их уже однажды, в 1905 г.

В таком состоянии застал Россию 1914 год, — год, принесший мировую катастрофу. Внизу нарастало явное повторение 1905 г., «вторая» революция, но уже с гораздо более решительным уклоном против «династии»; вверху — эта самая «династия», которая совершенно выродилась, ошалела, превратилась во всем ведомый публичный дом; а по середине — «владеющие» и «господствующие», которые с п л о т и л и с ь, но сплотились в виде бессильной парламентской комбинации, не имевшей никаких связей внизу, и совершенно нестрашной вверху. Все положение было совершенно призрачное, фантастическое, оторванное от действительности. Оно как бы ждало удара кулаком — реальным, действительным кулаком, чтобы свалиться в обоих своих частях: и в виде этой насквозь прогнившей и ошалевшей «верхушки», и в виде этой бессильной «серединки», построившей себе свой парламентский «блок» и собравшей себе свое думское «большинство». Реальный кулак — снизу — уже стал подыматься. Но тут разразилась война, которая тоже представляла собою «реальность», но только реальность не российского, а мирового значения.

ГЛАВА XIII.

ВОЙНА.

Война вывела Россию из специфически-российского, изолированного от остального мира, призрачного существования, — из этой домашней возни между окончательно ошалевшим самодержавием и совершенно бессильными с ним справиться «господствующими» классами.

Остаться, в качестве буржуазного государства, в стороне от этой войны Россия не могла.

Но мировая война поставила на очередь,—и притом в страшно обостренной форме,—коренной вопрос всего капиталистического строя, а именно вопрос об антагонизме в нем интересов рабочего класса и вообще всех трудящихся с интересами капиталистов и помещиков. Капиталисты и помещики не только эксплуатируют трудящихся экономически, но и заставляют их приносить дань «кровью» в тех войнах, которые возникают между ними. А когда капитализм в нескольких сильнейших

капиталистических странах развился до стадии «империализма», когда на почве этого империализма стала неизбежной мировая война, то это обозначало, что капитализм потребует от рабочих и трудящихся такой гекатомбы крови, такой горы мертвых тел, такого количества искалеченных людей, какого мир еще никогда не видал.

Ясно, что это ставило на очередь «социальную» революцию, возмущение наемных рабов капитализма против «владык» современного государства, которые и во время войны сидят в тылу и наживаются, а в огонь посылают «пушечное мясо» тех, кто своим горбом создал им положение, которое они хотят превратить в «мировое владычество».

Казалось, что именно такое возмущение трудящихся против этой неслыханной дани кровью, которой потребовал от них капитализм в 1914 г., и должно было последовать. Ведь, западноевропейский рабочий класс, особенно в Германии, был уже организован, и не только в профессиональные союзы, но и в рабочие партии, — эти организации были в значительной мере, особенно в Германии, проникнуты марксизмом, они были объединены в международный рабочий Интернационал. Для организованных рабочих, для Интернационала, мысль о возможности и даже неизбежности мировой войны вовсе не была неожиданной, — наоборот, эта война не только предвиделась, но обсуждалась международными рабочими конгрессами, и они принимали резолюции: воспротивиться войне, отказаться от участия в ней, противопоставить ей всеобщую забастовку, которая сделала бы невозможным ее осуществление.

И тем не менее, несмотря на всю ясность положения с точки зрения классовых отношений, несмотря на то, что выражена была, и притом в международном масштабе, воля рабочих на случай, если буржуазия затеет мировую войну; — несмотря на все это, рабочий класс не только не «восстал» против войны, не только не противопоставил ей хотя бы «пассивного» сопротивления, но добровольно вошел в войну, отдал себя в ней целиком на службу буржуазии, сам превратил себя в «пушечное мясо» для этой мировой бойни.

Как это произошло? Как это могло произойти?

Это произошло потому, что рабочий класс еще раз поддался буржуазному обману. Буржуазия, владея современным государством, владея в нем всеми средствами воздействия на общественное мнение, имея к своим услугам так называемую интеллегенцию, может любым образом воздействовать на массы, создавать в них то или иное настроение, возбуждать в них те или иные чувства, и т. п. С помощью цензуры она может устранять сообщения о действительных фактах, а с помощью подлогов создавать выдуманные факты. И бороться против этого равным оружием противникам буржуазии невозможно. Тут у буржуазии полная монополия.

Поэтому неудивительно, что при наступлении этой войны народные массы везде были одурачены. Каждое из государств, не доводя до сведения своих «подданных» одних фактов, извращая другие, представляло дело так, что война «вынужденная», «навязанная» противником, исключительно «оборонительная», спасающая народ от «гибели», «порабощения», и пр. и пр. Всюду правительства, во имя «спасения» отечества, взывали к «патриотизму», к «единению», к прекращению всяких внутренних раздоров, к «гражданскому миру». Тот, кто возражал бы против этого, заранее провозглашался «изменником», «отщепенцем» от своего народа, «предателем», иностранным агентом и т. п.

При таких условиях бесконечно повышалась ответственность вождей рабочих масс. Рабочие массы во всех странах были более или менее организованы, во главе их стояли признанные и авторитетные вожди. Только эти вожди могли воспрепятствовать обману народных масс.

Но вожди этого не сделали. Наоборот, они одобрили эту войну, они голосовали за отпуск кредитов на войну, они, с своей стороны, призвали народ к прекращению всяких внутренних разногласий, к полному «гражданскому миру».

И таким образом, никто не остановил войны, к этому нигде не было сделано ни одной сколько-нибудь серьезной попытки. Социал-демократы, социал-революционеры превратились в социал-соглашателей, а вернее сказать, в социал-предателей.

И мировая война развернулась в четырехлетнюю мировую бойню. Россия, с своей стороны, целиком попала в этот общий мировой котел.

Сперва все пошло «благополучно», совершенно так же, как в «самых лучших» демократических государствах. Николай несколько подтянулся и даже, имитируя Александра I, заявил, что он отступит за Урал, но не сдастся. С другой стороны, последовало либеральное заявление о даровании автономии Польше.

Парламентский «блок» сразу же слился со всей остальной думой в заявлениях «верноподданства» и прекращения всякой «оппозиции». А народная масса, еще менее культурная и менее организованная, чем на Западе, конечно, не могла разобраться в том, что происходит, и в лице миллионов мобилизованных крестьян, сразу стала той «святой серой скотинкой», о которой всегда с таким удовольствием говорили «правители» и «военачальники». Что касается организованной части рабочего класса, то, во-первых, по сравнению с 150-миллионной массой всего населения, она была очень невелика, а во-вторых, часть вождей рабочего класса также изменили делу революции. Ведь, даже сам Плеханов сразу же стал «патриотом» и проповедывал крестовый поход Запада и Востока против насильников-тевтонцев.

Итак, — сперва все пошло «благополучно». Были мобилизованы миллионные армии, фронт и тыл были охвачены «патриотическим пылом», и даже, по началу, русское воинство было недурно снабжено и вооружено. Россия сразу же оказала «союзникам» неоценимые услуги. Она не только отразила нападение австрийцев, но и нанесла им ряд поражений, близких к катастрофе. Вместе с этим началось вторжение русских в восточную Пруссию. Все это заставило немцев перебросить часть своих сил с запада на восток, в восточной Пруссии они нанесли русской армии жестокое поражение, но за то на западе была проиграна ими битва на Марне. А это и значило, что план немецкого империализма взять все одним ударом, покончить войну в несколько месяцев, водворить свое «мировое» владычество без особенно больших жертв людьми и деньгами, — потерпел полное крушение...

Война пошла в затяжку, на несколько лет, сделалась войной на «истощение». Это обозначало, что от населения воюющих стран потребуются неслыханные жертвы, что рано или поздно бремя войны для самых терпеливых сделается невыносимым, что, следовательно, участь войны будет решаться не столько сражениями, сколько «внутренними» событиями. Недаром уже тогда Гинденбург провозгласил, что победит тот, у кого будут «крепче» нервы. Неизвестно, влагал ли сам Гинденбург в это свое изречение «революционный» смысл, но если влагал, то, конечно, предназначал его для других, а не для себя. Во всяком случае объективно это изречение заключало в себе самое подлинное революционное предсказание. Ибо что же оно могло обозначать, как не то, что «некрепкие» нервами начнут отказываться от невыносимого бремени бесконечных жертв, перестанут повиноваться, порвут самую суровую воинскую дисциплину, будут «бунтовать» — вместо того, чтобы сражаться...

Так даже военные люди, с чисто военной точки зрения, правильно усматривали внутреннюю социальную логику этой войны, что она соприкасается с революцией. Китченер с самого начала заявил, что эта война будет длиться, по меньшей мере, три года.. Но если такая война должна длиться 3 — 4 года, т.-е. довести «испытание» человеческих нервов до «отказа», то это и значит, что она должна кончиться бунтом, «революцией».

И вот, «истощение» всех материальных средств воюющих, «напряжение» и «надрывание» их нервов — пошло, пошло без просвета. Война потеряла свое движение; фронты растянулись на тысячи верст и иммобилизовались, люди зарылись в землю и стали долбить друг друга всеми ужасами военной техники: стрелять «чемоданами», поражать взрывчатыми веществами с аэропланов и дирижаблей, душить удушливыми газами. Это медленное, но неуклонное взаимное «долбление» по временам сменялось военными пароксизмами: десятки и сотни тысяч людей

бросались друг на друга и устилали горами трупов те 100—200 метров, которые отделяли окопы одного противника от окопов другого. Кровь орошала земные пространства, окрашивала ручьи и реки, — смрад от неубранных трупов отравлял атмосферу... Безумие и ужас; ужас и безумие длились не месяцы, а годы. Казалось, что само время остановилось, что войне конца не будет. Человеческие нервы не могут этого выдерживать. Когда-то и у кого-то они должны были начать лопаться, разрываться. И никакой военной дисциплиной тут не помочь: ведь не все ли равно — пулеметы впереди, или пулеметы позади. Ничто не делается уже страшным и остается одно желание: выйти из безвыходности, разорвать проклятую цепь.

Одно и то же происходило на всех фронтах и во всех тылах. Один и тот же процесс переживался десятками миллионов людей, но нигде он не был так тягостен, а вместе с тем и так нелеп, бессмыслен, как в России. Тут сказались и экономическая и техническая отсталость, и некультурность, и специфический российский режим.

Тем, кто сидели в окопах на фронте, было время поразмыслить над тылом, и это было очень хорошим классовым воспитанием. Если, вообще, вырастающее классовое сознание есть предтеча социальной революции, то то «наглядное» классовое воспитание и обучение, которое происходило в окопах, не могло не революционизировать в самой сильной степени огромных солдатских масс.

О чем думала и к каким выводам приходила на всех фронтах солдатская масса, это очень хорошо описано Анри Барбюсом в его знаменитой «Истории одного взвода».

Русский фронт был особенно тяжел, а русский тыл особенно отвратителен. На Западе фронт, по крайней мере, снабжали оружием и всем необходимым; его подсахаривали показным к нему вниманием: посещениями, правильной корреспонденцией, разными безделушками и «маленькими» заботами. Русский фронт был настоящим дантовым адом: ни техники, ни оружия, ни удобства, ни внимания. Сиди, как зверь в норе, и ожидай смерти. На Западе были все-таки «демократии», «парламенты», всеобщие голосования. Правда, все это было там поставлено на военную ногу, с «ограничениями». Но предполагалось, что это только «пока война», а затем, когда «свобода» будет защищена вооруженной рукой, когда «англо-саксонская» демократия и в войне восторжествует над «прусским» милитаризмом, тогда все вновь заблещет и пышно расцветет... И сперва Ллойд-Джордж, а затем и Вильсон заливались соловьями, провозглашая новую эру будущей «свободной», «счастливой» жизни людей и народов.

В России ни этих декораций, ни этих, правда, обманных перспектив не было. Здесь был Николай, Александра, а над ними Распутин. Здесь было сплошное сумасшествие и распутство. Специфический русский процесс, — процесс смрадного распада

самодержавия, — в начале войны, как будто, приостановившийся, потом опять пошел во-всю, и именно в обстановке войны принял особенно отвратительный, для всех ненавистный характер.

Совершенно не стоит останавливаться на всем том, что тогда происходило, потому что это была сплошная грязь, но необходимо отметить, что эта грязь, естественно, переплелась с тогдашним военным положением. Поведение Николая и Александры, их вдохновителя и повелителя Распутина все больше внушало и «политическим» кругам, и более широкому населению мысль о том, что готовится «измена», предательство, заключение мира с немцами, независимо от союзников и с пожертвованием интересами России. Эта мысль об «измене», гнездящейся в самом Царском Селе, в лице «немки» Александры, на все готового Распутина и безвольного Николая, становилась все более ходячей, всенародной, всеми разделяемой. Эта мысль была предметом всеобщих и притом громких разговоров. Никто и ни от кого ее не скрывал, она стала самой популярной темой разговоров везде и всюду, в вагонах и на базарах, между совершенно случайными людьми.

Так, в конце концов, перепуталась эта мировая война с внутренним российским положением. Сперва она подтянула это внутреннее положение, даже, как будто, отвела его в сторону, но, ведь, девать-то его было некуда, оно опять вернулось на место и именно в связи с войной приняло еще более чудовищный характер, пока, наконец, не стало совершенно нестерпимым. Необходимость «насильственного» его устранения сделалась очевидной для всех. Кто-то должен был хирургически срезать эту невыносимую троицу — Николая, Александру и Распутина — это было очевидно для всех, вплоть до гвардейских офицеров и великих князей. Верноподданный Пуришкевич, вместе с великими князьями, думал, что достаточно будет «убрать» одного Распутина, но факты показали, что как раз наоборот: убийство Распутина не только не образумило Николая и Александры, но сделало их окончательно сумасшедшими — они решили итти наперекор не только населению и думе, но и самим «монархистам» и даже царской фамилии. Министерство было составлено из таких ничтожеств, каких еще никогда не бывало, министром внутренних дел был назначен дегенерат Протопопов. Этому Протопопову вручена была власть «пресечь» революцию, если бы таковая обнаружилась, самым решительным образом. Но пресечь ее было уже невозможно, когда факт ошалелости Николая и Александры и мысль об их «измене» стали уже всенародными, когда вывод о необходимости так или иначе «убрать» их проник даже в головы гвардейских офицеров.

Положение стало таким, что, в сущности, конкурировали два исхода из него: революция и дворцовый переворот. Оставалось только неизвестным, что раньше, т.-е. кто кого преду-

предит: гвардейские ли офицеры, или вооруженные рабочие и крестьяне? Гвардейские офицеры опоздали, на улицу вышли и начали «революцию» рабочие и крестьяне в серых шинелях... [1]

ГЛАВА XIV.

ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ.

Чего нельзя сказать о февральской революции 1917 г., так это то, чтобы она была для кого-нибудь неожиданной. Ее ожидали все, даже Николай Романов, но только он рассчитывал усмирить ее пулеметами.

Февральская революция была не только вполне созревшей, но даже перезревшей. Объективно она была прямым продолжением революции 1905 г. Уже революция 1905 г. была вполне готовой. Она и произошла, она и разразилась, как всенародное движение, но она была сорвана, сорвана нерешительностью и парламентским кретинизмом кадетской первой думы. Николай тогда не только уцелел, но и удержал при себе свое «самодержавие». Однако, 10 лет практики этого «самодержавия» в такой мере переполнили чашу терпения всех слоев населения, что создались все предпосылки для второй революции, уже гораздо более решительной, чем первая. Участь Николая была решена. Ему перестали повиноваться не только казаки, но даже

---

[1] Приведу здесь по этому поводу одно воспоминание.

Дело было в августе 1917 г., во время знаменитого Московского «всенародного» совещания. Все, что происходило на этом совещании, в особенности, поведение главы и руководителя правительства Керенского, который там явно конкурировал в отношении «высоты понимания» политических событий не с кем иным, как с самим Николаем II, проявляя при этом такую же манию величия, как и последний российский самодержец, с убедительностью показывало, что Россия летит в «бездну» — в бездну второй, большевистской, социальной революции. Я тогда был правоверным «демократом» и «конституционалистом», и пришлось мне беседовать с одним из перводумцев, крупным землевладельцем Н. Н. Львовым, которого не надо смешивать с князем Г. Е. Львовым, бывшим первым председателем временного правительства. И я, и Н. Н. Львов обсуждали положение с «сокрушением», и оба были согласны в том, что Россия идет к «гибели». И вот, в русле этого нашего общего элегического настроения, я высказал замечание: «Да и как же это могло быть иначе, когда дело дошло до того, что вооруженные солдаты вышли на улицу и начали «революцию», ведь, все остальное есть только прямое следствие этого начала». И обращаясь к моему собеседнику и зная его связи в «верхах», я спросил: «Почему не нашлось двух десятков гвардейских офицеров, которые отправили бы Николая к его предкам. Ведь, тогда весь ход событий был бы совсем другим...

— Кому вы это говорите,—взволнованно ответил мне Н. Н. Львов,— ведь я сам и готовил такой гвардейский заговор...

— Ну, и что же? — в свою очередь спросил я.

— Да, ничего, мы опоздали: началась революция.

— Вот то-то и есть, что опоздали,—не удержался я от наставительного замечания собеседнику,—значит, теперь и жаловаться не на что...

собственные конвойцы. Всем опостылел этот злобный, самовлюбленный идиот, лишенный абсолютно всякого дара управления государством.

Февральская революция произошла как революция «буржуазная». Правда, она была сделана «низами», как и все революции, — рабочими и крестьянами в серых солдатских шинелях, — но она была прежде всего направлена против слишком задержавшегося в России и насквозь прогнившего самодержавия и потому ее первым лозунгом была свобода, демократия, народоправство. Все это воплощалось в мысли об «учредительном собрании», а это учредительное собрание предполагалось на основе «всеобщего, прямого, равного, и тайного» голосования, с участием не только «граждан», но и «гражданок». Народное движение, опрокинув самодержавие, устремилось в думу, а дума сперва создала «особый комитет», а потом выдвинула «временное правительство». В этом временном правительстве юридически сосредоточена была вся «полнота власти», впредь до созыва высшего над всеми «хозяина» — учредительного собрания.

Итак, сперва все шло как по маслу, при всеобщем видимом согласии, при всеобщем энтузиазме. Революция протекала «бескровно», она была «улыбающейся», нисколько не страшной.

Но так не могло остаться. Неизбежно должен был встать вопрос: быть ли этой революции буржуазной, демократической, или же она должна перейти в социальную, пролетарскую, рабоче-крестьянскую?

Впрочем, этот вопрос, вернее, надо формулировать иначе. Что в Русской революции 1917 г. должна была проявиться «социальная» струя, это не подлежало никакому сомнению. Ведь, ни одна революция никогда без нее не обходилась, даже великая французская революция (движение Бабефа). Ведь, антагонизм классов есть реальный факт, а не чья-то выдумка. Во всех революциях «низы», в конце концов, осознавали свои особые от «верхов» интересы и выдвигали свои «социальные» требования. Но у ч а с т ь «социального» движения, во всех доныне бывших революциях, была н е у д а ч н о й. «Верхи» частью обманывали, а частью побеждали «низы», забирали в свои руки власть и водворяли свой буржуазный порядок.

Поэтому и поставленный выше, по отношению к революции 1917 г., вопрос надо формулировать иначе. Это был вопрос о том, у д а с т с я л и русской революции 1917 г. превратиться в с о ц и а л ь н у ю, или нет. Удастся ли «низам» — рабочим и крестьянам — победить «верхи», захватить в свои руки власть и осуществить в «своем» государстве свои особые интересы, или не удастся?

История разрешила этот вопрос в положительном смысле. Русская февральская, буржуазная, демократическая револю-

ция превратилась в октябрьскую, социальную, пролетарскую, рабоче-крестьянскую революцию, и эта октябрьская революция создала пролетарскую власть, создала советское государство.

Если бы русская революция оказалась «буржуазной», то она была бы «одной» из революций, и больше ничего. Но она оказалась «пролетарской» и потому сделалась «единственной», нигде не бывалой. Она создала факт величайшего, всемирно-исторического значения.

Этот факт, который «потряс» весь мир, — факт, случившийся в России, в культурном и экономическом захолустьи Европы, надо понять и надо оценить. Как это могло случиться, что пролетарская революция, и притом успешная пролетарская революция, впервые произошла и закрепилась именно в России — в самой «серой» и «отсталой» из всех европейских стран?

Ответить на этот вопрос приходится двумя указаниями: одним, относящимся к России, другим, относящимся к мировому положению.

Что касается первого из них, то тут надо указать на следующее. Именно потому, что Россия была большой, внутренно-значительной, но отсталой страной, — именно потому, что она со своими социальными и политическими болячками: задержавшимся на полвека крепостным правом, задержавшимся еще на больший срок самодержавием — стояла перед ушедшей вперед Европой и, в лице своих передовых людей, видела и чувствовала свою отсталость, в России в течение почти целого века (с 1825 г.), была, в сущности, «перманентная» революция. Она то загонялась внутрь преследованиями правительства, то вновь и вновь ярко вспыхивала решительными нападениями на правительство. Некоторое затишье в этом отношении получилось только в шестидесятые годы, в эпоху уничтожения самодержавием крепостного права, в эпоху так называемых «великих» реформ, которые, как-будто, открывали перед Россией перспективу настоящего европейского развития. Но эта перспектива была очень скоро вновь закрыта. Самодержавие, отменившее от своего имени крепостное право, не нашло в себе мужества и благоразумия отменить самого себя, — вопреки ожиданиям, государственное здание осталось не «увенчанным» в европейском стиле, мысль о «конституции» и «свободах» осталась «крамольной», — самодержавие всею своею силою стало здесь поперек дороги России окончательной «европеизации» и революционное движение — с семидесятых годов — разгорелось с новой, небывалой силой, и с тех пор уже не прекращалось. Россия сделалась классической страной непрерывной революционной борьбы с существующим режимом. Западная Европа «мирно» развивалась в своих «демократических» условиях, а Россия представляла настоящий революционный вулкан, в котором расплавленный поток революции то подступал

кверху, то опускался вниз, но никогда не прекращал своей работы.

Эта «перманентная» революция дала России революционное воспитание, революционную подготовку, совершенно исключительную революционную закалку. В течение почти полувека непрерывной тяжелой борьбы, «подземная» революция «организовалась», создала постоянные «кадры», выковала революционные «характеры», установила революционную «дисциплину», выработала революционную «тактику». «Революция» сделалась специальностью России, она здесь настойчиво разрабатывалась и как теория, и как практика. Создались «революционные» партии, которые вели свою подпольную работу так же широко и так же организованно, как открытые политические партии Европы ведут свою парламентскую и внепарламентскую деятельность. То, что в Европе делалось обычным, регулярным, «мирным» путем, то в России было поставлено на «революционную» ногу, и этим политическая жизнь России коренным образом отличалась от жизни Западной Европы. «Мирных» политических партий и «мирной» политической работы здесь совсем не было, все, что было в России «политического», вместе с тем было «революционным». Самое слово «политический» стало синонимом «революционного».

Значение революционных «партий», с их теоретическими основами и с их практическими методами, было огромно. В этом отношении русским оригинальным, национальным явлением надо признать революционное народничество, давшее сперва необычайный, мощный взрыв «Народной Воли», а потом организовавшее партию социалистов-революционеров, нанесшую правительству ряд последовательных сокрушительных ударов. Революционное народничество имело под собою плохую теоретическую основу, но оно создало неукротимую революционную практику, установило традицию борьбы, которая не останавливается ни перед какими препятствиями.

Революционное народничество, в течение долгого времени, было единственной «революционной» партией в России, но затем рядом с ним стала социал-демократия. Социал-демократию уже никак нельзя признать оригинальным или национальным явлением. Наоборот, ее теоретическая основа — марксизм — была целиком заимствована с Запада, а ее организация, как и ее практическая деятельность, не могли не находиться под влиянием западно-европейской, в частности, германской социал-демократии. Но в первую пору своего существования русская социал-демократия целиком попала в «революционное» русло. Русский абсолютизм стоял нетронутым, он решительно преграждал путь всякой нормальной политической работе, и, значит, русская социал-демократия не могла стать, по примеру германской или французской, «легальной» партией, работающей в рамках парламентского режима. Поэтому русская социал-демо-

кратия прокладывала, рядом с социалистами-революционерами, свой собственный «революционный» путь, работая другими методами и стремясь к другим целям. Она отрицательно относилась к роли «личности» в истории, поэтому она совершенно отвергала политический террор, но она вела революционную пропаганду в рабочих массах, стремилась организовать их для массового революционного действия. Она поддерживала забастовки, всякого рода протесты и демонстрации, она создавала среди рабочих подпольные революционные кадры.

Долго работа этих двух революционных партий шла параллельно, не сталкиваясь между собою и не мешая одна другой.

Когда была созвана первая дума, партия социалистов-революционеров официально постановила прекратить политический террор и вести свою работу в «легальных» рамках. Когда первая дума была распущена, когда наступила реакция, партия социалистов-революционеров вновь вернулась к своим прежним методам действия. И для нее было легко и просто, как то, так и другое, потому что она добивается только «народоправства», только «демократии», она не видит расслоения «народа» на классы, она не видит ни насилия, ни обмана эксплуатируемых эксплуататорами внутри самой «демократии». Ей нужна «четыреххвостка» — и больше ничего. Для нее нет революции против «четыреххвостки». Вся революция — из-за «четыреххвостки».

Гораздо труднее в этом отношении положение социал-демократии. Учение Маркса есть не только революционное учение, но революционное учение против «буржуазного», значит, в том числе и против «демократического» государства. С точки зрения марксизма, «свободами», «выборами», «парламентами» пользуйся, а революцию все-таки готовь. Помни, что «власть» и «господство» мирно не отдаются. Это — не перемена либералов на консерваторов, или обратно, — нет, это смена социального господства буржуазии социальным господством пролетариата. Такой перемены мирно не может быть, — ее голосованиями и баллотировками не добыть.

Таков подлинный, действительный смысл марксизма. Однако, социал-демократическим партиям в Европе, в том числе и главной из них — германской, целые десятки лет пришлось жить в условиях буржуазного, демократического, парламентского государства. Социал-демократические партии в нем организовались, увеличивали свои кадры, проникали в парламенты, добивались «избирательных» и иных успехов, все больше «врастали» в «демократическое» государство и... мало-по-малу забывали о революции против этого государства. Положение переходное, временное, подготовительное становилось для них постоянным, началась, наконец, и ревизия в этом смысле самого марксизма. Этой ревизии теоретически противились такие ветераны марксизма, как Бебель, и даже получали за себя

на партийных съездах большинство, но ревизия фактически все-таки завладевала партией, снимая с нее «революционный» характер, превращая ее в обыкновенную «эволюционную», но только более «левую» партию среди других партий «демократического» государства.

Процесс этот, как известно, ярче всего шел именно в германской социал-демократии, он привел ее сперва к «гражданскому миру» с буржуазией во время войны, а закончился тем, что уже после войны из партийной программы была совершенно исключена идея «классовой борьбы», а значит, и идея революции против таких демократических государств, как нынешняя Германия, или Англия, или Америка и т. п.

Такова была «эволюция» социал-демократии в Западной Европе, и она угрожала, а отчасти и осуществилась также и в России. Но здесь все же, именно в силу того, что российское государство с таким упорством сохраняло все прелести самодержавного, да еще романовско-распутинского режима, дело приняло иной оборот, чем на Западе. Здесь не так легко было снять идею «революции» и направить социал-демократию целиком в русло «мирной» «легальной» работы. Здесь именно на этой почве произошел социал-демократический раскол, — раскол на «большевиков» и «меньшевиков» — раскол, в котором большинство партии осталось верным «революции».

Раскол этот, как известно, начался еще до 1905 г., когда вся русская социал-демократия формально стояла еще на революционной позиции. Почвой для этого раскола послужили организационные вопросы, в которых уже тогда гений Ленина усматривал коренную разницу между подлинными революционерами и будущими социал-соглашателями. Если партия революционная, то она должна быть и организована для революционного действия, а если она только пропагандистская, то, конечно, и ее организация должна быть совсем другой. Ленин поэтому уже заранее предусматривал все значение организационных вопросов для революции и собирал вокруг себя действительных революционеров.

После 1905 — 1906 гг., в эпоху реакции, это разногласие внутри русской социал-демократии еще более обострилось. Значительная часть русских меньшевиков превратилась в «ликвидаторов», т. е. стала проповедывать полное уничтожение «подпольной» организации, окончательный перевод партии на «легальные» основы. Это, конечно, было отражением на русской почве того самого процесса, который происходил в это время с социал-демократией на Западе, особенно в Германии. Но почвы для этого в России все же было гораздо меньше, чем в Германии, а тем более во Франции или Англии. «Третье-июньская» конституция была такой «куцой», а самодержавие оставалось таким бесшабашным, что говорить в России о «свободной» политической жизни было просто смешно; развивать

в рамках тогдашних «легальных» условий социал-демократическую пропаганду или защиту рабочих интересов было просто невозможно.

Благодаря этому и «ликвидаторство» в России не постигла участь германского «ревизионизма». Оно отнюдь не увлекло за собою рабочих масс, оно осталось интеллигентской затеей. Рабочие массы остались верными «революционному» направлению, т.-е. еще сильнее стали уходить от «меньшевизма» и переходить к «большевизму». Русская социал-демократия стала в этом отношении развиваться в другую сторону, чем западно-европейская: в сторону «большевизма», а не «меньшевизма». В этом была существенная разница в революционном отношении между Россией и Западной Европой к 1914 и, в особенности, к 1917 г. Русский наш промышленный пролетариат, — конечно, гораздо менее многочисленный, чем в Западной Европе, — был, однако, в высоко поднятом революционном настроении, тогда как на Западе он был, в сущности, усыплен к революции. В России была подлинная массовая пролетарская революционная партия в лице большевиков. Эта партия была политическим аппаратом, уже заранее организованным для настоящего революционного действия, а не для одной пропаганды. Наконец, во главе этой революционной партии, у руля этого революционного аппарата, стоял гениальный вождь, выдвинутый и отобранный всей предшествующей революционной деятельностью. Россия, с этой стороны, была во всеоружии, в полной готовности к революции, ее пролетариат, как струна, был натянут в эту сторону, тогда как западно-европейский пролетариат находился в расслабленном по отношению к революции состоянии. Его партийный аппарат был настроен на «демократический», а не на «революционный» лад. Во главе его стояли не Ленины, а Шейдеманы, Эберты, Каутские, Гильфердинги и прочие.

Это то, что надо сказать в объяснение русской Октябрьской, пролетарской революции, со стороны России. Но для понимания ее одного этого мало. Тут надо принять во внимание еще и мировое положение.

Это мировое положение, с точки зрения вопроса о социальной революции, просто и ясно. Мировое капиталистическое развитие, к началу мировой войны, вступило в фазу империализма, т.-е. в ту фазу, когда, с одной стороны, уже даны все объективные предпосылки для настоящего планового мирового хозяйства в интересах человечества и такого подъема производительности труда, при котором можно обеспечить потребности человечества в его глубоких массах, а, с другой стороны, когда внутренние противоречия капитализма достигают своей высшей точки: капитализм уже неспособен хозяйствовать в интересах человечества, он хозяйствует в интересах кучки людей, он хищнически эксплуатирует производительные силы земли, он растрачивает или прямо истребляет ценности, он доводит

эпоху милитаризма до ее последнего, крайнего напряжения, он бросает человечество в мировую бойню. Словом, вместо эпохи хозяйственного расцвета и полного обеспечения потребностей масс, он ввергает человечество в бедствия и нищету. А все это и значит, что пришло время, созрели объективные условия для мировой социальной революции. Мир стал перед ней, и ему от нее не уйти.

Таким образом, мировое положение характеризуется тем, что человечество вплотную подошло к социальной революции. Она стоит на очереди, она неизбежна. Неизбежность ее, с 1914 г., охватывает и Запад, и Восток, и метрополии, и колонии, и белые, и желтые, и черные материки.

Откуда же ей было начаться?

Оттуда, где «существующий порядок» был наиболее безобразен; оттуда, где у большого, чуткого, дружного, культурного, способного народа, имелось самое гнилое правительство; оттуда, где многолетней борьбой воспитано было революционное настроение масс и выкован был революционный аппарат; оттуда, где во главе этого аппарата оказался несравненный, гениальнейший вождь. Мировая социальная революция так и должна была начаться с России. Россия дала мировой потребности в социальной революции готовые средства ее исполнения.

ГЛАВА XV.

ЭСЕРЫ — МЕНЬШЕВИКИ — БОЛЬШЕВИКИ.

Итак, вовсе не так уж непонятно, почему мировая социальная революция произошла именно в России. Она назрела везде, во всем мире, но та решимость действовать, которая нужна для того, чтобы начать и довести до конца революцию, оказалась только в России. Мировое положение, уже вплотную подошедшее к неизбежности социальной революции, соединилось в России с полной революционной готовностью, и социальная революция с о в е р ш и л а с ь, — совершилась 25 октября 1917 г.

Кто же ее совершил?

Ее совершили рабочие и крестьяне. Рабочие и крестьяне действовали, руководимые «революционными» партиями. И вот, не лишне будет здесь спросить, как же сыграли свою роль по отношению к этому великому, всемирно-историческому делу превращения февральской, т.-е. политической, революции — в Октябрьскую, т.-е. социальную, те партии, на знамени которых написаны эти два слова: «революция» и «социализм»?

Увы! две из этих партий, а именно социалисты-революционеры и социал-демократы меньшевики, сыграли в этих событиях контр-революционную и контр-социалистическую роль, т.-е.

изменили своему знамени и тем, представителями интересов которых они себя называли.

Социалисты-революционеры считают себя представителями крестьянства и всегда говорили трудовому крестьянству, что земля должна перейти к нему и притом без всякого выкупа. В этом была сущность их «социальной» программы. И вот теперь, когда пришла революция и социал-революционеры оказались во главе ее, они не только не передавали земли крестьянству, не только не издавали соответствующего «земельного» закона, но принципиально ставили все дело под вопрос, ибо откладывали его до «учредительного» собрания и до его решения. Это было тем более непонятно, что в стране шла фактическая земельная «революция»; пока разные «земельные» комитеты, с эсеровским составом, вырабатывали свои земельные проекты для представления их будущему учредительному собранию, крестьяне всюду «разбирали» помещичьи усадьбы и захватывали помещичьи земли, следуя, конечно, в этом не только своему классовому инстинкту, но и тому, что им всегда проповедывали эсеры.

В какой мере, в аграрном вопросе, поведение эсеров было не только нерешительным, но даже просто непонятным, ярче всего сказалось в самом конце «февральской» эпохи, при учреждении пресловутого «предпарламента». Этот «предпарламент» был последней ставкой временного правительства, преобразованного к этому времени в «социалистическое» и возглавлявшегося Керенским. Он целиком находился в руках партии эсеров, — и вот те, кто присутствовали на его торжественном открытии, с изумлением могли наблюдать следующее:

Заседание этого нарочито созданного эсерами собрания открылось речью старейшего из его членов, «бабушкой революции», ветераном партии социалистов-революционеров, Брешко-Брешковской. Речь была очень длинная, говорила о чем угодно, но о «земле», о передаче ее крестьянам «без выкупа» в ней не было ни слова. После открытия собрания был избран председатель — старый эсер Авксентьев. Он произнес вступительную председательскую речь. Речь тоже была длинная, говорила так же о чем угодно, но о «земле» — ни звука. После председателя собрания выступил председатель «Временного Правительства», тоже эсер, Керенский. Произнес еще более длинную речь, исчерпал в ней все свои патетические слова и жесты, не дожидаясь учредительного собрания, провозгласил «республику», но о «земле» — ни слова.

Вот три руководящих эсеровских речи, уже на исходе событий, уже тогда, когда «большевистская» социальная революция стучалась в дверь, когда каждой партии надо было мобилизовать все свои шансы и ресурсы, — и в этих трех речах, обращенных к населению, нет г л а в н о г о, у эсеров — е д и н с т в е н н о г о: нет земли для крестьянства. Хотя бы декларативно, хотя бы в виде обещания тем солдатам-крестья-

нам, которых все три речи призывали к продолжению войны до «победного» конца, что, вернувшись с войны, они найдут эту самую землю своей, а не помещичьей! — Нет! У трех главных эсеров, в самый критический момент их руководства событиями, не нашлось ни одного слова о «земле», и притом не только для крестьянина в селе, но и для крестьянина на фронте. Какие же это радетели и защитники интересов крестьянства?

Повторяем, это было полной изменой всей своей программе. Или даже хуже того: это было таким легкомысленным и безответственным отношением к своей программе и к своей политической позиции, что эсеровскую партию этого времени надо просто признать партией «болтунов», а не серьезных политических деятелей. Впрочем, если вспомнить, что их главным лидером был Чернов, а наиболее выдвинутыми вперед представителями были Керенский и Авксентьев, то это и само собой очевидно.

Впоследствии эсеры упрекали большевиков в том, что они «украли» у них их аграрную программу. На это большевики им резонно отвечали, что уже очень «плохо» она у них лежала. Но это еще самая снисходительная характеристика отношения эсеров к своей программе. Она у них не «плохо» лежала, не плохо ими охранялась, а просто была ими забыта, пренебрежена, выброшена вон. Перед лицом крестьянского моря, да еще убеждая крестьянство «защищать» свое «отечество», они ни одним словом не обмолвливаются о «земле», которую они всегда сулили этому крестьянству «без выкупа», — разве это не значит отказаться от своей программы, выбросить ее вон, сделать ее res nullius? И если эсеры отказались от реализации того, что составляет главную нужду и главную мечту крестьянства, то должен же был кто-нибудь, вместо них, взять на себя эту задачу.

Эсеры не хотели «социальной» революции, даже в их собственном, специфическом смысле, т.-е. в смысле передачи земли, без выкупа, крестьянству. Их фетишем, тем, к чему они аппеллировали, за что они потом выступили против большевиков, — было «учредительное собрание». Они хотели «учредительного собрания». Они ставили передачу земли крестьянам в зависимость от воли учредительного собрания. Ну, а если бы это учредительное собрание совсем не состоялось, потому что революцию победила реакция? или состоялось бы, но подтасованное и фальсифицированное имущими, как фальсифицируются все парламенты во всех «демократиях» с «четыреххвостками»? — Тогда эсеры говорили бы: мы не виноваты, мы хотели «по-хорошему», без «насилий», по «общей воле» и т. п. Но, конечно, крестьянству от этого было бы не легче, земля, как была, так и осталась бы у помещиков, как она осталась у помещиков в Германии, после ее «распредемократического» учредительного собрания.

Эсеры не брали всерьез и не понимали того, что раз они взывали к революции во имя передачи земли крестьянству и раз эта революция пришла, власть (фактически) оказалась в руках

трудового народа и дело дошло до того, что Керенский стал председателем временного правительства, Авксентьев — его министром внутренних дел, а Чернов «селянским» министром, то надо было, не откладывая, «декретировать» передачу земли крестьянам без всякого выкупа, тем более, что крестьянство само фактически уже захватывало землю.

Эсеры этого не сделали, и они этим «изменили» и идее революции, и своей аграрной программе.

Впрочем, говорить это по адресу эсеров, это почти-что значит бить лежачего. Правда, ни Керенский, ни Чернов, ни Авксентьев, ни многие другие из руководителей эсеров, не «лежат», а наоборот, всячески «топорщатся» и «фанфаронят», но настоящие, честные эсеры, особенно из «рядовых», сами признают, что никогда и ни одной партии ни одна революция не давала таких шансов на успех, как русская революция 1917 г. партии эсеров, и что они эти шансы самым легкомысленным, самым безответственным образом провалили до конца. Более жалкой роли ни одна революционная партия и ни в одной революции, конечно, не играла. И, конечно, это было отнюдь не случайностью, это всецело зависело от того, что защищать и отстаивать главный интерес, главную нужду огромного большинства русского населения взялись люди, вооруженные одними «добрыми» намерениями, да «хорошими» словами. Пока, во имя этих намерений и слов, надо было жертвовать собой, они это делали с полным успехом, а когда понадобилось «действовать», чтобы осуществить эти намерения и слова, и действовать при самых для них благоприятных условиях, они оказались «болтунами», беспомощными, безответственными болтунами, растерявшими по дороге весь свой социальный багаж.

Такова была роль в революции 1917 г. старейшей из русских «революционных» партий — партии эсеров. Что касается до роли другой из этих партий — партии социал-демократов меньшевиков, то она также оказалась более чем сомнительной и по отношению к революции, и по отношению к социализму.

Социал-демократы меньшевики — марксисты. У них за душой не одна социалистическая «утопия», не одни «добрые» намерения и «хорошие» слова. Они вооружены настоящей «научной» теорией. Во имя этой теории они признают или, по крайней мере, признавали и социальную революцию, и экспроприацию экспроприаторов, и диктатуру пролетариата. В этом смысле они всегда вели и свою проповедь рабочему классу, призывая его к свержению капитализма, к социальной революции, к захвату власти в свои руки. Но когда произошла революция, когда вся фактическая сила оказалась в руках народа, да еще вооруженного, т.-е. когда получилась полная возможность направить революцию именно к свержению капитализма, к диктатуре пролетариата, т.-е. превратить ее в социальную, социал-демократы меньшевики испугались этой возможности, отвергли ее, как «несвое-

временную», стали направлять революцию к тому, чтобы она осталась «буржуазной», т.-е., чтобы капитализм вышел из революции неприкосновенным, а социализм был отложен на неопределенное время. И это тем более странно, что события толкали руководителей меньшевизма в сторону осуществления их социальной программы, как они толкали руководителей эсерства в сторону осуществления их аграрной программы: события все время шли в л е в о, а не в п р а в о.

Как известно, революция, в первые дни, «вливалась» в государственную думу.. Но уже тотчас, рядом с думой, в том же Таврическом дворце стал заседать Совет рабочих и солдатских депутатов, и было ясно, что фактическая сила в руках Совета, а не думы. Дума тотчас же стала терять всякое значение, а Совет, наоборот, делал то, что он хотел, и никто ему не мог в этом препятствовать (вспомним, например, хотя бы историю с знаменитым «приказом № 1»).

Таким образом, уже сразу, на самом пороге революции, возник вопрос: в чьих руках будет власть — в руках «буржуазной» думы, или в руках «рабочего» и «крестьянского» Совета, т.-е. будет ли она «парламентской», или «советской»?

Однако, ни социалисты-революционеры, ни социал-демократы меньшевики не приняли этой фактической постановки вопроса, вытекавшей из победоносной революции, осуществленной рабочими и крестьянами-солдатами. В отношении к вопросу о власти был принят компромисс: бессильная дума назначила «временное правительство», а обладавший полной фактической силой Совет согласился признать это временное правительство, обязав его известной программой действий (вполне «буржуазной», а не «социалистической») и оставив за собою право контроля над его деятельностью. Теоретически это «временное правительство» было облечено всей «полнотой власти» (впредь до созыва учредительного собрания), но фактически оно было «комитетом» от буржуазии, потерявшей всякую власть в стране.

Так получилось в России то знаменитое «двоевластие», которое фактически было вовсе не «двоевластием», а «единовластием», но единовластием, в котором единственная фактическая власть не хотела пользоваться своей властью, отталкивала ее, вручала ее другим, а эти другие были совершенно бессильны и н е м о г л и проявлять никакой власти.

Это было совершенно искусственное положение вещей, созданное, главным образом, меньшевиками, и оно не было для меньшевиков только «предварительным», так сказать «разведочным»: чтобы выяснить соотношение сил, чтобы прощупать действительность. Нет, меньшевики так и остались на этой позиции до конца. Революция 1917 г., по их убеждению, должна была принципиально остаться «буржуазной», до «социальной» ей не хватало росту.

Но то, что искусственно, не может держаться, — и это «двоевластие» все время расползалось по всем швам. По логике заключенного при назначении «временного правительства» соглашения, временное правительство не только было облечено всей полнотой власти, но и, в сущности, должно было оставаться персонально несменяемым впредь до созыва учредительного собрания. Однако, эта логика висела в воздухе. Временное правительство не имело никакой самостоятельной власти. Первым это почувствовал Гучков, в пределах своего военного ведомства («приказ № 1» и очень многое другое) и подал в отставку. Потом, под давлением Совета, пришлось уйти в отставку руководителю иностранной политики Милюкову, а затем ушел и председатель временного правительства кн. Львов. «Буржуазная» власть неудержимо расползалась, как сгнившая материя, требовалась власть «социалистическая», опирающаяся на рабочих и крестьян.

Но раз это так, то, в сущности, надо было покончить с самой «фикцией» прежнего «временного правительства», надо было порвать его связь с его первоначальным назначением, надо было назначить новое правительство, и притом прямо от имени «Советов». А так как в то время большинство в Советах принадлежало меньшевикам, то во главе этого нового правительства надо было поставить Церетели, с большинством министров социал-демократов и, если угодно, с меньшинством эсеров, но во всяком случае, с полным исключением министров-кадетов и таких «беспартийных», как сахарозаводчик Терещенко.

Но именно этого-то меньшевики и не хотели. Когда «кадетское» министерство расползлось, когда потребовалось министерство «социалистическое», Церетели очень долго совсем не хотел в него входить, а когда вошел, то только в роли второстепенного министра. Меньшевики выдвигали вперед, для роли «социалистических» министров, эсеров, благо те были согласны сотрудничать и с Терещенко, и с Некрасовым, и с Кишкиным. Так получилась у нас та жалкая министерская мешанина, которую Керенский то покидал, то вновь возглавлял, и которая, наконец, превратилась в форменную каррикатуру, всенародно продемонстрированную на знаменитом московском совещании. Кто видел временное правительство на этом совещании, тот вынес уже тогда твердое убеждение (и это без различия партий), что от этого правительства никакого «добра» и ни в какую «сторону» ждать невозможно, — что в России, собственно, нет «правительства», а вместо него подвизается фигляр и истерик Керенский, которого, однако, некем заменить. То-есть, конечно, некем заменить в этой нелепой комбинации, в этой бессмысленной игре в поддавки, когда те, кто должны были, по фактическому положению вещей, взять в свои руки власть и за нее отвечать, этого не делали, а подставляли вместо себя тех, кто для власти совершенно не годился.

Таково было поведение меньшевиков в февральской революции 1917 г. Ход событий, можно сказать «тащил» их к власти, а они изо всех сил упирались и отталкивали ее от себя. «Нет, не мы, не мы... не рабочие и крестьяне, а буржуазия должна править государством» — упорно повторяла, накануне Октябрьского переворота не одна «Рабочая Газета» — орган Церетели, но и «Известия» — орган меньшевистского Совета.

Поведение меньшевиков в революции 1917 г. было хуже поведения эсеров, ибо оно было гораздо более сознательным. И меньшевики, и эсеры откладывали «все» до «учредительного собрания». Но у эсеров предполагалось, что на самом учредительном собрании они будут добиваться основного пункта своей программы: передачи земли крестьянам без выкупа. А что касается меньшевиков, то, дождавшись учредительного собрания, они должны были бы там торжественно отказаться от «социализма», [1] заявив, что время для него еще не пришло, что трудящимся надо еще (до каких пор?) повариться в «буржуазном» котле.

Разве же это не полная измена «социализму»? Зачем же тогда было его проповедывать? Зачем было провоцировать рабочие массы, окрыляя их несбыточными «мечтаниями»?

Совершенно не стоило быть «социал-демократами», чтобы в момент революции перейти на «кадетские» позиции. Ведь, и кадеты не отрицали «социализма», они только откладывали его... до неопределенного будущего. Они считали, что о социализме не стоит говорить, потому, что он не на очереди. На очереди — «буржуазная», «конституционная» демократия. И того же самого требовали теперь — когда наступила революция, когда власть оказалась в руках рабочих и крестьян — и меньшевики: власти «буржуазии», «демократической» республики.

Меньшевики этим фактически отрицали всю свою программу, изменяли всему своему прошлому. Буржуазия находила себе в них совершенно неожиданных союзников. И если вина эсеров, в их измене своей программе и крестьянству, есть вина легкомысленная, — вина людей, которые всегда действовали по «настроению», то вина меньшевиков, в их измене своей программе и рабочим, есть вина «сознательная», вина людей, которые были вооружены «научной» теорией.

Так вели себя, в революции 1917 г., эсеры и меньшевики. Но, ведь, «революционная стихия» воплощается не в «вождях», а в массах: в рабочих и крестьянах. Эта революционная стихия «сделала» русскую революцию, и она же хотела ее «продолжать» — продолжать до удовлетворения своих классовых, насущных интересов, а вовсе не до «учредительного собрания». Крестьяне

---

[1] Как это и сделали германские меньшевики в своем учредительном собрании.

на селе хотели получить землю, и они ее захватывали силою, изгоняя помещиков. Крестьяне и рабочие на фронте хотели прекращения человеческой бойни, и они отказывались сражаться, переходить в наступление, вообще повиноваться военным приказам. Рабочие на заводах хотели, чтобы капиталисты их больше не «эксплуатировали», и они требовали повышения заработной платы, установления рабочего контроля, а более передовые из них стремились к захвату власти в руки пролетариата, чтобы можно было прямо отобрать у капиталистов их фабрики и заводы.

Словом, сама революционная стихия, в лице народных масс, стремилась к осуществлению своих социальных требований, т.-е. стремилась превратить политическую революцию в социальную. И весь вопрос — огромный вопрос — заключался только в том, найдут ли революционные массы решительных и умелых вождей, готовых повести их к их конечным целям?

Вожди без масс — бессильны, но и массы без вождей — только стихийны. Ударная сила масс колоссальна, но для того, чтобы выковать этой силой счастье масс, надо ударять ею умело, и расшибать, и выковывать то, что надо, а не то, что попадет под стихию. Одна сила масс, без надлежащего руководства, это — пожар, это — наводнение; ею можно разрушать, но нельзя созидать. Для созидания к силе масс надо прибавить умелое, искусное, верное массам руководство.

Нашли ли такое руководство, в революции 1917 г., рабочие и крестьянские массы России?

Да, они его нашли в лице партии социал-демократов — «большевиков».

Теперь, по тому, как события развивались и продолжают развиваться, не только в России, но и на Западе, мы видим, какое огромное, можно сказать, решающее значение для социальной революции имеет партия, которая становится во главе ее. Социальная революция, т.-е. прежде всего гражданская война, во многих отношениях гораздо труднее обыкновенной войны. Если последняя непременно требует генерального штаба, то точно так же и первая. Если последняя требует тщательной разработки штабом всего того, что в ней предпринимается, то так же точно и первая. Если последняя требует сосредоточения в штабе огромного ума и твердой воли, то точно так же, а, пожалуй, еще и больше, этого же требует и первая. Наконец, если последняя требует, сверх всего, еще и гениального вождя, то того же требует, и еще в большей степени, так же и первая.

В социальной революции, в гражданской войне, — «штабом» может быть только партия. И эта партия заранее должна быть организована, именно как ш т а б для будущей гражданской войны. Тут обычная организация политических партий, — т.-е. та организация, которая создается для их деятельности в условиях обычной государственной жизни, — не годится.

И вот, к счастью, такая партия, которая могла служить генеральным штабом для начавшейся социальной революции, оказалась налицо. Это была партия социал-демократов «большевиков», партия, переименовавшая себя, когда в событиях мировой войны, а затем и в событиях русской революции обнаружилась измена социал-демократии и на Западе, и в России делу рабочего класса и марксистской теории, — в партию «коммунистическую». Партия коммунистическая, партия большевиков именно и стала «главным штабом» для той колоссальной революционной стихии, которая развернулась в 1917 г. Но это произошло в такой связи с деятельностью того величайшего гения в человечестве, который был вождем русской большевистской партии и который стал вождем мировой революции, что тут невозможно отделить характеристику и деятельность партии от характеристики и деятельности ее вождя.

ТЕПЕРЬ

ГЛАВА XVI.

ЛЕНИН.

Что Ленин является не только одним из великих, но именно одним из величайших, а может быть и самым великим гением всего человечества, это теперь настолько очевидно, что это признают не только его друзья, но и его враги. Во всяком случае, среди ныне живущих нет никого, кого можно было бы хоть приблизительно поставить рядом с Лениным.

Величину гениальности человека надо, конечно, измерять величиной и трудностью той задачи, которую он выполнил. К этому, вероятно, надо добавить, что практические задачи, вообще говоря, труднее теоретических, и они нужнее для человечества.

И вот, обращаясь к той задаче, которую Ленин выполнил (во всяком случае положил прочное начало ее выполнению), надо сказать, что это, действительно, величайшая задача для всего нынешнего человечества. Что жизнь нынешнего человечества ненормальна и непривлекательна, что она совершенно искажена и отравлена тем фактом, который ее насквозь собою проникает, а именно эксплуатацией одних людей другими — огромного трудящегося большинства нетрудящимся меньшинством — этого не может отрицать ни один мыслящий человек. Труд огромного большинства человечества закабален в пользу меньшинства; меньшинство обирает, грабит большинство. И этот факт возник уже давно — 7 — 8 тысяч лет тому назад, и он все время разрастался, достигнув к нашему времени совершенно чудовищных размеров. Один человек имеет в наше время 50 миллиардов долларов, т.-е. сумму ни с чем несообразную и одному человеку совершенно ненужную, а миллионы других людей надрывают свое здоровье над непосильной работой и не имеют лишней копейки на случай болезни или для отдыха.

Но этот факт эксплуатации одних другими, конечно, не мог водвориться без другого факта: без факта насилия одних над другими. Эксплуатации никто добровольно не подчинится, — надо его заставить ей подчиниться, заставить силою, — и это насилие, как и самое эксплуатацию, надо сделать постоянным учреждением. Такое учреждение есть государство. Государство есть организация насилия меньшинства над большинством. Оно находится в руках эксплуататоров, и они пускают его в ход, во-первых, против эксплуатируемых, а во-вторых, друг против друга, когда подерутся между собою из-за добычи. Таким образом, государство не только есть организация насилия, но и источник постоянного кровопролития в человечестве, которое также, в наше время, достигло совершенно чудовищных размеров.

Но к этим двум коренным язвам человечества, и именно в наше «просвещенное» время, присоединилась еще третья язва, нравственно самая отвратительная из всех, а именно обман, — социальный обман, проникающий всю современную общественную жизнь. Во время рабства и крепостничества классовое насилие было голым, ничем неприкрытым, социально-откровенным. А в наше время, при системе «свободного договора» и «наемного» труда, оно лицемерно прикрыто, прикрыто «свободой». Человека без «собственности» никто ни к чему силою не принуждает: он са́м на все соглашается, потому что куда же ему деваться... от голода. Весь земной шар и все, что на нем, принадлежит «собственникам». Человеку без «собственности», без согласия «собственника», не к чему приложить своих рук.

И «собственники» так размахнулись в своей «гуманности», что признают «не собственников» не только лично «свободными», но и равными себе, — да что равными? — нет, самыми себе близкими: своими «братьями». «Свобода», «равенство» и «братство» — вот что написано на том знамени, которое развевается над современным «культурным», «гуманным», «демократическим» человечеством. И это делает современную нам жизнь не только системой насилия и эксплуатации, но и системой лицемерия и обмана, гнусного, отвратительного, делающего современный порядок вещей презренным, возбуждающим нравственную тошноту. Недаром, именно современная нам эпоха — эпоха капитализма — породила в мироощущении человечества то, что обыкновенно называют «мировой скорбью», но что вернее было бы назвать «мировой тошнотой». Невыносимо скучно, тошно жить на этом свете — вот что говорят нам, еще с начала прошлого столетия, такие художники, как Байрон, Гоголь. Почему? — Потому, что мир заполнен не только насилием, но и лицемерием; потому что владыками мира являются даже не рыцари большой дороги, а безопасные в своем звании «собственники», гнусная порода людей, которые, обирая других людей до нитки, называют

их при этом «братьями» и прикидываются их доброжелателями.

Вот основы жизни современного человечества... Так дольше жить нельзя. Жизнь человечества до корня искажена; вместо того, чтобы быть откровенной, радостной, прекрасной, как всякая жизнь, даже та, которая (как жизнь в животном мире) основана на борьбе за существование, — жизнь современного человечества — кривая, гнусная, презренная, в сущности, никому не дающая настоящей здоровой радости. Радуются теперь только капиталисты, все остальные страдают. Но радость современного капиталиста — это радость мирового спекулянта, какого-нибудь Моргана, который, запершись у себя в кабинете, вместе с своими единомышленниками и соучастниками хохочет над остальным человечеством: над целой Германией, над Китаем. Таких радующихся «владык» становится все меньше, а страдающих от их подлого смеха «рабов» все больше, — и вывеска над всем этим, провозглашающая свободу, равенство и братство, «демократию» и «культуру» — делается все отвратительнее и презреннее...

Задача — удалить из человеческой жизни ее глубокое внутреннее противоречие, устранить из нее эксплуатацию труда, сопровождающуюся насилием и обманом, господствует теперь над всеми другими задачами человечества. От выполнения ее зависит все в человечестве. Будет она выполнена, и жизнь человечества примет нормальный, человеческий вид; она будет поистине «культурной» и вместе с тем радостной, счастливой, всех удовлетворяющей. А если она не будет выполнена, то человечество выродится, заключенные в нем возможности погибнут. Оно будет состоять из скотов, к услугам которых предоставлена вся человеческая культура, и из людей, которые вынуждены вести скотский образ жизни.

Эту великую задачу человечества надо было прежде всего «осознать» теоретически. Чувствовалась она, и не могла не чувствоваться, уже давно, с тех самых пор, как выявилось имущественное неравенство людей, проистекавшее из эксплуатации одних другими. Мечты о разрешении этой задачи, и о разрешении в совершенно правильную сторону — в сторону коммунизма — возникали уже 2 000 лет тому назад («коммунизм» Платона, первоначальный христианский «коммунизм»). Но до тех пор, пока эта задача не ставилась настоящим «научным» образом, ее разрешение только и могло быть «мечтой» или «утопией». Так эти «утопии» и продолжались до самого XIX века.

Но в XIX веке явился гений, который поставил и разрешил эту задачу «научно». Конечно, это могло произойти только потому, что народился и тот класс — промышленный пролетариат — которому предстояло реально осуществить эту задачу. Но нужно было очень много научной прозорливости, настоящей, первоклассной гениальности, чтобы не просто указать, что пролетариат должен сбросить с себя иго эксплуатации, чтобы

создать настоящую научную общественную теорию, охватывающую все стороны и все факторы этой задачи. Маркс создал такую теорию. Поскольку это была чистая теория, это была теория исторического материализма, а поскольку она была обращена к практике, это была теория «научного» социализма.

Гений Маркса дал нам разгадку исторического процесса и вручил нам ключ к предстоящему историческому действию. Он дал нам и диагноз «болезни» человечества, и прогноз избавления от нее. Задача теоретически была разрешена и, с этой стороны, подготовлена к своему практическому осуществлению. Но само практическое осуществление было еще впереди. Нужен был другой, такой же теоретический, но еще больший практический гений, который должен был уловить момент, когда нужно было, действием пролетариата, двинуть задачу к ее практическому осуществлению, не упустить этого момента, и, вместе с тем, повести все дело — социальную революцию, последний и решительный бой — так, чтобы был обеспечен успех выполнению этой главной задачи человечества.

Такой гений и явился в лице Владимира Ильича Ленина. Ленин стал непосредственным вождем мировой социальной революции. Он уловил ее момент, и он положил прочное, вполне надежное начало ее осуществлению, правда, пока только в России, но раз основная, насущная, величайшая задача человечества найдет себе осуществление в одной стране, то к ней неизбежно примкнут и другие. Ведь, задача — общая для всех, и решение ее также — одинаковое для всех.

Итак, гений Ильича есть тот гений, который оказался в рост основной, величайшей задаче человечества, притом не в стадии ее теоретической разработки, а в стадии ее непосредственного практического осуществления.

Нечего и говорить о том, какие величайшие трудности стояли, да еще и теперь продолжают стоять перед осуществлением этой величайшей исторической задачи. Мы в России уже видели эти трудности воочию; Европе, Азии, Америке придется их еще испытать. Ленин преодолел эти трудности. Когда он сошел в могилу, то все самое трудное осталось уже позади.

Что же дало Ленину возможность осуществить свою задачу, преодолеть все ее неслыханные трудности? — Его необычайная гениальность, та страшная сила и острота ума, соединенная с не меньшей силой воли, которая с абсолютной ясностью усматривает существо и элементы своей задачи, в точности предусматривает все ее трудности и заранее готовится к их преодолению. С этой стороны, не только глубоко поучительно созерцать личность и деятельность Владимира Ильича, но это созерцание доставляет высокое наслаждение, подобное тому, какое получается от внутренней гармонии и силы художественного произведения. Ильич — как статуя, высеченная из одного куска и вся проникнутая одной господствующей идеей.

Обращенность, прикованность к задаче избавления трудящихся от ига эксплуататоров была наследственной в семье Ульяновых. Старший брат Владимира Ильича, Александр Ильич, ради этой задачи хотел убить Александра III, как народовольцы убили Александра II. Но это не удалось и он, вместе со своими единомышленниками, был повешен. На Владимира Ильича это событие не могло не произвести огромного впечатления не только потому, что оно случилось с его братом, но и потому, что он сам был прикован к той же задаче. Но он сразу же формулировал иное практическое отношение к этой задаче, чем то, какое было у его брата. Получив известие о казни своего старшего брата, 17 - летний Владимир Ильич воскликнул: «Не тем путем надо итти!»

А каким? — Не народническим, а марксистским.

В. И. в это время был уже знаком с Марксом, об его учении говорил ему его старший брат, и он уже имел в руках «Капитал» Маркса. Учение Маркса сразу же захватило В. И., или, может-быть, вернее сказать, он сам сразу же его «схватил». Он принимается за тщательное его изучение, и юношей, совсем молодым человеком, им вполне овладевает. Впрочем, слово «овладевает» тут тоже едва ли подходит, оно слишком бледно для характеристики работы мысли и воли Ильича в направлении к «общественной» теории. Не в том дело, что Ильич в это время читал, размышлял над Марксом, усваивал и даже хорошо усваивал себе учение Маркса, как в его основах, так и в его деталях, а это дело — то, что происходило в это время с Ильичом, — заключалось в том, что он р е ш а л для себя социальный вопрос, обдумывал его со всех сторон, в связи с разными теориями, и пришел к выводу, что правильное его решение есть то, которое дано Марксом. Он поэтому примыкает к марксизму, сам становится марксистом, проникается марксизмом, как истиной.

И при его отношении к социальному вопросу, совершенно таком же, как у его брата, т.-е. при его полной решимости, как и у его брата, отдать всего себя целиком разрешению этого вопроса в пользу трудящихся, марксизм стал для него не одной теорией, не одной истиной, но и руководством к действию. Его натура была вся устремлена к действию, она, как туго натянутая струна, была направлена в сторону освобождения трудящихся от ига эксплуататоров, но он понимал, что для успеха действия нужна правильная теория, нужна истина, нужно понимание и освещение всей той обстановки, при которой приходится действовать. В. И., усилиями своего ума, создавал себе это понимание, и он, в этом отношении, с о г л а с и л с я с Марксом, убедился, что эта часть работы сделана, и сделана гениально, уже до него. Тут нечего больше делать, надо итти дальше. Надо взвесить все условия и всю историческую обстановку с п р а к т и ч е с к о й стороны, взвесить степень готовности задачи к ее осуществлению, — найти те точки и те рычаги, за которые

надо схватиться, чтобы двинуть историю вперед, к тому перевороту, который научно предсказан Марксом.

И Владимир Ильич, с марксизмом в руках, с твердым убеждением, что историческая обстановка для него ясна, или, лучше сказать, с а м с полной ясностью усматривая всю эту обстановку, двинул свои шаги к действию.

Ему пришлось действовать в России. И вот совершенно изумительны та быстрота и та уверенность, с которыми он начинает действовать в русских условиях. Среди интеллигенции господствующим течением было тогда народничество. Народничество имело за собой колоссальные революционные заслуги. Но народничество ошибается, оно неправильно учитывает все исторические факторы и потому не может дать успеха. Народничество надо отстранить, надо отвергнуть. И В. И. отвергает его с такой решимостью, как никто. 23-летним юношей он пишет свою первую книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов», в которой разбивает все основы народничества. В противоположность ему, он выдвигает положение, что классом-освободителем, классом-гегемоном, главной силой и основной пружиной революции будет рабочий класс. «На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создаются прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда русский *рабочий*, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет *русский пролетариат* (рядом с пролетариатом *всех стран*) *прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции*», — все это целиком содержится в заключительных строках этой книги, которая была написана более 30 лет тому назад.

Другой ранней книгой В. И., также написанной им в ссылке, была книга «Развитие капитализма в России», которая с цифрами в руках доказывает, что не только России не миновать капитализма, как это в основу всего своего миросозерцания клали народники, а что, наоборот, он в России неудержимо развивается.

Таким образом, В. И. — с самого раннего возраста, как только в нем загорелось его юношеское сознание, — сразу же отдает себя той задаче, которой отдал себя и его старший брат, но только он идет к ней иным путем и хочет разрешать ее иными средствами. Он быстро ориентируется и в «теории» этой задачи, и в практических условиях ее выполнения. К 24 — 25 годам он уже сложившийся политический деятель, он уже готовый вождь для того класса, который один может выполнить социальную задачу человечества. Он — марксист, но марксист не

только овладевший теорией исторического движения, но и прокладывающий своей гениальной мыслью и волей практический путь для осуществления этого движения.

При такой силе сознания задачи и волевого к ней устремления, совершенно понятно, что В. И. не остается с книгами или только среди интеллигентских споров, а идет в гущу того общественного класса, который является движущей пружиной современной истории,— идет для того, чтобы готовить вместе с ним очередное историческое действие, надвигающуюся на человечество социальную революцию. Конечно, в русских условиях, да еще с такой решительной проповедью классового действия пролетариата, он очень скоро попадает в тюрьму и ссылку. Но ему и не надо было много времени, чтобы завязать связи с рабочим классом, завязать так прочно, как ни у кого другого. И он успел «почувствовать» рабочих, и они его «почувствовали». Он воочию убедился, что прав марксизм с его положением о том, что рабочий класс есть движущая пружина истории, а рабочие сразу же увидели в нем вождя, — такого вождя, который не только никогда им не изменит, но и даст им нужное руководство и конечный успех. Связь между Лениным и рабочим классом, связь на жизнь и на смерть, для немедленной подготовки предстоящей социальной революции, установилась уже тогда, в эти немногие месяцы пребывания В. И., между тюрьмой и ссылкой, на свободе, среди питерских рабочих.

В 1900 г. кончается срок ссылки и В. И. возвращается в Петербург. Он ясно видит, что революционные предпосылки нарастают, а рабочий класс становится все активнее. Что же надо делать?— Надо готовиться к революции. А как к ней готовиться? — Надо создавать для нее «штаб», надо организовать «партию». Революция сама придет, революционная стихия сама развернется, но кто будет ею руководить, кто направит ее к успеху и победе?— Нужна «партия», нужен организованный, сознательный, ко всему готовый авангард! И Владимир Ильич целиком отдается этой задаче.

Но организовать партию —это значит выработать для нее программу, наметить тактику, создать в ней определенное настроение, наконец, сплотить воедино ее участников. Сделать все это без предварительного обсуждения, без широкого обмена мнений, невозможно. Значит, нужен печатный орган, который бы поставил перед собой и осуществил эти организационные задачи. В. И. пытается создать такой орган в России. Но это невозможно в силу полицейских условий. Тогда В. И. выезжает за границу, и там, вместе с Плехановым, Верой Засулич и другими, основывает «Искру».

«Искра» сыграла всю ту роль, какая ей предназначалась, сыграла благодаря участию в ней Ленина. Ленин сумел наполнить ее своим духом и настроением, проникнуть ее своими мыслями. Она всколыхнула революционных рабочих России, она подготовила те элементы, которые надо было сплотить

в партию. Наступил тогда следующий очередной этап: организовать самую партию.

Для этой задачи собрался второй съезд партии. И вот этот второй съезд сделался ареной, на которой впервые, с блеском молнии, проявился весь необычайный гений Ильича. Ильич видел то, чего не видели другие. Он ясно видел и грядущую революцию, и то, как к ней надо готовиться, чтобы за нее, действительно, отвечать. По сравнению с ним, все остальные относились к делу более безответственно, с точки зрения: «еще успеется», да «когда-то будет»; он один видел своим, как сталь, острым взглядом и предстоящие события, и выдвигаемые ими трудности, и те меры, какими можно их преодолеть.

Как известно, на съезде особенно выдвинулся внутренний, «организационный» вопрос — вопрос о том, кто может быть членом партии. От этого, конечно, всецело зависело и то, чем будет сама партия, к чему она будет способна, и какую роль сыграет она в грядущей революции. В. И. настаивал на том, чтобы членом партии мог быть только активный участник ее деятельности, деятельный член какой-нибудь из ее организаций. Его противники держались более «широкой» точки зрения: чтобы членом партии мог быть всякий, оказывающий ей какое-нибудь содействие, т.-е. попросту ей сочувствующий. С точки зрения социального состава партии, это обозначало, что В. И. стремился к тому, чтобы она была рабочей, а его противники согласны были на включение в нее больших интеллигентских кадров. Первое, как теперь совершенно очевидно, должно было дать партии твердый, «революционный» уклон, сделать ее именно «орудием» революционного действия, а второе давало ей «мягкотелый», «соглашательский» характер, превращающий партию в орудие не революционного действия, а предательства революции. Никто тогда ничего этого не видел, а Ленин видел это, как у себя на ладони.

По этому вопросу большинство осталось, в конце концов, за «меньшевиками». Но обаяние личности Ленина было так велико, что редактирование «Искры» было оставлено за ним (вместе с Плехановым). В. И., конечно, продолжает вести газету в своем духе, но тогда меньшевистская «верхушка» партии отнимает у него ведение центрального органа. Этим намечается весьма серьезный раскол внутри российской социал-демократии, и В. И. всецело его принимает.

Тут кстати будет вспомнить тогдашние упреки В. И., что он сектант, склочник, не желает «согласия», страшно раздувает всякое «разногласие». Теперь ясно, из какого источника проистекала эта «исключительность» и «непримиримость» Ильича: вовсе не из его «сварливого» характера, а только из его прозорливого, гениального ума. Дело просто было в том, что он видел то, чего не видели другие. А другое заключалось в том, что, уже с самой зари своей юности отдав себя делу революции, он возло-

жил на себя и всю ответственность за ее правильную подготовку и за ее успешный исход, чего не делали другие.

Отодвинутый «меньшевиками» в сторону, Ильич целиком отдается организации «большевизма», противополагая его всякому «соглашательству» и выковывая в нем орудие будущего решительного революционного действия. В 1905 г. созывается, вопреки меньшевистскому ЦК, третий съезд партии, составившийся поэтому из одних «большевиков», и на нем, незадолго до революционных событий этого года, закладываются основы революционному действию. Как очередные и необходимые, провозглашаются — идея всеобщей забастовки и идея вооруженного восстания. Этим съезд прямо предвосхищает то, что случилось несколько месяцев спустя.

Очень интересно личное отношение Ильича к революционному движению 1905 г. Он приехал в Россию, но не принимал непосредственного участия в революционных событиях того времени, даже не участвовал в деятельности образовавшегося в октябре 1905 г. Совета рабочих депутатов. Он занял позицию наблюдателя, пристального, жадного наблюдателя развертывавшейся революционной стихии. Тут сказались, конечно, не одни конспиративные условия. Нет, тут опять-таки проявилась гениальная прозорливость, совершенно исключительная чуткость Ильича к действительности. Он гениально усматривал, что революция 1905 г. есть только нечто предварительное, а не окончательное, — только большая, глубокая революционная разведка, — только «репетиция», хотя бы и «генеральная», будущей окончательной революции. В такой разведке полководец не должен сам участвовать, он должен ее только тщательно изучать, чтобы не упустить ничего, чем можно потом воспользоваться для окончательной победы.

И Ильич жадно наблюдал и жадно изучал революцию 1905 г. Он наблюдал события и людей, всю живую обстановку, прежде всего деятельность рабочего класса в революции. Этот «наблюдатель» отнюдь не был «посторонним», «любопытным» зрителем, — нет, он был всей душой с революцией, он толкал ее вперед, но он чувствовал, как «полководец», что до поры до времени ему надо быть в некотором отдалении, чтобы «впитать» в себя картину действительности, чтобы не упустить в ней ни одной черточки.

Когда произошло и было подавлено московское восстание, Плеханов бросил по поводу него свою известную холодную фразу, которую трудно простить человеку, который сам, за четверть века перед тем, поднимал красное знамя на Казанской площади: «Не надо было браться за оружие». — Ильич, в противоположность Плеханову, не отрекался от декабрьского восстания и не осуждал его. Наоборот, он отнесся к нему с величайшей любовью. И он дал лозунг: изучать его! Изучать в нем все, до малейших деталей: отдельные эпизоды, технику боев, биографии участников.

После разгона первой думы, с наступившим торжеством реакции, В. И. не только не пришел в уныние, но, наоборот, стал продолжать революционную работу еще с большей энергией. Его революционная уверенность тем более бросается в глаза, что меньшевики дошли в это время до «ликвидаторства».

И, конечно, Ильич был прав, он хорошо знал, что он делает. Понижение революционного настроения стало вновь сменяться подъемом. 1912 год с его Ленским расстрелом, оказался в этом отношении переломным. Вновь стала вздыматься революционная волна. Летом 1914 г. дело дошло уже не только до стачек, но и до баррикад... Но тут разразился мировой катаклизм — мировая война.

Едва ли Ильичу приходилось когда-нибудь переживать более тяжелое время, чем время начала и первых лет мировой войны. Казалось, события отбросили его, с лелеемыми им планами освобождения человечества от ига капитала, в сторону. Вместо социальной, классовой борьбы всюду от имени пролетариата, от имени пролетарских партий, был провозглашен «гражданский мир». Интернациональная солидарность рабочего класса была вдребезги разбита. Вместо того, чтобы стоять по одну сторону баррикады против международной буржуазии, рабочие разных стран стояли с двух сторон окопов и безжалостно истребляли друг друга во имя и под командой своей буржуазии. Вожди рабочих изменили своему делу. Над всем миром поднялся какой-то чудовищный вихрь человеческого безумия и озверения.

Ильич остался почти один, со своими мыслями и со своей волей. Но ум его был точен, как барометр, а воля тверда, как сталь. Противостоя один целому миру, в противоположность всем, он мертвой хваткой схватил ускользнувший от других смысл событий и провозгласил свой диагноз: мировая бойня есть «начало конца» капитализма. Мировая война есть предвестник и предшественник мировой революции. «Войну империалистскую надо превратить в войну гражданскую».

Несомненно, что гений Ильича тут же схватывал и еще две вещи: 1) что для русской революции наступили международные предпосылки, чего не было в 1905 г., и 2) что русская революция будет составной частью, а, может-быть, и самым началом мировой революции. Время созрело в мировом масштабе. Процесс — один. Где-то он должен прорваться и начаться. По всей вероятности, в наиболее слабом месте капиталистической цепи. Тем более, что в России капитализм наиболее слаб, а революция — наиболее сильна.

Что делает в это время Ильич? В течение почти трех лет он мечется в своем одиночестве, как зверь в клетке. Вот какую сценку рассказывает Надежда Константиновна Крупская.

«Забрели мы однажды в фешенебельную часть Цюриха и неожиданно наткнулись на Нобса, редактора цюрихской социалистической газеты, ходившего тогда в левых. Нобс,

завидя Ильича, сделал вид, что хочет сесть в трамвай. Ильич все же захватил его и, крепко держа за пуговицу, стал излагать свою точку зрения на неизбежность мировой революции. Комична была фигура не знавшего, как улизнуть от неистового русского, левого оппортуниста Нобса, но фигура Ильича, судорожно сжимавшего пуговицу Нобса и стремившегося его распропагандировать, показалась мне трагической. Нет выхода колоссальной энергии, гибнет невозвратно бесконечная преданность трудящимся массам, ни к чему ясное осознание совершающегося. И почему-то вспомнился белый северный волк, которого мы видели с Ильичом в Лондонском зоологическом саду и долго стояли перед его клеткой. Все звери с течением времени привыкают к клетке: медведи, тигры, львы, — объяснил нам сторож, — только белый волк русского Севера никогда не привыкает к клетке: и день, и ночь бьется о железные прутья решетки. Разве пропагандировать Нобса не значило биться о прутья решетки?...»

Конечно, у Ильича есть небольшой кружок единомышленников, русских и иностранцев. Он вместе с ними протестует против мировой бойни. Он поддерживает идею интернационального братства рабочих, он приглашает их перестать истреблять друг друга и совместно обратить оружие, находящееся у них в руках, против международной буржуазии. Он образует так называемую циммервальдскую левую. Но все это — глас вопиющего в пустыне. Миллионные армии рабочих и крестьян продолжают истреблять друг друга. Гром войны ни на минуту не затихает. И так идет и год, и два, и три.

Ильич мечется как в клетке. Но он слишком хорошо понимает, что происходит. И он ж д е т. Ждет, когда, наконец, раздастся набат революции. И где он раздастся впервые?

И вдруг, после бесконечного ожидания, в конце третьего года войны, крик восстания раздался. И где же? В России, в той стране, которую Ильич так любил и так высоко ставил!

Ильич там, в далекой Швейцарии, делается сам не свой. Он должен быть на месте. Он должен попасть в Россию. Как? — Каким угодно образом, но попасть. Через союзников — нельзя, наверное задержат. Соглашается пропустить Германия. Ну, значит, немедленно, тотчас же!

В апреле 1917 г. Ильич уже в России.

В России главный вопрос — какою быть революции: политической или социальной? буржуазной или пролетарской? Какой быть власти, демократической или советской?

«Социалисты» колеблются; или, лучше сказать, не колеблются, а прямо решают вопрос в пользу буржуазии. Благо, хороший предлог: «демократия», «учредительное собрание», «всеобщее, прямое, равное и тайное»... Надо довести до этого, а там будь, что будет...

Ильич врезается в эту атмосферу со своим решительным мнением: революция должна быть социальной, — власть должна быть пролетарской, — временное правительство надо устранить, — против него нужно новое восстание. Войну надо немедленно прекратить.

Знаменитые «тезисы» Ленина, прочтенные им в заседании Петроградского Совета 4-го апреля, произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Даже многие большевики были ими смущены. Из их среды против них послышались возражения, доказывавшие, что буржуазно-демократическая революция еще себя не исчерпала.

Но Ильич быстро овладевает и политическим положением, и партией. Он поворачивает партию в свою сторону. Он разъясняет, что он вовсе не призывает к немедленному восстанию против временного правительства, он говорит, что раньше надо завоевать большинство в Советах и, вообще, дать время массам пережить и свою «военную» психологию, и известные политические предрассудки. Но он безусловно настаивает на линии в сторону пролетарской революции и Советской власти и на отделении в этом отношении большевизма от всех остальных течений.

События идут быстрым темпом. Дни и месяцы мелькают, как в калейдоскопе. Пережиты апрельские демонстрации, июльское выступление, московское совещание, корниловская авантюра. Прогноз Ленина целиком оправдывается. Массы все больше переходят на сторону большевиков. Подходит решительный момент: свергать или не свергать временное правительство? начинать или не начинать вооруженное восстание против буржуазии? развязывать или не развязывать социальную революцию?

Нужно представить себе всю колоссальную ответственность за *положительное* разрешение всех этих вопросов, — за то, чтобы сказать: да, час пробил, момент настал, пускайте в ход народные массы для мирового переворота, — чтобы понять, что у самых решительных людей в это время могли явиться сомнения, колебания.

Да, у самых решительных, но не у Ильича. Ильич не просто самый решительный, а он еще и самый прозорливый: он видит все насквозь. Ко времени второй русской революции он уже вобрал в себя весь опыт истории и всю механику современности. Он переработал в себе все до полной ясности, до кристальной прозрачности. Он знает человеческие массы, он тщательно взвесил и их слабые и их сильные стороны, и он пришел к положительному выводу. Он верит в массы, он на них полагается. Это — не «прекраснодушие» легковесного «оптимиста», а это положительное знание проницательнейшего, скептичнейшего из умов.

И Ильич ни минуты не колеблется. В его уме не проходит и тени сомнения. Наоборот, сила его ума, твердость его воли

достигают в это время своей наивысшей степени. Ильич переживает торжественнейший момент своей жизни, то, ради чего он жил и умер. И, в твердом обладании всем своим необычайным гением, он твердо говорит: вперед! пускай пар в машину! начинай!

Изумительно и высоко поучительно читать теперь то, что писал Ленин в сентябре и октябре 1917 г., находясь вне Петрограда, в своем конспиративном убежище около Сестрорецка, в тех беглых заметках, которые он посылал оттуда партии.

«Получив большинство в обоих столичных Советах Рабочих и Солдатских Депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее... Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября: большинство в столичных Советах есть плод развития народа в нашу сторону... Народ устал от колебаний меньшевиков и эс-эров. Только наша победа в столицах увлечет крестьян за нами. История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь... мы победим безусловно и несомненно».

Это было написано в сентябре. А в октябре Ленин писал:

«...переход власти к Советам означает теперь на практике вооруженное восстание. Казалось бы, это очевидно, но не все в это вдумались и вдумываются. Отрекаться теперь от вооруженного восстания значило бы отречься от главного лозунга большевизма (вся власть Советам) и от всего революционно-пролетарского интернационализма вообще...

Успех и русской, и всемирной революции зависит от 2 — 3 дней борьбы».

И Ильич тут же дает деловые советы, как вести эту борьбу. «Одновременное, возможно более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота, скопление гигантского перевеса сил... чтобы непременно были заняты и ценою каких угодно потерь были удержаны: а) телефон; б) телеграф; в) жел.-дор. станции; г) мосты в первую голову... Составить отряды наилучших рабочих с ружьями и бомбами для наступления и окружения «центров» врага... с лозунгом: погибнуть всем, но не пропустить неприятеля».

Какой объем, какая ясность и какая мощь мысли! Какая гигантская воля! «Момент» мировой социальной революции в точности схвачен. Ильич держит его у себя на ладони, и он заботится, как самый рачительный хозяин, чтобы обеспечить ему полный успех. Но он видит его так ясно только силою своей гигантской прозорливости. Другие его с такой отчетливостью не видели. Даже его ближайшие соратники на минуту

«колебнулись». Но Ильич «внушал» решительность, «толкал» к действию. И партия двинула в ход революционные силы, и «социальная революция» не только родилась, но и прочно закрепилась на земле.

25 октября (7 ноября) 1917 г. стало мировой датой. Освобожденное человечество, наверное, сделает его своей эрой, началом летоисчисления своей новой жизни.

Само собою разумеется, Ильич стал у руля совершившейся революции. И тут уж его деятельность сделалась видна всему миру. Революции пришлось преодолеть неслыханные, невероятные трудности. Она их преодолела под руководством Ильича. И всем стало ясно, какой это необычайный гений. И не надо теперь этого доказывать, с этим согласны все, и друзья, и враги.

Трагическая смерть Ильича, смерть от склероза «износившегося», «изработавшегося» в великой работе мозга, только сильнее подчеркнула величие Ильича. Ильич умер, но умер тогда, когда все самое главное, самое трудное было уже сделано. Он умер, но и по смерти он продолжает совершать гигантскую работу на пользу человечества. Он оставил неисчерпаемое наследство мысли, которое получило название ленинизма и которое служит драгоценным руководством для завершения социальной революции в остальном человечестве. Его образ отражен в сердцах всех трудящихся и угнетенных, он воодушевляет к действию каждого рабочего и каждого крестьянина. Мировая социальная революция будет совершаться и завершится с Лениным на устах. Он — для всех угнетенных — ручательство и залог победы.

Ленин имел все качества, необходимые для той задачи, которой он служил, и у него не было ни одного качества, которое бы ей мешало.

Он был весь сосредоточен на величайшей задаче человечества, и она была его единственной задачей. Для разрешения ее в его распоряжении был колоссальный ум и неслыханная воля. Он стал поэтому великим вождем величайшего исторического переворота. Но его личное отношение и к своему делу, и к своему положению было самое лучшее, какое только можно представить себе у человека: совершенно и абсолютно бескорыстное. Не только он не извлекал и не хотел извлекать из него никаких материальных выгод — об этом по отношению к Ильичу смешно даже говорить, самые злейшие его враги никогда не пытались его в этом обвинять, потому что все равно никто бы этому не поверил, — но он не извлекал и не хотел извлекать из своего положения и никаких нематериальных выгод.

У него совершенно не было честолюбия, в обычном, пошлом значении этого слова. Это вовсе не значит, что он не знал себе цены, или не понимал своей исторической роли. Совершенно наоборот. Люди, близко стоявшие к нему в его исторической деятельности, свидетельствуют, что Ильич был так же

прозорлив и в этом отношении, как и во всех других. И в сношениях с другими людьми, как друзьями, так и врагами, он вовсе не склонен был скромничать, тоже в обычном и пошлом значении этого слова. Тут он иной раз мог производить впечатление высокомерное, даже презрительное. Вспомним, напр., ту знаменитую кличку, которую он так часто и столь многим охотно раздавал: дурачки.

Когда-то, когда я еще не знал цены ни Ильичу, ни его деятельности, эта кличка, в его устах, выводила меня из себя: как он смеет, по какому праву он берет на себя так презрительно относиться к людям!.. Теперь я вижу, по какому праву: по праву «умного», по праву прозорливого, по праву видящего истину воочию. Эта презрительная кличка — только выражение мудрости Ильича, и в его устах она вовсе не обидное презрение, а простое констатирование факта, на который не может не указать тот, кто его видит.

В отношении к социальному вопросу, к его сущности, постановке и разрешению, есть просто мерзавцы, и просто дураки. Мерзавцы те, кто говорят, что увеличивать рабочее время, уменьшать рабочую плату можно, а снижать капиталистических барышей никак нельзя. Это — мерзавцы, но отнюдь не дураки. Но есть и дураки. Дураки — это те, кто совсем не видят социального противоречия, или думают, что его можно разрешить каким-то сладким компромиссом, по-хорошему. Они дураки, потому что не видят фактов, давно указанных Марксом. Таким прекраснодушным дураком прожил всю свою жизнь и я, нижеподписавшийся, если это кому-нибудь интересно. В извинение себе могу только сказать, что таких дураков не мало, особенно среди ученого сословия.

Но рядом с «мерзавцами» и «дураками» — есть еще и «дурачки». Это те, кто знают,—по Марксу знают,—что «классовое» противоречие между трудящимися и «буржуями» существует, что оно «непримиримо», и тем не менее дают себя «одурачивать», как были одурачены социал-демократы всех стран при разразившейся мировой бойне. Кто же они, как не «дурачки»? Назвать их «мерзавцами», по крайней мере, тех, которые, действительно, были одурачены, хотя бы это был такой крупнейший ум и верный приверженец марксизма, как Плеханов, — нельзя, так же точно, как они и не «дураки»; но они «дурачки». Другой характеристики, по крайней мере, со стороны умного, тут и не придумаешь.

И я ясно вижу теперь, что это слово «дурачки», в устах Ленина, было результатом его величайшей мудрости, глубочайшего понимания, а также, конечно, и того, что он знал цену своему суждению и вовсе не считал нужным с ним «скромничать». Он прямо говорил то, о чем думал, а думал он только о пользе дела, отнюдь не об личных интересах, своих или чужих. Все «личное» было ему совершенно чуждо. Ему не только был ненужен, но для него был органически непереносим всякий так назы-

ваемый «почет», знаки «уважения» и т. п. Он стоял даже не выше, а вне всего этого; это для него просто не существовало. Так же точно, как для него не существовала и ненависть к нему врагов. В обе эти стороны он был совершенно «иммунен».

В связи с этим стоит и другое его качество: его изумительная «простота» в отношениях к людям. Никакой «надутости», никакой «аффектации», никакой «искусственности» и «лжи».

«Простота» — это одно из самых симпатичных русских качеств, и В. И. обладал им в высочайшей степени. Романский характер склонен к аффектации, англо-саксонский — к излишней замкнутости, русский характер — наиболее прост и естествен. И в этом отношении, как и во многих других, В. И. был истым великороссом. Тут он был ярким носителем этой национальной добродетели.

В своих воспоминаниях о Ленине Горький рассказывает: «Осенью 18-го года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова: какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

— Простота. Прост, как правда».

Вот именно так. Не только прост, но прост, как правда. Его простота вытекала из его глубокой правды.

Но в связи с «простотой» и «правдой» у В. И. была и еще одна чрезвычайно ценная черта, которая уже отнюдь не составляет национальной добродетели. Это — «серьезность», глубокая «серьезность», проникающая все его существо. Это вовсе не значит, что В. И. не умел смеяться или не любил шутить. Совершенно наоборот. Знающие его свидетельствуют, что он смеялся, как дети, «всем своим существом», и потому страшно заразительно; очень любил он также и хорошую шутку. Но его коренное отношение к жизни было глубоко серьезным. Смех-смехом, шутка-шуткой, — это своя особая область, ясная и определенная. Но ни с чем серьезным не следует «шутить», и ничего серьезного не надо обращать в «смех». Да и вообще, ко всему, в конце концов, надо относиться «серьезно».

Недавно еще, в воспоминаниях о В. И., отмечалось, что все его речи и все то, что он писал, всегда было прямо, просто и глубоко «серьезно». Нигде, вникая в его слова, обращенные к читателям или к слушателям, нельзя найти, чтобы что-нибудь было в них «декламацией», а другое «втиранием очков» или «укрывательством» своей подлинной мысли, — нет: везде только одни прямые, простые и серьезные мысли. С толпой, массой В. И. беседовал только самым серьезным образом. Никогда не льстя толпе, никогда не играя ни на каких ее инстинктах и не стремясь ее с той или иной стороны «обработать», он всегда говорил только свою прямую мысль и самым серьезным образом. И в этом была огромная сила и совершенно особенное обаяние его речи, разгадка того полного доверия, которое вызывалось им со стороны тех, к кому он обращался.

Была у Ленина и еще одна черта, которая специально проявлялась в отношении к людям с «мозолистыми руками», к рабочим и крестьянам. Горький и здесь передает характерный отзыв о Ленине рабочего.

«В 1907 г., в Лондоне, несколько человек рабочих, впервые видевшие Ленина, заговорили о его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

— Не знаю, может-быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой такой же умный человек, — Бебель или еще кто. А вот, чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, — не верится.

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

— Этот наш. Решительный.

Ему возразили:

— И Плеханов наш.

Я услышал меткий ответ:

— Плеханов — наш учитель, наш барин, а Ленин — товарищ наш».

Да, именно «товарищ». По отношению к рабочему Ленин всегда был, всегда чувствовал себя «товарищем», со всей присущей ему «простотой», «правдой» и «серьезностью». Это было нисколько им не надумано и не подстроено, а это вытекало из всей его натуры. Эксплуататор, буржуй — был для него «враг», и он сам был «буржую» враг, и тоже во всей серьезности этого слова, но рабочий был ему друг и «товарищ». Это отношение — не снизу, и не сверху, а в самый уровень. Это — лучшее из человеческих отношений, самое достойное людей, самое подходящее к людям. «Товарищи» — это участники «общей» жизни: «общего» труда и «общего» удовольствия.

Горький и здесь рассказывает одну неподражаемую сценку. Но сперва приведем предисловие к ней, а затем и ее самое.

Предисловие:

«Был в нем (В. И.) некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шаляпина, и не мало других крупных русских людей, каким-то чудесным чутьем сразу выделили Ленина на особое место»...

А вот и сама сцена:

«Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» лесой без удилища. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш? (Вот так: дринь-дринь. Понимаешь?).

Он тотчас подсек рыбу, повел и закричал с восторгом ребенка, с азартом охотника:

— Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали ловца:

— Синьор Дринь-дринь.

Он уехал, а они все спрашивали:

— Как живет синьор Дринь-дринь. Царь не схватит его, нет?».

Вот оно, это подлинное «товарищеское» отношение к трудящимся, как оно проявлялось у Ленина и в забаве, и в труде, и в битве.

Приведем еще один рассказ Горького:

«Шоффер Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

— Ленин — особенный. Таких нет. Вот, я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь — изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его скинут, уговаривает:

— Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все.

— Я старый шоффер, я знаю, так никто не сделает.»

И что же после этого говорить о каком-то «магнетизме» в Ленине и о каком-то «чудесном» чутье, которым трудящиеся выделяли Ленина. Дело совершенно ясное и нисколько не «чудесное». Натура Ленина была такова, что он проявлял свое товарищеское отношение к людям труда не деланно, не подстроенно, а со всей присущей ему «правдой» и «простотой», и люди труда это видели, также видели всем своим нутром, и они выделяли Ленина из «всех», они говорили, что он «особенный», что он такой, как «никто».

Да, такой, как никто. Как никто выше всех, и как никто — товарищ, само собою разумеется, трудящимся, а не эксплуататорам. Эксплуататорам он был враг, такой же враг, как и сами трудящиеся.

Тут, в этом «товарищеском» отношении к людям труда, сходились все лучшие черты Ленина, как человека. Но для этого «товарищеского» отношения нужна была и более глубокая, эмоциональная подоснова, подоснова симпатии, любви. И у Ленина — у этого сурового и непреклонного борца, у этого полководца социальной борьбы, бестрепетно бросавшего тысячи и миллионы людей в жестокую свалку гражданской войны, — эта подоснова была тоже, может быть, как ни у кого. Об этом — об его нежной, глубокой любви к трудовому народу, — свидетельствовала нам, уже после его смерти, Надежда Константиновна Крупская. При его жизни об этом невозможно было говорить. Он засмеял бы, заругал бы, прямо запретил бы. Но после его смерти, Н. К. Крупская была вполне права, считая, что она, как близкий к В. И. человек, знавший его более интимно, чем все другие, должна прямо это сказать. На дне, может-быть, даже в подсознании Ленинской души, был огромный пласт этой драгоценной для человечества эмоции, — эмоции «нежности», как называет ее Рибо, — эмоции любви к трудовому

народу. И это совершенно необходимо для истинно-товарищеского отношения между людьми. Только эта глубокая подкладка могла ставить гиганта-Ленина в уровень — не деланно, не фальшиво, а взаправду в уровень — с самым маленьким трудящимся человеком; только она является психологической предпосылкой для действительного «товарищеского» равенства между людьми, которые, на самом деле, могут быть совсем не равны между собою.

Так рисуется перед нами натура и величина этого человека. Это был гигант, гигант мысли и воли, гигант практического действия. Его мысль и воля были в полный рост величайшей задаче человечества, и он стал историческим деятелем, какого человечество еще не знало. Но он стал им, не только благодаря силе своего ума и непреклонности своей воли, но и по причине истинного благородства всей своей натуры.

Люди большого и острого ума, непреклонной воли, гениальных способностей к практическому действию были в истории и раньше. Одним из ближайших к нашему времени примеров таких людей является Наполеон. Наполеон, кстати, превосходно формулировал и одно из тех качеств, какие совершенно необходимы всякому крупному практическому деятелю. Это качество — уметь сосредоточивать свое внимание на своей задаче без всякой устали — «sans être fatigué». Ильич в такой же полной мере обладал этим качеством, как и Наполеон. Но Наполеон, при остром, как сталь, уме, при неукротимой воле, при изумительном понимании людей, был по своей натуре не более как жалким, дрянным честолюбцем. Он гнался за человеческими «почестями», за всем тем, чем осквернила природу человека эпоха классовой эксплуатации и государственной власти над массами. А Ленин все это презирал, стоял выше этого, всеми свойствами своей натуры предвозвещал будущего, лучшего, чем нынешний, человека. Ленин, как исторический деятель, не только велик, но и совершенно безупречен. На нем нет ни одного пятна, мы ни с какой стороны не можем сделать ему ни малейшего укора.

И это тоже не случайно. Не просто так случилось, что величайший исторический деятель, освободитель человечества от разъедающей его язвы эксплуатации, был вместе с тем и «хороший» человек. Нет, это стоит в прямой связи с самой задачей. Задача «освобождения» человечества, «освобождения» труда, требует не только силы ума, не только силы воли, но и всей высоты человеческого благородства. Эта задача может быть осуществлена только при участии масс, и вождем в осуществлении этой задачи мог быть только человек, которого бы массы любили, как любили Ленина, которому бы они так доверяли, как доверяли Ленину, которого бы они так «решительно» чувствовали «своим», как они чувствовали «своим» Ленина. Вождем в этой задаче, которая от масс требует величайших

жертв, неслыханного напряжения сил, постоянной готовности умереть, мог быть только человек, которого массы считают «особенным», «единственным», — не только по уму и воле, но и по исключительному бескорыстию, по абсолютному благородству его участия в этом великом историческом деле. Поэтому мы можем сказать, что будь Ленин исключителен, гениален только «умом» и «волей», — он не совершил бы своей задачи. Задача такова, что она требует еще всей возможной меры человеческого благородства, всей нравственной высоты натуры человека. Это было у Ленина, было в самой удивительной форме: в форме соединения непосредственных качеств натуры с полной, заостренной сознательностью. Ленин знал свои качества, знал их цену, и не только не «зазнавался», не «кичился» своим превосходством над людьми, но оставался «товарищем» всякому человеку, кто бы он ни был, лишь бы он был трудящимся. Это — высшая ступень в развитии человеческой природы; это предвосхищение будущего; будущие люди не будут мучиться разладом между умом и чувством, они, как Ленин, будут «товарищами» друг другу и по чувству, и по уму.

И вот это подводит нас еще к одной стороне великой Ленинской работы, которая совершается Ильичом и после его смерти. Чтобы быть вождем масс в их освободительной борьбе, Ленин должен был быть не только необыкновенным политическим деятелем, но и безукоризненным человеком, конечно, не в смысле нынешних мещанских добродетелей, а в смысле истинного человеческого достоинства. И так как он был таким, то поэтому теперь, после своей смерти, влиянием своей личности, он продолжает работать для человечества не только как политический деятель, но и как человек. И это — страшно нужная работа. Надо не только продолжать мировую освободительную борьбу, но и надо формировать, воспитывать «нового» человека. В мировой борьбе руководством должен быть «ленинизм», но и в воспитании «нового» человека образцом должен быть Ленин. Будущие люди должны быть такими, как Ленин, и их отношения друг к другу должны быть такими, какими они были у Ленина с настоящими людьми, т. е. с трудящимися. О Ленине мы можем и должны сказать: вот человек! вот — образец человека! И мы можем сказать это вполне по-человечески, не возводя Ленина в бога, не вырывая его из рядов человечества. Он — образец для человечества, но образец, не недосягаемый, а, наоборот, доступный и подлежащий воспроизведению в других людях.

С этой точки зрения, не пустая формальность и не одна декорация то, что будущим «людям», а нынешним «юным пионерам», присвоено название «юных ленинцев». Им надо быть ленинцами не только в политическом, но и в воспитательном смысле. В воспитательном отношении для всякого существа чрезвычайно важен образец, живое воплощение желаемых качеств. Перед нынешними «юными людьми» есть такой образец: Ленин. И это

великое счастье не только для них самих, но и для всего будущего человечества.

Ленин — великий воспитательный образец, потому что он есть изумительное сочетание непосредственных качеств натуры с человеческой сознательностью. Доныне люди не годились или со стороны своей «натуры», или со стороны своего «сознания». Они не были «готовы» либо с той, либо с другой стороны. У Ленина «натура» и «сознание» были таковы, что он был всегда и ко всему «готов»: готов ко всему, что нужно для человечества. И «юные пионеры» должны воспитывать в себе тот же тип: быть ко всему, что надо, что хорошо, — всегда готовыми.

Ленин, уже лежащий в могиле, но оставивший им в наследство не только свое учение, но и свою личность, так их и воспитывает. И будет так воспитывать не одно поколение. Ему предстоит в этом отношении долгая и долгая работа. Окончится борьба, исчезнут государства, не будет никакой политики, а Ленин все будет жить в умах и сердцах, направляя их своим могучим и обаятельным примером в сторону не нынешней, поддельной и лицемерной, а настоящей, трудовой, товарищеской человечности и солидарности.

Мы говорим об исключительной гениальности Ленина. Мы говорим о том, что только она дала возможность Ленину сыграть его историческую роль. Но что такое гениальность? И в каком соотношении стоит гениальный человек со своей средой? Он ли есть главное и творческое, или первенствующая роль в этом отношении принадлежит самой среде?

На примере Ленина и его исторического действия все эти вопросы находят себе совершенно прозрачное разрешение.

Гениальный человек есть, конечно, прежде всего произведение природы. Гениальный человек — это прежде всего гениальный мозг, — мозг с особым числом и с особым расположением нервных клеток, с особо развитой корой мозга с особыми ее извилинами. С биологической точки зрения, гении рождаются.

Но биологическая гениальность — это только историческая возможность. С исторической точки зрения, гении не рождаются, а наоборот, делаются. Для действительной исторической гениальности рождения недостаточно, нужно еще ее историческое выявление или становление. Природа расточительна, она заготовляет больше, чем использует. Далеко не все биологические гении становятся историческими. Исторический гений формируется в связи с историей, а, следовательно, в связи с социальной средой. Без подходящей среды, без стоящей в ней на очереди задачи, пригодной для гения, наконец, без надлежащего взаимодействия, на почве этой задачи, между гением и средой, гениальность останется не реализованной, напрасно данной, природные силы и способ-

ности гения просто погибнут или будут растрачены совсем не на то, к чему они предназначались.

И вот, если мы взглянем на соотношение между гением и средой, принимая все это во внимание, т.-е. становясь на историческую точку зрения, то мы должны будем сказать, что г л а в н о е, с о з и д а ю щ е е, т в о р ч е с к о е есть среда, а не гений. Развивается, эволюционирует вся среда, как целое, в ней возникают определенные задачи, — они могут быть выполнены только самой средой, а не отдельными людьми, — все в этом процессе определяется и все зависит от среды, но среда, конечно, действует через отдельных лиц, входящих в ее состав; среди этих лиц могут быть и более, и менее одаренные от природы, наконец, среди них могут оказаться — и они появляются тоже в закономерной зависимости от среды, но только на ее биологической глубине, — настоящие гении, одаренные от природы значительно выше средней человеческой мерки. С точки зрения нашего нынешнего н е з н а н и я биологических условий появления гениально-одаренных людей, таковое есть с л у ч а й н о с т ь, которая может быть, а может и не быть, но раз она д а н а, то дальнейший социологический процесс нам уже вполне понятен, и мы с определенностью должны сказать, что во взаимодействии, в сотрудничестве гения со средой — г л а в н о е, о б р а з у ю щ е е принадлежит среде. Она образует гения, а не он среду, что нисколько не умаляет его огромного значения для среды, так же точно, как гениальность п р о и з в е д е н и я нисколько не умаляется тем, что оно не «самосущно», а у него есть творец.

Все сказанное до прозрачности ясно на соотношении того величайшего гения, о котором мы теперь говорим, с его средой. Родись Ленин со своим мозгом, со своей природной одаренностью, столетием раньше, и он проявил бы себя в истории совсем иначе, чем т е п е р ь.

Но Ленин родился в России, — в той России, где десятки лет шла революционная борьба, где вся общественная мысль, и вся общественная воля была с о с р е д о т о ч е н а н а р е в о л ю ц и и, — где уже прошла, с неудачными результатами, эпоха народовольческого героизма, — где уже наступила критика народничества, — где появился, правда, немногочисленный, но сразу же вступивший в революционную колею промышленный пролетариат, — Ленин родился в э т о й России, и его гений сразу же нашел для себя и ту задачу, к которой он был предназначен, и все благоприятные условия для ее разрешения. Эта задача была не российская, а мировая, но зато и во всем мире, вместе с войной 1914 г., наступил черед для ее разрешения.

И вот гений Ленина развился, расцвел, а затем и достиг своих высших ступеней, прежде всего, во взаимодействии с революционной Россией, вообще, и с ее революционным пролетариатом, в частности. В русском пролетариате Ленин нашел себе

точку опоры, или, лучше сказать, он целиком слился с русским пролетариатом в его стремлении к революции, притом социальной революции. Ленин всем своим нутром хотел того же, чего хотел всем своим существом русский пролетариат, — они хотели вместе — страстно, решительно, актуально: похоронить капитализм, освободить рабочих от эксплуатации и насилия.

Ленин и русский пролетариат были конгениальны. Они имели одну натуру, одно жизнеощущение, одно волеустремление. Они были необходимым дополнением друг для друга. Они вместе составляли одно. Человеческая масса не может действовать в распыленном виде. Ей нужна организация, ей нужно руководство, ей нужен вождь. Русский пролетариат, чтобы действовать, — и действовать успешно, — нуждался в гениальном организаторе и вожде. Таким организатором и вождем стал для него Ленин. В свою очередь, Ленин, без пролетарской массы, — прежде всего без русской пролетарской массы, — со всей своей гениальностью, был бы только мечтателем и прожектером. Его необъятные силы или остались бы втуне, или разбивались бы безрезультатно о стенку. Ленин сделал свое великое дело только благодаря русскому пролетариату, или, вернее, русский пролетариат сделал свое великое дело при содействии Ленина.

Но в соотношении Ленина со средой нужно указать не только этот ближайший, но и более отдаленный круг: не только пролетариат, но и крестьянство. Русский пролетариат гораздо ближе к крестьянству, чем пролетариат стран, промышленно его опередивших. Русский пролетариат, не в малой мере, полукрестьянский, почти всегда сохраняющий ту или иную связь с деревней. Русский пролетариат плавает среди крестьянского моря. Это, конечно, определило собою и тот факт, что марксизму предшествовало народничество. Революционное движение народилось в России тогда, когда здесь пролетариата еще не было, и вот, естественно, оно стало народническим. Марксизм и народничество были противоположны, как совокупность идей о революции, но они были тесно связаны между собою самой революционной традицией. Символом этой связи является то, что Александр Ильич Ульянов был родным братом Владимира Ильича Ленина. Революционная мысль Ленина была устремлена на пролетариат, она была чисто марксистской, но она не упускала из виду крестьянства. Крестьянство было тем вторым кругом, на который была ориентирована личность Ленина, и Ленин, благодаря своей связи с крестьянством, стал творцом не просто пролетарской, но рабоче-крестьянской революции, — революции, в которой инициатором и предводителем был пролетариат, но в которой верным помощником пролетариату было крестьянство. И мы теперь видим, яснее, чем это было до Ленина, что без союза между рабочим классом и крестьянством победоносная социальная революция, вообще, невозможна. Надо, чтобы рабочий класс, беря на себя инициативу революции, тотчас же

удовлетворил и крестьянство; и надо, чтобы крестьянство сразу же поняло, что его интересы могут быть удовлетворены только рабочим классом.

В России это так и произошло: объективно, потому что такова сущность самой социальной революции — она должна удовлетворить всех трудящихся, — субъективно, потому что это давно понял Ленин, а он понял это, потому что жил в крестьянской стране, потому что в его мысли о роли крестьянства в революции совершилась законная смычка между революционным народничеством и революционным марксизмом. Осуществил эсеровскую аграрную программу не Чернов, а Ленин.

Но гений Ленина, поскольку он, в своей исторической роли, стал не русским, а мировым гением, опирается не на одну Россию, а на весь мир. Он сформировался, выкристаллизовался, как вождь социальной революции в России. Но когда это уже произошло, когда его фигура предстала перед целым светом, он был, если можно так выразиться, усвоен, присвоен себе пролетариатом и крестьянством всего мира. Все угнетенные на всем земном шаре произносят теперь имя Ленина. Процесс его превращения в величайшего мирового гения еще не завершен, он еще совершается. Но он предрешен: предрешен тем фактом, что задача во всем человечестве одна — это задача освобождения трудящихся; что трудящимся нужен мировой вождь для победоносного осуществления этой задачи; что такой вождь уже явился в лице Ленина. И вот, для силы исторического процесса, — для первенствующего значения в нем именно социальной среды, а не отдельного человека, хотя бы и самого гениального, — характерно, что мировое значение Ленина вырастает, и окончательно вырастет, уже после его смерти. Он лежит в гробу, хотя и сохраненный, но неподвижный; его мозг разрушен, его мысль перестала работать, его уста молчат, а его гений все растет и растет, и ареной для него все больше и больше становится весь мир. Почему это? Потому что исторически выдвигает и создает гения среда, которая, в данном случае, представляет собою уже все человечество или, за вычетом незначительного эксплуататорского меньшинства, весь рабочий класс и все крестьянство всего земного шара.

И как показательно в этом отношении мнение о Ленине самих трудящихся! Недавно была опубликована песня о Ленине, которую поют на Волге тамошние пришлые (из Туркестана) бедняки-рабочие. Ленин в ней уже вполне осознан и оценен как друг и избавитель от вековечного ига всех трудящихся и угнетенных, — и кончается песня так:

«Правда ли, что Ленин не умер, и никогда не умрет?
Правда!».

Да, Ленин лежит в гробу, но он не умер и никогда не умрет. Наоборот, он только теперь начинает жить в подлинном,

мировом масштабе. Он только теперь, вместе с историческим процессом, превращается в действительного пророка, вдохновителя и руководителя мировой революции. Его личность растет вместе с историей. И когда «история» совершится, — когда трудящиеся всего мира свергнут иго капитализма, уничтожат эксплуатацию, насилие и обман во всем человечестве, — когда «новое» человечество, совершив свою величайшую и труднейшую задачу, начнет взвешивать, как же она совершилась и кому в ней принадлежат какие заслуги, тогда оно окончательно и бесповоротно констатирует, что был такой человек, который сделал для освобождения человечества больше чем всякий другой: это — Ленин. И так как для всех будет ясно, что совершенная задача была самой главной, и величайшей, и труднейшей из всех, то и тот человек, который совершил для нее больше всех других, будет признан величайшим мировым гением. И будет это не только бесспорно, но и для всех очевидно.

ГЛАВА XVII.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОЙ АРМИИ.

Октябрьская революция была совершена русскими трудовыми массами, рабочими и крестьянскими. По случаю войны эти массы были вооружены так, как они не могли бы быть вооружены ни в какое другое время. Поэтому сопротивляться им было невозможно. Их можно было только обмануть. Но во главе их стала партия, вмещавшая в себе всю сознательность и всю энергию передовых слоев пролетариата, и она охранила их от обмана.

Тем не менее, несмотря на это сочетание исключительно благоприятных условий, Октябрьская революция встретила перед собою, — и не могла не встретить, — величайшие, неслыханные трудности.

Первая из этих трудностей проистекала из самого военного положения. Советская власть не хотела воевать, она заранее провозгласила, что не будет воевать, но, ведь, против нее стояла Германия, в которой империализм и милитаризм были в полной силе. Германия, наоборот, хотела воевать, и хотела воевать ради захватов на Востоке. Не могла она также быть благоприятной самой Октябрьской революции. Она ее желала, но вовсе не для того, чтобы ей покровительствовать, а для того, чтобы воспользоваться военным ослаблением России. Правда, Германия в военном отношении была почти-что целиком связана на Западе, но наступать на беззащитную Россию она могла с достаточным успехом. Чтобы обеспечить себе мир, Советской власти надо было не просто перестать воевать и отпустить солдат по домам, а надо было, при этих условиях, все же заключить формальный

мир с Германией, т.-е. согласиться на условия, которые зависели не от нее, а почти целиком от одной Германии.

Известно, какие разногласия и трения, — даже внутри самой партии большевиков, — вызвал вопрос о мире с Германией. Германия, как и следовало ожидать, предложила Советской власти до последней степени тяжелые и унизительные условия. Советская власть попробовала на них не согласиться, провозгласив формулу: нет мира, но мы и не воюем. Но Германия отнюдь не усвоила себе этой формулы, а стала наступать. Наступление это происходило без всяких препятствий со стороны русской армии. Тогда раздались предложения: объявить «революционную» войну, призвать народ к защите «революции». Но этому решительно воспротивился гений Ленина, ибо он с ясностью видел, что это невозможно и неосуществимо. Народ слишком устал от войны; старая армия, в сущности, уже вся развалилась. Наконец, просто невозможно так круто поворачивать целый народ с одного курса на другой. Сейчас говорили: мир, — мир непременно, фактически, несмотря ни на что, — и сейчас же снова объявлять войну, хотя бы и на другом основании. Ни сознание, ни волю народа нельзя ломать так круто. Народу, чтобы действовать, чтобы собрать свою энергию, надо было опомниться, притти в себя, осмотреться, разобраться в событиях. Ленин все это глубоко понимал, так же, как он глубоко понимал и всю неустойчивость тогдашнего международного положения.

Он настаивал на том, что мир надо заключить во что бы то ни стало, на каких угодно условиях, во-первых, ради народа, ради того, чтобы дать народу «передышку», а, во-вторых, и потому, что все равно этот мир скоро потеряет всякое значение в силу дальнейших событий. То и другое, как мы теперь видим воочию, было глубоко прозорливо и еще раз показало, что Ленин видит вещи, которых не видят другие.

В особенности гениально было указание Ленина на необходимость для народа «передышки». Ленин хорошо понимал, что «социальная революция» потребует от народа величайшего напряжения сил, и это после того, как этот народ три года воевал и уже несколько месяцев провел в лихорадке подготовительных к своему главному делу революционных событий. Теперь должна была настать еще неслыханная революционная «страда» в защиту Октябрьской революции, и Ленин ясно видел, что силам народа надо дать отдых, «передышку», что на неслыханном трудном революционном пути, перед его главными трудностями, надо сделать «привал», «дневку», дать людям отдохнуть, расправить свои члены, собрать свои силы.

И мир с Германией был заключен, заключен, естественно, на еще худших условиях, чем немцы предлагали раньше. Это был «похабный» Брестский мир, избавивший Советскую власть, однако, от военных забот. Германия должна была вся уйти в войну с союзниками, союзники должны были все свои силы

сосредоточить против Германии. Октябрьская революция, руководимая большевиками, оказалась на некоторое время предоставленной самой себе внутри России.

Таким образом, гений Ильича избавил русскую революцию от внешних военных забот и от траты сил на борьбу с Германией. Но зато Советскую власть сейчас же обступили величайшие трудности внутри страны.

Побежденная буржуазия, низвергнутые помещики не могли, конечно, примириться с потерей своих богатств и своих привилегий. Против революции должна была выступить контр-революция, на немедленную очередь должна была стать «гражданская война».

Опираясь на миллионы вооруженных рабочих и крестьян, большевики сравнительно легко захватили власть. В октябре им невозможно было сопротивляться, во всяком случае, они с легкостью побеждали всякое сопротивление. Но первое, что они должны были сделать, — это распустить, демобилизовать старую армию. Уже через несколько месяцев от этой старой армии не осталось и следа. Солдаты разошлись по домам, а офицеры... офицеры, естественно, были не за революцию, а против нее. Советская власть, владея государственным аппаратом, оказалась лишенной правильной военной силы. К ее услугам были только «революционные» кадры, в собственном смысле слова, т.-е. сама партия и близко примыкающие к ней рабочие и военные элементы, из последних, главным образом, матросы. Из этих элементов Советская власть могла только кое-как сформировать Красную гвардию, но Красная гвардия — это экстраординарная, а не регулярная военная сила. Существовать же государству без правильной, постоянной, хорошо организованной военной силы невозможно.

Правда, контр-революция в первое время тоже была дезорганизована. Но она скоро стала организоваться. Она стала захватывать власть на окраинах: на Дону, в Сибири, на Украине, в Архангельске и пр. Под предлогом самоопределения отдельных областей, там стали образовываться «самостоятельные правительства», которые отлагались от Советской России и прежде всего накопляли у себя военную силу, чтобы двинуть ее затем против Советской власти... Советская власть оказалась окруженной этими враждебными силами, которые к тому же энергично поддерживались и деньгами, и вооружением, со стороны «союзников». К этому присоединились еще непрерывные заговоры и восстания внутри самой Советской России (в Ярославле, в Казани и пр.), а также присоединилось полу-иностранное, полу-русское выступление против Советской России чехословацких военных сил. Чехо-словаки стремились на родину, но они вошли в тесный контакт с эсерами — «учредиловцами», став точкой опоры для организации эсеровских и меньшевистских сил, и столкновение с чехо-словаками, борьба с ними,

стала первым серьезным военным испытанием для Советской России.

И вот, после недолгой «передышки» от военной грозы со стороны Германии, началась в Советской России внутренняя страда, началась беспощадная «гражданская» война, в которой противники Советской России бешено бросали против нее все, что они могли. Советской России пришлось одновременно и защищаться, и нападать. Защищаться, когда на нее нападали, переходить в наступление, как только она успевала отбить нападавших, потому что невозможно было допустить расчленения России на части, надо было утвердить Советскую власть на всем пространстве России, ибо иначе она никогда не могла бы чувствовать себя безопасной.

Первое время, в особенности, подавление отдельных восстаний производилось импровизированными или случайными военными силами. Но уже борьба с чехо-словаками показала, что Советской России надо строить регулярную, постоянную, правильно-организованную Красную армию. Это было первое, большое, государственное дело, которое Советская республика должна была осуществить, и притом без всякого промедления.

Но легче это было сказать, чем на самом деле выполнить. Была тут одна трудность, которая казалась непреодолимой, которая способна была привести в отчаяние. Ведь, в основе правильной организации армии лежит командный состав, офицерский корпус. Где его взять для «Красной армии»? Создать новых, «красных» командиров в несколько месяцев невозможно, для этого нужны годы. А воспользоваться старым офицерством было более чем рискованно. Ведь, оно почти все сплошь было контр-революционным... Положение было почти безвыходное. Невозможно же было против правильно организованных, иногда почти сплошь составленных из офицерских кадров, контр-революционных воинских частей двигать нестройные, почти без всякого командования, человеческие массы.

Однако, выход был необходим, и он был найден. Строительство регулярной «Красной армии» началось немедленно. В основу его была положена, во-первых, подготовка собственных командных кадров классового состава, т.-е. из рабочих и крестьян. Но это была мера длительная, она не могла дать немедленных результатов. Поэтому, во-вторых, было произведено принудительное привлечение на военную службу старого офицерского состава. Последнее, как уже сказано, было до последней степени рискованно. Но — что же делать? — Пришлось рисковать, парализуя этот риск учреждением института военных комиссаров. Над старым офицерством были поставлены большевистские военные комиссары. Старый офицер должен был «технически» командовать, а «политический» надзор над ним держал комиссар. Конечно, это была система не только чрезвычайно трудная в исполнении, но и не всегда надежная. Если даже предполо-

жить, что «комиссар» умел политически изолировать «офицера» от всяких связей с контр-революцией, то все же свою политическую злостность офицер мог проявлять именно в «техническом» командовании. Значит, комиссару надо было вмешиваться и в последнее, а, ведь, он в нем чаще всего был некомпетентен. Так эта система проникала армию «раздвоением», которое могло быть не только «вредным» для дела, но прямо «опасным»...

Да, все это так. Но нет ничего, чего не могла бы преодолеть человеческая энергия. И эта энергия, ныне уже вошедшая в пословицу, «большевистская» энергия все это преодолела. Конечно, было не мало «провалов», не мало измен со стороны старого, кадрового офицерства, эти измены наносили нередко огромный ущерб военной борьбе, но ущерб исправлялся, раны залечивались, а «армия» все-таки «строилась», крепла, превращалась в настоящую военную силу, грозную и надежную. «Комиссары» научились разбираться и в техническом командовании, из их среды нередко вырабатывались настоящие военные командиры, крупные и талантливые. А с другой стороны, и старое кадровое офицерство привыкало добросовестно выполнять свой долг. Из его среды также выделились люди, служившие Советской республике не за страх, а за совесть, иногда герои, которые умирали за Советскую Россию и на полях сражения, и в белогвардейских застенках (ген. Николаев).

Как бы то ни было, но в течение нескольких лет, в пылу непрерывных боев с внутренними контр-революционерами и с помогавшими им иностранными военными силами, нередко претерпевая тяжкие неудачи, но и одерживая решительные победы, Красная армия была построена, как регулярная военная сила, ни в чем не уступающая другим армиям, а во многом и их превосходящая.

Это строительство регулярной военной силы, на которую теперь прочно опирается Советская республика, есть по порядку первое крупное внутреннее дело, исполненное Советской властью. И не только первое, но и самое трудное. Организация военной силы есть то же самое, что и всякая другая организация, но только с той разницей, что здесь на первом плане стоит сам человеческий материал, и притом этот человеческий материал надо организовать для самого трудного человеческого дела: для дела *жизни и смерти*. Поэтому в военной теории уже издавна признавалось, что в военном деле имеет главное, первенствующее значение так называемый *нравственный* фактор. Конечно, важно вооружение, важна техника, важны все мертвые принадлежности военного устройства, но важнее всего сам *живой* человек: куда он смотрит, о чем он думает, как он относится к той цели, которой служит армия. И вот именно этот нравственный фактор и был главной опорой построения Красной армии, главным рычагом успеха этого строительства.

Мы уже видели, что для устройства Красной армии пришлось, в значительной мере, воспользоваться старым, кадровым офицерством, в массе враждебным Советской республике. Чтобы обезвредить это старое, контр-революционное офицерство, над душой ему поставили военных комиссаров. Но эта мера была бы совершенно напрасной и тщетной, если бы красноармейская масса нравственно тяготела к контр-революции, а не к революции, — к офицерам, а не к комиссарам. При этих условиях организация «красной» армии была бы невозможной, она оставалась бы «белой», и самые решительные, и самые жестокие «комиссары» ничего тут не могли бы поделать.

Но красноармейская масса — рабочая и крестьянская — была за революцию, за «большевиков», и это давало такую широкую, такую прочную базу для строительства подлинной революционной военной силы, что теряло значение даже такое обстоятельство, что непосредственное «командование» технически находилось в руках контр-революционных офицеров.

На этой широкой базе преданности масс той основной цели, которой служит Красная армия, и строилась ее постепенная организация, ее постепенное военное усовершенствование. Для этого надо было только просвещать, углублять политическое сознание красноармейских масс, и не только вообще, но и в применении к тем частным обстоятельствам, среди которых Красной армии приходилось осуществлять свою боевую деятельность. Все это с великой энергией и с огромным уменьем делалось Коммунистической партией. Политпросветительная работа была одной из самых главных, одной из самых основных в Красной армии, и она давала самые лучшие результаты. Красноармейская масса поднималась умственно, а в нравственном отношении она все больше скреплялась с Советской Россией. Она понимала, что она сражается, выносит лишения, жертвует жизнью за свое же собственное дело, за дело совобождения труда от вековой эксплуатации. На этой почве могущественно отлагалось то, что составляет самую душу армии, — ее дисциплина. И эта дисциплина в Красной армии была самого высокого качества: она была не внешней, а внутренней, не принудительной, а добровольной, не «начальнической», а «товарищеской», не «индивидуальной», а «коллективной». Она делала из всей армии не внешнее техническое устройство, а настоящий нравственный организм.

А тем временем стали все в большем количестве вливаться в Красную армию и единосущные ей по духу «красные» командиры. Работала целая сеть военных образовательных учреждений разного типа, вплоть до военных академий, с академией генерального штаба во главе, и они регулярно, из года в год, выпускали все новые и новые шеренги «краскомов», которые вливались в воинские части и делали там ненужным старое офицерство.

В настоящее время дело «пролетаризации» командного состава Красной армии, можно сказать, закончено. Командный состав ее, — и высший, и низший, — теперь вполне надежный и единосущный всему ее организму. В настоящее время изжита и та система раздвоения на «комиссаров» и «командиров», с которой началось строительство Красной армии.

Строительство Красной армии теперь уже дело законченное, выполненное. Советская республика имеет к своим услугам такую военную силу, которая не только не хуже, но, надо думать, лучше, чем в других странах. Слабым, и притом непоправимо слабым местом армий капиталистических стран является то, что в смысле «нравственного фактора» они совершенно не могут опираться на массу населения. Они тоже должны быть «классовыми», но классовыми в смысле буржуазии, капитализма. Поэтому они должны быть «добровольческими» и не могут быть «многочисленными». В них опасно вводить, посредством всеобщей воинской повинности, крестьян и рабочих, потому что эти крестьяне и рабочие всегда будут настроены против капитализма.

Насколько серьезно приходится считаться капиталистическим странам с этой опасностью, можно видеть на примере Франции. Франция, вынужденная иметь для поддержания своего милитаризма весьма многочисленную армию, прибегает в немалой степени к формированию «цветнокожих» воинских частей из туземцев Африки и пр. При этом рассчитывают на «бессознательность» цветных войск и на то, что их можно удержать в повиновении чисто внешними мерами жестокости. Иными словами, это расчет на о т с у т с т в и е в таких войсках «нравственного фактора», на то, что они в этом отношении будут подобны прежним наемным войскам. Но это расчет очень и очень ненадежный. Этот «нравственный фактор» в цветных войсках несомненно появится, появится очень скоро, и он будет целиком против капитализма, притом не только потому, что он капитализм, но и потому, что он капитализм иностранный. Эти цветные войска сделаются лучшей опорой для будущих колониальных восстаний.

Таким образом, формирование прежних массовых армий, основанных на всеобщей воинской повинности, становится для капитализма все более недоступным. И он это хорошо понимает. Он все более возлагает свои надежды на военную «технику». Ради этого он создает тщательный подбор людей в таких отделах военной силы, как флот, авиация, артиллерия и пр. Но, во-первых, и здесь в очень больших размерах этого не сделать, — не могут же обслуживать всего этого одни буржуазные сынки, они, ведь, не очень большие охотники до разных «служб», тем более военной, — а, во-вторых, «техника» есть дело наживное, она прежде всего зависит от финансовых средств, а в этом отношении вовсе уже не так далеко то время, когда Россия сравняется в средствах с другими странами.

Словом, можно считать, что уже теперь в военном отношении СССР нисколько не уступает другим странам. Они превосходят его техникой, вооружением, но зато он превосходит их «духом», «нравственным элементом». Красная армия и более сознательна, чем другие, и более других предана своему «государству».

Задача создания аппарата военной з а щ и т ы для Союза Советских Республик, а в будущем — и орудия военной помощи мировой социальной революции, когда она начнется в других странах, эта задача целиком выполнена. Красная армия продолжает работать над своим усовершенствованием, но это уже работа т е к у щ а я, а не та э к с т р а о р д и н а р н а я, которая требовалась для того, чтобы ее создать. Эта последняя уже вся сделана среди грома и бури революции и гражданской войны, под натиском иностранных интервенций. И не только сделана, но и одновременно испытана, испытана с полным успехом. Красная армия имеет за собою немного лет существования, но эти годы заполнены бесчисленными военными подвигами. Среди них имеются такие, совершенно исключительные, как Перекоп, как Кронштадт. Для Красной армии не оказалось ничего невозможного. Она выполнила все задачи, какие только перед ней возникали и какие надо было разрешить в пользу Советской России.

С социологической точки зрения, Красная армия есть полное ручательство за весь дальнейший успех рабоче-крестьянского экономического, социального и политического строительства. Организация армии есть труднейшее организационное дело. Кто выполнил его, выполнил на пустом месте, разрушив прежнюю военную организацию, при яростных нападениях со всех сторон, — тот наверное выполнит и все остальное. Ибо все остальное легче, чем это, да и по порядку военная защита есть п р е д п о с ы л к а всего остального. Если бы военная защита не удалась, то крахнуло бы и все остальное.

Но военная защита удалась Советской республике, и удалась самым блестящим образом. Так же блестяще удастся и все остальное.

Теперь Красная армия является прочной опорой существования Советской России. Нечего теперь и думать уничтожить Советскую Россию вооруженной рукой. Советская Россия является одной из самых сильных военных держав. Она стала, как пролетарское государство, среди враждебных ей буржуазных государств, и стоит твердо, ничего не опасаясь.

Международное положение Советского Союза в настоящее время одно из самых блестящих. Советская дипломатия уже одержала целый ряд крупнейших политических успехов. Она имеет теперь возможность на всем громадном азиатском Востоке вести свою собственную политику, направленную против такого мирового колосса, как Англия. Но искусство этой политики

принадлежит т. Чичерину, а самая ее возможность и ее сила принадлежит Красной армии.

Благодаря Красной армии, Советский Союз не только существует сам, но и готовит могилу мировому капитализму.

Если взять вопрос о Красной армии в перспективе марксистской теории социальной революции, то придется сказать так: марксистская теория, настоящая марксистская теория, та, которая преломилась в Ленине и в ленинизме, считает, что сломить господство капитализма и буржуазии можно только вооруженной рукой, только военной силой. Но в первый момент— в момент восстания — эта сила может быть только иррегулярной, со всеми невыгодами этого положения. Хотя бы это были даже восставшие солдаты, как это было в России в феврале 1917 г., все-таки в первую минуту они оказываются в распыленном, иррегулярном состоянии, потому что они теряют при этом свой офицерский состав. Но затем, раз социальная революция где-нибудь побеждает, она, конечно, прежде всего должна продолжить свой военный, боевой момент в том смысле, чтобы поднять его на высоту вполне правильного, вполне регулярного устройства.

Это и сделала Советская Россия. Она создала себе Красную армию. И этим она переместила социальную революцию, как вооруженную борьбу, как битву, во второй высший момент. Социальная революция, как мировой процесс, имеет теперь к своим услугам правильно устроенную, регулярную боевую силу. Эта боевая сила стоит сейчас на страже и прочно оберегает ту первую страну, которая уже произвела у себя социальную революцию, но она имеет коренное и основное значение и для всей мировой революции, для ее дальнейшего продолжения и хода. Это уже выкованное и имеющее колоссальное значение в начавшемся с 25 октября 1917 г. процессе мировой социальной революции звено. Красная армия есть не только армия российская, или теперь, правильнее сказать, союзная, но и мировая революционная армия. Она — пока идейно — связана не только с СССР, но и с Коминтерном.

Она знает, куда ведет пролетарская политика: от Советской России к мировой социальной революции. От СССР — к Коминтерну.

ГЛАВА XVIII.

СТАРАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Созданием Красной армии Россия совершила то главное дело, которое нужно было не только ей самой, но и начавшейся мировой революции. Красная армия обеспечила существование Советской России и этим самым обеспечила также и непосредственное продолжение мировой революции. В процессе совер-

шающейся мировой революции Красная армия есть огромный, решающий успех. Таким образом, главная коренная трудность такого огромного дела, как мировая революция, здесь преодолена.

Но Советской России, которой история дала роль авангарда мировой революции, пришлось преодолевать на своем пути не одни только военные трудности, а и целый ряд других, и очень своеобразных. Пролетарская революция, чтобы уничтожить эксплуатацию трудящихся и насилие над ними, должна уничтожить и все те идеологические обманы, которыми эта эксплуатация и это насилие прикрываются: должна уничтожить «свободу, равенство и братство»! А это поднимает против нее всю интеллигенцию.

При классовом господстве буржуазии ни «свободы», ни «равенства», ни «братства», конечно, нет и не может быть. Есть только ширмы, на которых написаны эти торжественные слова, а позади них та пружина — экономическое господство собственников, — которая совершенно уничтожает всякое их значение, обращает их в прямую противоположность.

Но в том-то и дело, что в буржуазном обществе обман действует, ширмы принимаются за действительность, и когда восставший пролетариат начинает убирать их со сцены, когда он на место этих лицемерных и отвратительных в своей лицемерности сентиментальностей ставит борьбу, — одну решительную борьбу за свою победу, за удержание захваченной власти в своих руках, — когда он провозглашает свою диктатуру, т.-е. военное положение в самом суровом значении этого слова, каким оно всегда и везде бывает, — тогда поднимается вой, и не только со стороны буржуазии, но и со стороны интеллигенции. Мы бы даже сказали: меньше со стороны буржуазии, чем со стороны интеллигенции. Ибо буржуазия, в сущности, хорошо знает цену как своему «капиталу», так и своим «свободам». Она просто пользуется «обманом», не испытывая при этом по существу никакой особой нежности ни к «свободе», ни к «равенству», ни к «братству», ни вообще к каким бы то ни было торжественным эвфемизмам. Но не то интеллигенция! Интеллигенция верит в эти эвфемизмы, она принимает их за чистую монету. Она хочет «утверждать» их при всяких обстоятельствах. Ей подавай эти «самоценности» — да и только! И когда буржуазная «демократия» подает их ей со своей пружинкой — с «священным» правом собственности, т.-е. в совершенно искалеченном, изуродованном, исфальшивленном виде, она на это закрывает глаза и она довольна, потому что это обеспечивает и ей, на горбе трудящихся и под крылышком буржуазии, беспечальное существование. А когда большевики провозгласили: борьба, диктатура, — ни свободы, ни равенства, ни братства, ни демократии, ни всеобщего голосования, до тех пор, пока не одержана полная и окончательная победа над эксплуататорами, — то вся интеллигенция встала на-дыбы и неистово завыла: вар-

вары, насильники! уничтожают «культуру», отрицают «гуманность», посягают на «все лучшее», что есть в человечестве! Надо сопротивляться им не во имя капитализма, а во имя «культуры», «гуманности», «человечности», во имя всего «лучшего» и «святого», что есть в человечестве.

И интеллигенция — вся целиком, кроме той небольшой части, которая уже раньше примкнула к большевизму, — встала враждебной стеной против «большевиков», против восставших рабочих и крестьян, против пролетарской революции. Получился один общий интеллигентский фронт, начиная от «социалистов» — меньшевиков и эсеров — и кончая не только кадетами и либералами, но и самыми заскорузлыми «правыми», вплоть до «интеллигентов» в рясах, возглавлявшихся патриархом Тихоном. Религия вошла в моду среди интеллигенции. Петроградская старая профессура праздновала свои университетские годовщины, начиная их, уже не по велению начальства, а по собственному произволению, с митрополичьих молебнов, а один из «молодых» профессоров, представитель кафедры «социологии», бывший активный «социалист-революционер» (Сорокин), провозглашал в своих речах, обращенных к молодежи, что своими учителями и наставниками она должна почитать Сергия Радонежского и Иосифа Волоколамского. И это все происходило и говорилось еще в 1922 г. [1]

---

[1] Изумительным исключением из всей старой интеллигенции, по отношению к Октябрьской революции, был «вещий» и «глубокий» Блок. Уже в 1918 году он написал свою «большевистскую» поэму «Двенадцать» — поистине гениальное произведение, стоящее на высоте открывшихся неслыханных событий, облеченное в гениально-соответствующую им форму, проникнутое не интеллигентским, а самым подлинным, низовым, революционно-пролетарским настроением (только в самом конце поэмы — в строках об «Исусе Христе» — прорвалось «интеллигентское» настроение Блока). Блок здесь «принимает» и «воспевает» Октябрьскую революцию. И он вместе с тем клеймит отрицательное отношение к ней «интеллигенции». Вот эти меткие, относящиеся сюда строки:

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.
А это кто? — Длинные волосы.
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть писатель —
Вития...

В своем дневнике того времени (январь 1918 г.), недавно опубликованном в журнале «Звезда» (1924 г., № 2), он писал об интеллигенции и ее представителях еще решительнее и резче: «Интеллигентные» люди, — читаем мы здесь, — проповедывавшие революцию, «пророки революции» оказались ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели, буржуазные сволочи... На деле вся их революция была кукишем в кармане царскому правительству... Это — ватер-клозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский — в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу.

Интеллигенция встала в оппозицию Октябрьской революции. Она от нее отшатнулась и отвернулась. Она соединилась против нее с реакцией и контр-революцией. И это было обстоятельством, создавшим очень большие затруднения для пролетариата и большевиков. Не говоря уже о том, что даже «социалисты», меньшевики и эсеры, стали по другую сторону баррикады в гражданской войне и тем сильно увеличили, особенно в начале, военную мощь контр-революции, но присоединение интеллигенции к контр-революции создавало особую нравственную атмосферу, выгодную для контр-революции и крайне тяжелую для большевиков. Контр-революция этим превращалась в «праведника», в спасителя «культуры», наконец, в защитника «самостоятельности» и «достоинства» России, а революция — в варвара, разрушителя, погубителя России.

Нужна была со стороны пролетариата вся его стихийная уверенность в правоте своего дела («крестьянская» психология, как мелко-буржуазная, в этом отношении, конечно, гораздо менее устойчива), а со стороны боевого авангарда рабочего класса — большевистской партии — вся ее сознательная твердокаменность, чтобы устоять в этой моральной атмосфере, и не только устоять, но и дать интеллигенции —

«Разочаровались в своем народе» — X. (так мне говорила его дочь!) и г-жа Z. «Немецкая демонстрация» (г-н Батюшков, Ф. Д.)... Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа. А ведь это интеллигенция! Или — и духовные ценности — буржуазны? Ваши — да... Как буржуи, дрожите над своим карманом».

Все это до конца резко, потому что писалось в дневнике, но зато тем более искренно.

Что касается отношения самого Блока к Октябрьской революции, то оно более, чем положительное. Она его потрясла, всего перевернула. В дневнике он пишет: «Ко всему надо как-то иначе, лучше, чище отнестись». И он приводит там же, в дневнике, стихи А. Белого:

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня.
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!

В оценке значения Октябрьской революции, не российского, а мирового, Блок обнаружил прозорливость не меньшую, чем у самого Ленина. В том же дневнике, т.-е. еще в начале 1918 г., он пишет, обращаясь к Зинаиде Гиппиус: «Не знаю (или знаю), почему вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло бы быть во много раз больше. Неужели вы не знаете, что «России не будет», так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?».

Прозорливость Блока — не социологическая и мыслительная, а художественная и интуитивная, но ее сила тем более поразительна. Она сразу связала «начало» — октябрьскую революцию — с «концом»: уничтожением «государств» и созданием единого человечества.

а, в особенности, ее «социалистической» части — всю ту сдачу, которой она заслуживала. Большевики в этой моральной атмосфере не защищались, нет, они нападали. Они стали клеймить интеллигенцию презрением и позором. В частности, всех «социалистов» они провозгласили социал-изменниками, социал-предателями.

И это было совершенно правильно. Конечно, в этом моральном наступлении на интеллигенцию, в этом ее клеймлении позором за измену интересам трудящихся, за предательство своих прежних социалистических идеалов, была нередко субъективная несправедливость. Конечно, многие из «интеллигентов», которые отшатнулись от Октябрьской революции, сделали это в искреннем ужасе от уничтожения ею «свободы», от разрушения ею «культуры», от ее «жестокости» и «бесчеловечности», — но этих «субъективных» оговорок большевикам некогда было делать, они творили не моральный суд, а свое великое и страшно трудное революционное дело, и им надо было считаться исключительно с объективной стороной дела. А с объективной стороны, в ходе социальной революции, отношение к ней интеллигенции было несомненной изменой трудящемуся народу, несомненным предательством социалистических идеалов и революционных традиций интеллигенции.

Конечно, «искренних» интеллигентов, может-быть, было даже большинство, но они омертвели в доктринерстве, потеряли чутье к жизни, или, как символически выражался Блок, не обнаружили музыкального слуха к событиям. «Музыка где у вас, тушинцы проклятые?»—восклицает он в дневнике. «Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, этическое на вашем языке) — где оно у вас?».

Его у «искренних» интеллигентов не оказалось. Этим искренним интеллигентам, иногда глубоко добросовестным и высоко образованным, лучшую характеристику дал Джэк Лондон в своей личной «исповеди» («Как я смотрю на мир»). Он там писал: «Я нашел в американском буржуазном обществе некоторых чистых и благородных людей, но, за редкими исключениями, они не были живыми. Если они не жили гнусной жизнью, если они не были падалью, то они все-таки были лишь ходячими мертвецами, чистыми и благородными, напоминавшими хорошо сохранившиеся безжизненные мумии. В этом отношении, — прибавляет Джэк Лондон, — я хочу особо отметить встреченных мною профессоров, людей, осуществлявших в своей работе в разлагающемся университете «бесстрастное искание бесстрастной истины». [1] Любопытно, что все это было написано задолго до войны и революции, в 1905 г.

---

[1] Заимствую из журнала «Clarté», издаваемого Барбюсом, № 35, от 5 мая 1923 года.

Таким образом, «субъективно» большевики, пожалуй, и обижали этих добросовестных «мертвецов», но «объективно» это было необходимо, во-первых, ради пользы дела, потому что надо было бороться с «ложью» их «иллюзий», а во-вторых, и потому, что это надо было для последующего вразумления этих самых людей. Ради будущего — с самого начала нужна была самая резкая, самая беспощадная постановка вопроса. Полная формула отношения к «добросовестным» интеллигентам должна была бы быть такова: «субъективно» ты очень милый человек, но «объективно» — ты изменник и предатель. Но ради пользы дела, да и для силы вразумления, большевики пропускали первую часть формулы, они прямо говорили: ты — изменник и предатель! И иначе было нельзя. Это было совершенно правильно.

Но, конечно, это вовсе не значит, что большевики такие «звери», что они совершенно не принимают во внимание «субъективной» стороны дела. Пока Плеханов был жив, пока он боролся против «гражданской войны» и за «гражданский мир», — большевики называли его изменником и предателем, а когда он умер, они опять стали звать его своим «учителем», и таковым он останется навсегда в Советской России. Так же точно, пока «интеллигенция» активно боролась против пролетариата и Советов, большевики ее преследовали, и преследовали беспощадно, а когда борьба стала утихать, когда интеллигенция начала «задумываться», а потом и «прозревать», тогда большевики не только перестали «преследовать» ее, но и открыто заявили, что «старое» предается забвению, что надо восстановить «сотрудничество» с интеллигенцией и что всякого интеллигента, который хочет добросовестно работать в Советской России, Советская власть приветствует и принимает как желанного участника в строительстве нового мира.

Но мы невольно забежали вперед, а факт тот, что интеллигенция восемь лет тому назад выступила как сила враждебная Октябрьской революции, и это надо было «преодолеть», потому что это наносило огромный вред новому рабоче-крестьянскому государству не только в «гражданской войне», но и во всей его мирной деятельности, во всем его внутреннем строительстве.

Интеллигенция — носительница знания, науки, технического уменья, опыта управления государственной жизнью и хозяйством, опыта воспитания подрастающих поколений, и проч. Интеллигенция это — «образованный» класс, — это совокупность «спецов», больших и малых, по всем отраслям жизни. Правда, и среди интеллигенции есть «никудышники» и «бездельники», так же как и среди «необразованных» есть самородки более чем пригодные для руководства жизнью, но если взять дело en masse, то приходится сказать, что без интеллигенции очень трудно управлять жизнью, вести хозяйство, наладить

культуру, обеспечить воспитание и проч. А когда интеллигенция становится в этом отношении против «власти», когда она ей не помогает, а, наоборот, противодействует во всем, то положение власти становится очень затруднительным. А между тем интеллигенция заняла почти целиком позицию противодействия Советской власти. Правда, тут уже речь шла не о прямом сопротивлении, а о сопротивлении скрытом, о том, что получило название саботажа, но этот саботаж со стороны интеллигенции был явлением всеобщим и нанес огромный вред Советской России. В чем он заключался? А это очень красноречиво выражается самим этим словом: саботаж. Саботаж — от слова sabots: сапоги. Вместо того, чтобы двигаться, люди топчутся на месте, — вместо того, чтобы делать дело — «дела не делают, но и от дела не бегают». Ходят на службу, сидят там, пишут, отдают распоряжения, но все это «впустую». И не только впустую, но даже «наперекор». Конечно, не прямо — о, нет! — не открыто, но за то постоянно, везде, где можно, где это сходит с рук.

Когда такой саботаж затевают немногие, то его трудно осуществлять, но когда его осуществляют многие или почти все, то с ним бесконечно трудно бороться. Наносить ему удары, это все равно, что рубить воздух: он расступается и тотчас же опять смыкается.

Вот такой саботаж применяла интеллигенция, и притом сплошной массой, по отношению ко всей государственной, общественной и хозяйственной жизни страны.

С началом Октябрьской революции, во всех областях интеллигенция не только прекратила свою творческую, но и самую обыденную, деловую, рутинную деятельность. Она вынула из нее «душу», а вместо нее вложила туда «злорадство» всякому неуспеху, всякой неудаче. Ясно, что из этого получалось, и только и могло получаться. «Большевики» героическими усилиями, экстраординарными мерами старались поддерживать хоть то, что было нужно для войны, для снабжения армии, для вооружения, но как только они отходили в сторону, все опять начинало валиться. А интеллигенция приговаривала: это не мы, оно само; такова уже природа советского строя; надо вернуться к нормальным порядкам, тогда все пойдет как следует...

Естественно, что это до последней степени обострило отношения между пролетариатом и интеллигенцией. Интеллигенция «разочаровалась» в народе, а народ «обозлился» на интеллигенцию.

На почве таких взаимных чувств для интеллигенции, особенно в первое время после революции, было немало «огорчений» со стороны «народа», и конечно, эти «огорчения» принимали нередко вид «гримас» со стороны революции, но Блок совер-

шенно прав, когда он говорит, что этих «гримас» было гораздо меньше, чем можно было ожидать. Ведь, не надо забывать, что в это время все, кто в шляпках и в котелках, были в полной фактической власти «черни». А мы знаем, что когда «чернь» оказывается, в свою очередь, во власти «господ», то с нею совсем не церемонятся, и тут наступают такие «гримасы» контр-революции, перед которыми волосы становятся дыбом. Это, ведь, было испытано не раз в тех местах, которые занимались «белыми».

Этот факт — факт разрыва между интеллигенцией и трудовым народом в момент социальной революции, притом разрыва резкого, обостренного, не только идейного, но и эмоционального, — приходится записать в летописи событий, как факт неизбежный. В настоящее время он уже сильно смягчился, но и до сих пор не изжит до конца. Не могу здесь удержаться от того, чтобы не иллюстрировать его одним случаем, происшедшим не так давно в одной из секций Ленинградского Совета.

Дело происходило в 1924 г. В составе союза работников просвещения образовалась, наконец, секция научных работников. И не только образовалась, но состоялся в Москве всероссийский съезд научных работников, который провозгласил себя стоящим на советской платформе.

Об этом съезде делал доклад, в секции Ленинградского Совета, профессор-коммунист. Доклад был, конечно, составлен в приветственных тонах, на вид выставлялись как заслуги ученых, так и их нынешняя приверженность к советскому строю. Казалось, что этот доклад должен был пройти просто, как информационный, и быть принят к сведению без прений. Но прения возникли. Выступили рабочие — в особенности один, насколько помнится, с Путиловского завода — и стали говорить вещи, не особенно доброжелательные по отношению к ученым. Так как они казались не совсем справедливыми и не вызванными событиями, то против ораторов-рабочих, с чувством обиды, выступило несколько профессоров. Завязалась полемика, не совсем ясная по содержанию, но в достаточной мере эмоциональная. Ораторы-профессора, конечно, превзошли ораторов-рабочих и искусством слова, и тонкостью колких замечаний. Впечатление обмена речей стало склоняться не в пользу рабочих. И, вот, тогда рабочий-путиловец, с большой дозой здравого смысла и понимания происходящего, сразу разрубил завязавшийся узел несколько хитро сплетенных препирательств.

Он сказал: «Нас приглашают приветствовать тот факт, что к Советской власти пришли у ч е н ы е; подчеркивают при этом, что это у ч е н ы е, что надо уважать н а у к у и пр. Я очень готов и приветствовать ученых, и уважать науку, но все же не могу не напомнить при этом, что в то время как ученые делали свою науку, мы, рабочие, делали р е в о л ю ц и ю. И нечего ученым кичиться перед нами и ставить себе в особую заслугу,

что они теперь пришли к нам. Наука — наукой, но одной науки мало, нужна, еще больше нужна революция. А революцию делали не ученые, а рабочие и крестьяне».

Эта речь выявила все: и настроение сторон, и соотношение самих вещей. Настроение рабочих еще хранит в себе — и совершенно справедливо — чувство глубокой обиды за отношение «науки» и «ученых» к революции. «Наука» и «ученые» не только не пришли на помощь «революции» в самую трудную для нее пору, когда рабочие и крестьяне жертвовали для нее всем, когда они изнемогали в борьбе с неслыханными трудностями, но относились к революции, как к бунту «черни», разрушающей «культуру». И вот теперь, когда прошло 8 лет, а революция стоит, — и не только стоит, но и начинает строить свой «новый» мир: свое хозяйство и свою культуру, — «ученые» начинают входить в «кадры» революции, начинают вливаться в ее работу, — спрашивается: кто здесь кого должен приветствовать? кто кому салютовать?

Конечно, «наука» — «революции». Конечно, «ученые» — рабочим.

Ученые работали над наукой — да, это верно. И это великое дело. Но еще более великое дело — революция. А над революцией «ученые» не работали. Они боролись с революцией. Ну, так теперь, если они «присоединяются» к революции, если они хотят науку отдать на службу революции, то это надо делать с соблюдением правильной социальной перспективы. Надо ученым сознать всю свою вину перед «революцией», надо отдать всю дань «уважения» трудовому народу, делавшему революцию, и надо признать «примат» действия над размышлением, примат революции перед наукой. Только после этого можно установить правильные, нормальные отношения между интеллигенцией и трудящимися.

И путиловский рабочий, проникнутый сознанием своего пролетарского, революционного достоинства, правильно все это понял и правильно указал ученым, что им не надо забывать того, что, когда они делали науку, рабочие в это время делали революцию. В этом вся суть, и в этом распределение ролей и заслуг. Между наукой и трудом нужен союз, и хорошо, что он в Советской России начал осуществляться, но, присоединяясь к труду, наука должна делать это не в том смысле, что она «важный барин», не в том смысле, что она оказывает «честь», а в том смысле, что она становится в «ряды», в ряды борющегося, революционного пролетариата и крестьянства, чтобы помочь им довершить их великое дело: охватить социальной революцией не один Советский Союз, а весь земной шар. Кроме того, «наука» (наука в кавычках) должна смиренно склониться перед истинной наукой, перед наукой марксистской, перед наукой, выявившей действительную природу общественных отношений, чтобы признать и ее основной практический вывод, —

тот вывод, который так проникал собою всю натуру Ленина: вывод, что основная задача человечества заключается теперь прежде всего в революции, что на службу этой задаче должно быть отдано все—и все силы человеческие, и все человеческие способности, и все человеческие знания. Никто не должен стоять особо от революции, все должны быть собраны и объединены под революционным, красным знаменем. Все должны перестать быть «белыми» и стать «красными».

ГЛАВА XIX.

НОВАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ.

Вопрос об интеллигенции — это вопрос, с которым Советской власти не только пришлось считаться, но в который она неизбежно должна была и активно вмешаться. Интеллигенция имеет большое значение в общественной жизни. Без интеллигенции строить общественной жизни нельзя.

А между тем старая интеллигенция оторвалась от народа и связалась с контр-революцией. Она не хотела помогать трудящимся в их общественном строительстве.

Ясно, что при таких обстоятельствах Советской власти пришлось поставить перед собой задачу создания новой интеллигенции, поставить ее активно, и даже форсированно, потому что саботаж старой интеллигенции был огромным злом, которое надо было прекратить.

Однако, как ни необходимо было для пролетарской революции, для пролетарского культурного и хозяйственного строительства, создание своей, новой интеллигенции, но взяться за эту задачу вплотную Советская власть могла только через 4 — 5 лет после начала своего существования. Слишком много было у нее забот в эти годы по защите страны и по водворению в ней хотя бы самого элементарного порядка. Впрочем, частично задачу создания новой интеллигенции Советская власть все-таки выполняла и в эти первые годы. Это происходило в непосредственной связи с созданием Красной армии. Для Красной армии нужен был свой, рабоче-крестьянский комсостав. Он создавался в первую голову. Но красные командиры, вместе с тем, составили и первые массовые кадры новой, рабоче-крестьянской интеллигенции.

Однако, эта «военная» интеллигенция, во-первых, обслуживала только армию, а во-вторых, была и не так уж многочисленна. Ведь для такой страны, как Россия, да еще при создании в ней «нового» культурного мира, нужны не десятки, даже не сотни тысяч, а миллионы преданных ей интеллигентных сил. Очевидно, надо было, кроме военной, создать еще и «гражданскую», притом гораздо более многочисленную интеллигенцию. Конечно, Советская власть и в этой области работала также

с самого начала своего существования. Но это была работа партийная, работа по распространению марксистского просвещения среди партийных масс, по созданию партийного пропагандистского персонала. Для этого учреждались партшколы, парткурсы, коммунистические университеты. Отсюда выходила «партийная», «коммунистическая» интеллигенция, которая с избытком поглощалась партийной же работой.

Но вот, когда Советская власть отбилась от тучи внешних и внутренних врагов, когда она создала надежную Красную армию, когда она расширила и углубила тот аппарат, который ей нужен прежде всего — аппарат партийный, — когда перед нею на первый план выступили «мирные» хозяйственные, административные и культурные задачи, тогда Советская власть не эпизодически, не частично, а вплотную принялась и за вопрос о новой интеллигенции.

Основной, регулярный рассадник интеллигенции — это высшие учебные заведения. Конечно, не они одни, но они главным образом задают тон всему остальному. Они центральный пункт, они — ударное место всего народного просвещения и образования. Приняться вплотную за разрешение вопроса об интеллигенции, — это значит приняться за высшие учебные заведения, т.-е. дать им такую постановку, при которой они давали бы марксистское, пролетарское, революционное, а не контр-революционное воспитание молодежи.

И Советская власть, с 1921 г., «принялась» за высшие учебные заведения, и она их перестроила так, чтобы они были рассадниками новой, рабоче-крестьянской интеллигенции.

История с «советской» реформой высших учебных заведений стоит в самом центре вопроса о «новой» интеллигенции. С другой стороны, эта история так характерна для суждения о «старой» интеллигенции, что на ней стоит остановиться подробнее.

Пролетарская революция, — Советская власть — идеологически основана на науке. Она не только не склонна отрицать науку, как она отрицает религию, но, наоборот, наука для нее — высший авторитет и главная культурная ценность. Поэтому, захватив в свои руки государство, разрушив весь его старый аппарат, все его учреждения, она оставила совершенно неприкосновенными только науку и научные учреждения. Академия наук, университеты, институты — все это осталось, как было, и даже больше того: всему этому предоставлена была полная автономия, гораздо более широкая, чем было до революции. Автономия была распространена на весь преподавательский персонал; в нее было включено и студенчество.

Но какую позицию по отношению к пролетарской революции и к Советской власти заняла «ординарная» и «экстраординарная» профессура, весь остальной преподавательский персонал, наконец, прежнее старое студенчество? — Резко отрица-

тельную. Пользуясь своей «автономией», они превратили высшие учебные заведения в настоящие твердыни контр-революционной пропаганды, в рассадники контр-революционного настроения. Поверх законной «автономии», злоупотребляя доброжелательным отношением к ним Советской власти, они создали еще свою особую «сверх-автономию», которая в Петрограде именовалась «объединенным советом». Высшие учебные заведения, с их наличным составом, преподавательским и студенческим, заняли в Советской республике положение какого-то «государства в государстве». Они нисколько не скрывали своего отрицательного отношения к Советской власти и не раз предпринимали выступления, обнаруживавшие это отношение публично. В 1921 г., в Москве, на конференции высших учебных заведений, от имени большинства профессуры было выдвинуто требование: или дать «ученым» надлежащие «материальные» условия для их работы, или беспрепятственно «отпустить» их за границу. Правда, когда это было громко произнесено, то это оказалось немножко «стыдно», но все же стало очевидно, что профессора не прочь были предпринять форменный «исход» из своей страны, чтобы продемонстрировать полный разрыв между рабоче-крестьянской властью и «наукой». Морально ученые дошли до мысли о дезертирстве от пролетарской революции, яко бы, во имя прав «науки».

Все это было, конечно, только отражением тогдашнего общего интеллигентского настроения по отношению к пролетарской революции и Советской власти. Но отражением, которое возглавляло и усиливало это настроение. Нигде не было такого высокомерия по отношению к «забравшемуся» и «хозяйничающему» в государстве «товарищу», как именно в ученом сословии. Ученое сословие считает, ведь, себя солью земли. Оно все «знает» и все «понимает» лучше других. При этом забывается, что есть ученые и «ученые» — есть, ведь, и тупицы, и пройдохи среди ученого мира, и таких, в сущности, совсем не мало. Забывается также и то, что подлинные ученые «знают» и «понимают» только в своих отдельных областях, вне которых, особенно по отношению к общественной жизни, они слишком часто остаются простыми обывателями. Академик Павлов, например, великий ученый, но в своих нападках на марксизм и пролетарскую революцию он напрасно сохраняет ту же самоуверенность, какая ему законно подобает в его лаборатории.

Что касается «тупиц» и «пройдох», то они, как всегда, кричат больше всех: как, они — «доктора», — доктора за плохо скомпилированные по немецким источникам диссертации, — и ими хотят «командовать» какие-то «товарищи», во имя какой-то «революции»! Нет: noli turbare circulos meos, — восклицает каждый из них, как будто все они подлинные Архимеды.

Но «революция» имеет и свою «цену», и свои «задачи». Она вовсе не хочет нарушать работы истинных Архимедов, она

оставила академика Павлова на месте, чтобы он, вопреки всем своим претенциозным выпадам, работал над своими «условными» рефлексами на пользу марксизма, но выносить без конца «ученое» высокомерие, терпеть ту ученую «автономию», которая все высшее образование направляла в сторону контр-революции, ненависти к пролетариату, вражды к марксизму и коммунизму, — революция не имеет никакого основания. Она сама несет с собой, по крайней мере, в области обществознания, свою собственную истинную науку: науку марксистскую, науку пролетарскую, и она эту науку должна водворить в Вузах, прежде всего, во имя самой науки. А затем это ей нужно и во имя завершения своих целей: во имя того переустройства человеческой жизни, которое может быть доведено до конца только руками верящих в него и убежденных в его необходимости людей.

Революции нужна «новая» интеллигенция, целиком примыкающая к ее задачам. Для того, чтобы создать ее в достаточном количестве, чтобы заместить ею всю упорствующую или непонимающую «старую» интеллигенцию, надо перестроить в марксистском смысле весь «идеологический» фронт страны, во главе которого стоят высшие учебные заведения. И если этому сопротивляется «автономия» высшей школы — а она этому «сопротивлялась», сопротивлялась изо всех сил и до последней возможности, — то ее надо просто сломать, как негодную, как мешающую основным задачам революции.

И Советская власть «автономию» высшей школы сломала, — сломала, чтобы ввести туда марксистские научные силы, чтобы изолировать и обезвредить тех ученых не-марксистского направления, или даже противников марксизма, которые являются крупными специалистами в своей области и настоящими учеными.

Но для овладения высшей школой, для превращения ее в рассадник «новой» интеллигенции, Советская власть предприняла и еще одну меру, касавшуюся уже не профессуры, а студенчества, не «устройства» высших учебных заведений, а их «населения». Она ввела классовый принцип и рекомендацию советских учреждений для поступления молодежи в высшие учебные заведения. Отныне преимущество при приеме в высшие учебные заведения отдается детям рабочих и крестьян. Интеллигенция потеряла свою прежнюю фактическую привилегию на высшее образование, осуществлявшуюся, как и все в буржуазном мире, под видом равноправия при поступлении в школу.

И вот, такая постановка приема в высшие учебные заведения, применение здесь классового начала в пользу рабочих и крестьян или, вернее сказать, ограничение монополии интеллигенции на образование, потому что дети интеллигенции все-таки принимаются в высшие учебные заведения, но не все, а только

известный процент, вероятно, превышающий процентное отношение интеллигенции к остальному населению, — этот классовый принцип еще больше, чем уничтожение автономии, был встречен величайшим негодованием интеллигенции. Как, уничтожить «равноправие» на образование — это варварство, это нарушение «святая святых» культуры и цивилизации!

Но, ведь, равноправие не уничтожено, а, наоборот, только восстановлено, восстановлено тем, что рабочим и крестьянам обеспечена возможность, соответствующая их численности, поступать в высшие учебные заведения. А чтобы эта возможность, попрежнему, не была мнимой, установлены стипендии для студентов пролетарского происхождения, правда, пока далеко еще не в достаточном количестве.

Эта вторая мера — прием в Вузы рабоче-крестьянской молодежи, как и следовало ожидать, гораздо больше «реформировала» высшую школу, чем это могла сделать какая бы то ни было административная ее реформа. «Пролетаризация» студенчества сразу же «пролетаризировала» всю высшую школу. «Классовый» принцип при приеме студенчества получил значение «Октября» для высших учебных заведений, и это вполне понятно.

Профессура занимает «кафедры», с которых и ведет свою научную «проповедь» перед молодежью. Совсем не безразлично для «проповедника», кто его слушает и как относится к его проповеди. Сколько-нибудь нормальное преподавание возможно лишь тогда, когда между профессором и студентами есть внутренняя связь. Только при этом условии профессор не оказывается в «пустыне», или буквальной, физической, если его просто не приходят слушать, или моральной, если его слушают ради его знаний или ради его таланта, но не гармонируют с ним в его нравственном и общественном настроении. А преподавать в пустыне, хотя бы и моральной — невозможно. Тут профессор должен se soumettre ou se demettre, «подчиниться», лучше сказать, «слиться» с своей аудиторией, или «уйти» от нее. Ему тут не место. Он здесь не нужен.

Так и «старая» профессура была «нужна», пока было «старое» студенчество. Как только его не стало, как только оно заменилось «пролетарским» студенчеством, «старая» профессура частью ушла, а частью стала «приспособляться» к новой аудитории. Правда, со стороны профессорского состава, положение высших учебных заведений в настоящее время далеко не может быть признано нормальным. «Ученых» у нас частью недостаточно, а частью, будучи «старыми», хотя и «приспособившимся», они не вполне удовлетворяют своему назначению. Ясно, что высшая школа достигнет полного расцвета только тогда, когда в ней будет не только «новое» студенчество, но и выросшая в достаточном количестве и высоком качестве «новая» профессура. Сейчас эпоха переходная: есть новое студенчество, но нет

еще доподлинной, стоящей на полной высоте своего призвания, «новой» профессуры. Это болезненно отзывается на всем организме высшей школы. Но пройдет известное время, и «новое» студенчество, в лице наиболее талантливых и способных своих представителей, выделит из себя «новую» профессуру (этот процесс выделения уже и начался), эта новая профессура вполне овладеет всем аппаратом и всеми сокровищами знания, и тогда высшая школа примет вполне нормальный вид. Она будет перестроена снизу доверху, и она будет вполне удовлетворять своему пролетарскому назначению.

Как бы то ни было, но уже и теперь очевидно, что путь к разрешению вопроса об интеллигенции Советской Россией найден. Основа этого пути — создание н о в о й, рабоче-крестьянской интеллигенции. Эта интеллигенция частью уже существует, а частью создается, и с каждым годом все больше и больше вырастает. Этим в корне сломлено и упорство старой интеллигенции. Верхушка этой старой интеллигенции — «ученое» сословие, профессура — частью замолчала, а частью заговорила по-иному, в старой интеллигенции начался перелом в сторону нового строя жизни. Особенно он заметен в ее низах, в сельском и городском учительстве. Оно уже не за страх, а за совесть, тянется к пролетариату и к крестьянству, хочет глубже понять Октябрьскую революцию, хочет усвоить себе марксистское мировоззрение.

«Старая» интеллигенция «сдается», — сдается силою вещей, сдается перед нарождением «новой» интеллигенции. Более молодые ее слои, несомненно, скоро сольются с «новой» интеллигенцией, а более старые, которым это труднее, просто сойдут со сцены. И будет тогда только одна «новая» интеллигенция, которая и есть истинное разрешение вопроса об интеллигенции в трудовом обществе.

И эта «новая» интеллигенция будет уже н е т а к а я, как «старая». И эти ее новые качества будут стоять в непосредственной органической связи с новыми социальными условиями.

Старая интеллигенция, в старом социальном строе, была связана с буржуазией. Она была с л у г о й буржуазии, и притом слугой не только в смысле техническом, но и в смысле моральном. Свое знание она отдавала на службу производству, которое находилось в руках буржуазии и в котором эта последняя осуществляла эксплуатацию трудящихся, а свою идеологическую силу она отдавала тоже на службу буржуазии, но уже не в процессе создания материальных ценностей, а в процессе создания и поддержания того социального обмана, который необходим для осуществления господства буржуазии.

Этот обман — сложный и тонкий. Он рядится в самые привлекательные моральные цвета. Он проповедует «моральные» и «культурные» ценности. Он взывает к нравственности, праву, справедливости, и пр. Но из всего этого хитро плетется сеть,

которая предназначена к тому, чтобы не допустить страдающих от эксплуатации к «прямому действию» против насилия. Против этого выдвигается и религиозное учение о «потусторонней» награде страдающих и обремененных здесь, на земле, и нравственная доктрина «непротивления» злу, и социальная доктрина «общественного компромисса», и, наконец, нынешняя социал-демократическая доктрина бесполезности «преждевременных» попыток пролетарского восстания, с откладыванием «прямого действия» ad calendas graecas. Поверх всего этого плетется еще более тонкое кружево, сотканное уже не столько из определенных мыслей, сколько из неуловимых настроений, — что всякое грубое насилие, со стороны «хороших» людей, недопустимо, что лучше быть «жертвой», но не посягать на чужую «жизнь».

Все это опутывает простой здравый человеческий смысл, обессиливает и заглушает простое человеческое чувство. Получается настроение, что лучше «терпеть», чем «действовать». Да нельзя и «действовать» в таком тумане, в такой переутонченной неразберихе.

А между тем «эксплуататорская» жизнь идет своим чередом. Буржуазный Васька всякого рода проповеди слушает, и даже им «поддакивает», а сам «ест». И «зло» жизни, очевидное, реальное зло, нарастает с неудержимой силой и в чудовищных размерах. Те, кто от него страдают, стонут и проклинают, сжимают кулаки, рвутся к действию. А те, кто «умствуют», кто плетут «нравственную» и «социальную» паутину, удерживают страдающих от «действия». И получается у них — у этих хитросплетенных «умственников» — фальшивое, кривое, неестественное положение. Вместо того, чтобы тратить свою энергию на ее подлинное назначение: на действие, они тратят ее на «удерживание» от действия, и себя, и других. Они превращаются в социальный тормоз, в социальный «задерживающий» аппарат. И это отзывается на всей психологии интеллигенции в буржуазный период общественной жизни. Она здесь бессильная, безвольная, бесплодно-болтающая, руками разводящая, но не руками действующая.

В положении интеллигенции, при капиталистическом строе, есть глубокое внутреннее противоречие, искажающее всю ее психологию. «Жрать» и «наслаждаться» вместе с буржуазией она не может, хотя сидит за одним с ней столом. Для этого она слишком «нравственна», слишком «культурна», слишком «утонченна». Она не может не сознавать того, что капитализм — это хищный зверь, это ненасытная прожорливая свинья, живущая за счет трудящихся, но и кликнуть настоящий клич против капитализма она не смеет и не может, потому что она запуталась в собственных сетях, а наплела она их в таком количестве — увы! чтобы получать свое питание со стола буржуазии. Так она и не «пирует», как следует, вместе с буржуазией, — не разделяет психологии этой «торжествующей свиньи», но и не уходит от

этого «пира», а «праздно болтает» при нем разные высокие слова, находящиеся в вопиющем противоречии с действительностью.

Наиболее умные и мужественные из старой интеллигенции хорошо понимали это свое, более чем двусмысленное, положение. Они ясно усматривали, что они служат вовсе не «свободе» и не «культуре», а ненасытному брюху буржуазных дельцов и воротил. Для иллюстрации этого позволю себе привести здесь очень интересный человеческий документ, далекий от нашего времени и взятый из чисто научной, отнюдь не марксистской книги. Это «Чистая социология» (Pure Sociology) родоначальника и признанного главы американской социологической школы, ныне уже покойного, Лестера Уорда. Уорд, в своей социологии, констатирует, что не один только так называемый «деловой» оборот, но и вся жизнь современного буржуазного общества покоится на «хитрости» и «обмане», в которых интеллигенция играет самую выдающуюся и самую непривлекательную роль. Вот в подтверждение этого он и приводит упомянутый «человеческий документ», а именно речь, сказанную (еще в 1895 г.!) одним выдающимся американским журналистом того времени, мистером Свинтоном, на банкете нью-иоркских журналистов. Речь была вызвана тем, что один из присутствовавших вздумал предложить тост за «независимую печать». Это вывело из себя умного и, очевидно, по-своему, честного м-ра Свинтона, и он в ответ сказал:

«В Америке нет такой вещи, которую можно было бы назвать «независимой печатью». Вы это хорошо знаете, и я это знаю. Среди вас здесь нет никого, кто осмеливался бы выражать в печати собственное мнение. Если бы вы его вздумали высказать, то вы наперед знаете, что оно не увидело бы света. Я получаю 150 долларов в неделю не за то, чтобы высказывать свои мнения в той газете, в которой я работаю. Вы также получаете свое жалованье не за это. Если бы я позволил себе напечатать мое искреннее мнение в одном из выпусков своей газеты, то не прошло бы и 24-х часов, как я потерял бы свое место. Человек, который был бы так безумен, чтобы напечатать свое правдивое мнение, тотчас же должен был бы рыскать по улицам за другим занятием. Назначение нью-иоркских журналистов состоит в том, чтобы искажать истину, не церемониться с ней, извращать ее, клеветать, ползать у ног маммоны и продавать свою страну и народ за свой ежедневный хлеб — или, что то же самое — за свое жалованье. Вы это хорошо знаете, и я это знаю. И что за сумасшествие — предлагать тост за независимую печать! Мы орудия, мы — слуги богачей, находящихся за кулисами. Мы — просто куклы. Они дергают нас за ниточку, а мы пляшем. Наше время, наши таланты, наши жизни, наши способности — все это составляет собственность других. Мы — интеллектуальные проституты». [1]

---

[1] Lester F. Ward «Pure Sociology», New-York, 1903, p.p. 487 — 488.

Вот характеристика, сделанная en connaissance des causes, и буржуазной «свободы» печати, и положения интеллигенции в «демократии». Характеристика сделана задолго до наших дней, 30 лет тому назад, но едва ли найдется кто-нибудь, кто сказал бы, что с тех пор дело улучшилось. Нет, оно не улучшилось, а бесконечно ухудшилось. Американский «богач» 1895 г. был мальчишкой и щенком по сравнению с нынешним Морганом, и власть тогдашнего «богача» несравнима с властью нынешнего миллиардера. Нынешний «богач» держит теперь в своих руках уже не только «интеллигенцию», но и рабочую «аристократию», и ниточки, которые он дергает, куда крепче прежних.

Положение интеллигенции в буржуазном строе ложное, фальшивое, недостойное. Свинтон совершенно прав, называя его положением «умственных проститутов». Это сказано горько, но мужественно и правдиво. Такое положение калечит «умственного» человека. «Умственный» человек приучается напрягать свое сознание не для истины, а для лжи. Его воля атрофируется. Он становится безвольным и бессильным. Он вечно жалуется и никогда не действует. Его положение, действительно, «жалкое». Такие люди, как Лев Толстой, вынуждены были скрашивать его, делать его для себя выносимым, учением о «непротивлении» злу. Это противоречит всей активной стороне их натуры, они презирают «зло», они страстно стремятся к его уничтожению, но они преграждают себе путь к действию этим «переутончением» нравственности: что будто бы нельзя отвечать насилием на насилие.

И только большевизм, руководимый Лениным, со всей силой и решимостью прорвал насквозь эту паутину, разметал в стороны все «нравственные» хитросплетения, восстановил права простой и ясной человеческой истины, что зло есть зло и что тот, кто от него страдает, имеет полное право ему сопротивляться не только словесным протестом, но и силою; и не только имеет право, но и *должен*, потому что только этим он может сохранить свое человеческое достоинство, а, в конце концов, и уничтожить зло.

Большевизм есть доктрина *действия*. Он возвращает нравственные права здравому человеческому смыслу и здравому человеческому чувству. Нравственно прав не тот, кто подставляет правую щеку, когда его ударили по левой, а тот, кто, в ответ на удар, отвечает ударом, кто перед злом не «сгибается», а, наоборот, «выпрямляется»; кто мужественно гибнет в борьбе, если не пришло еще время для его победы.

Большевизм выводит интеллигенцию из того ложного, фальшивого, жалкого положения, в котором она находилась. Он возвращает ей не только разум, но и волю. Вместе с ним она перестает быть бессильной, безвольной, внутренно загнившей от постоянной задержки действия. Ведь, действие — это и есть истинное человеческое проявление; кто не действует, тот пере-

стает быть человеком, становясь мочалкой. Живое существо, а тем более человек, должно быть упруго, действенно, должно себя обнаруживать, а не себя скрывать.

И вот, «новая» интеллигенция — это и есть интеллигенция, по своему типу, «большевистская». Она всем своим существом отличается от интеллигенции «старой». Она — сильная, упругая, волевая, действенная. Она свободна от внутренней лжи прежнего интеллигентского положения. Она — отнюдь не «умственная проститутка». Она не имеет никакой надобности и никакой охоты утверждать, что зло есть зло, и в то же время доказывать, что ему н е л ь з я сопротивляться: нет, можно и должно сопротивляться всем: кулаком, зубами, а лучше всего — винтовкой и пулеметом!

Ленин и другие интеллигенты-большевики сбросили с себя свою прежнюю интеллигентскую шкуру, потому что они ц е л и к о м перешли на сторону трудящихся. Они отбросили все «интеллигентские» фантомы: все «ценности» и «идеи», они сказали себе — реален только человек, его страдание, его борьба. Мы за «этого» человека, а не за «того»: за трудящегося, а не за эксплуататора. Мы вместе с ним будем бороться и вместе с ним победим, или умрем.

И внутренняя, глубокая правда этого решения не только превратила их в титанов, но и вернула им внутреннюю гармонию, внутреннее спокойствие, внутреннее довольство. Они ни на что не жалуются, они забыли о «мировой скорби», — они решительно действуют и уверенной рукой создают мировое человеческое счастье. И, по правде приходится сказать, их сопровождает неслыханная удача.

Так действует на положение интеллигенции ее полный отрыв от стана эксплуататоров и безоговорочное присоединение к стану трудящихся. Но, ведь, «новая» интеллигенция, — та реальная новая русская или, вернее сказать, российская, или еще вернее: наша многонациональная, «союзная» интеллигенция, которая уже отчасти создана в пределах Советского Союза и с каждым годом увеличивается в численности, — ведь, это интеллигенция рабоче-крестьянская! Ей не надо «присоединяться» к трудящимся, она из их недр рождена. Она несет с собою всю реальность живой человеческой психологии, рвавшейся к освобождению и теперь его добившейся силою, восстанием, революцией! Здесь «интеллигентность» выращена не на выхолощенной, пустопорожней почве длительного и систематического «бездействия», а привита к буйному подвою революционного, необузданного, победоносного действия. Это — соединение развитого интеллекта с действенной волей. «Интеллигентность» здесь не ярмо, надетое на волю и действие, а превосходный, целесообразный регулятор действия.

Так выявляется перед нами, и уже не предположительно, а на основании опыта, вопрос об интеллигенции в пролетарском,

рабоче-крестьянском обществе. Этому обществу интеллигенция не только нужна, но нужна в большей степени, чем обществу буржуазному. Настолько нужна и важна, что пролетарское общество ставит своей целью поднять все население на высоту действительной и для всех равной интеллигентности.

Но просто превратить «старую» интеллигенцию в «новую» — нельзя. Ее надо создать, — создать соответствующими усилиями, соответствующим «строительством» на идеологическом фронте. И когда она создается, она оказывается иной, высшей по типу. Только в пролетарском обществе интеллигенция получает свою истинную красоту и свою истинную ценность. Интеллигенция становится здесь не орудием обмана ради порабощения, а глашатаем истины ради всеобщего блага, т.-е. приобретает свою истинную роль, выполняет свое, действительно, великое и благодетельное общественное назначение.

Советская Россия уже разрешила этот важный вопрос об интеллигенции. Она частью создала, и, еще больше того, продолжает создавать свою новую интеллигенцию. С этой интеллигенцией ей не страшны никакие задачи. Она в этом вопросе твердо стоит на ногах. Она, конечно, не отбрасывает и старой интеллигенции. Наоборот, она зовет ее к себе, она приглашает ее, не за страх, а за совесть, приняться за советское, хозяйственное и культурное, строительство. И ничто не мешает старой интеллигенции обновить свое существо, целиком и безраздельно присоединившись к трудящимся, к пролетариату, — к их строительству, к их задачам, — к вождю и руководителю пролетарского освобождения и пролетарского творчества: к коммунистической партии. Пусть «новое» увлечет за собою «старое». Пусть «старое» оставит свое упорство, хотя бы за его полной бесполезностью, а еще лучше того, вследствие действительного «прозрения», вследствие сознания правоты пролетарской революции и верности пути, по которому повели ее люди, объединившиеся вокруг величайшего вождя всего трудового человечества: вокруг Ленина.

ГЛАВА XX.

РАЗРУХА. НЭП.

России пришлось не только совершить социальную революцию, но и первой приступить к строительству «нового» мира. Это бедной, культурно-отсталой, почти сплошь безграмотной стране!

Русский пролетариат есть только небольшой остров среди крестьянского моря, а это крестьянское море — так темно, так мало культурно! Все внутренние задачи этим страшно затрудняются. Мы говорили о необходимости для «нового» строительства создания «новой» интеллигенции, — но, ведь, в России пришлось, рядом с этим, поставить другую задачу в области просвещения: задачу ликвидации неграмотности!

Пролетарская революция — не в Париже, не в Лондоне, не в Берлине, а в Петрограде и в Москве; первое социалистическое строительство — не во Франции, не в Англии, не в Германии, а в России, — кто мог этого ожидать? Ведь, сам несравненный прозорливец Ленин, а с ним и все большевики, когда начинали пролетарскую революцию в России, были уверены, что ей немедленно придет на помощь западно-европейская революция. А на самом деле, пришлось не только начать, но и продолжать великое пролетарское дело в бедной, мало культурной, почти сплошь крестьянской стране. И тем не менее оно начато, и оно продолжается вот уже 8 лет; и если понадобится и впредь работать без мирового пролетариата, оно продолжится и еще 8 лет, — вообще, сколько понадобится.

Да, теперь это можно говорить спокойно и с полной уверенностью, а сколько раз можно было притти в отчаяние в первые годы после Октября! Только совершенно исключительная энергия и преданность делу революции, и тут уж приходится сказать — не одной партии или ее вождей, а самих народных масс, рабочих и крестьянских, могли сделать возможным то, что произошло и что теперь твердо обеспечено в своем существовании.

Основной вопрос для всякого общества — это вопрос это о материальной базе: о хозяйстве. Революция застала хозяйство после трехлетней мировой войны, т.-е. в совершенно подорванном и истощенном виде. К этому присоединилась четырехлетняя гражданская война, осложненная интервенциями, войнами с соседями и пр. Вся территория России безжалостно опустошалась и обиралась, во многих местах повторно и многократно. К этому присоединилось еще то, что из хозяйства революцией был вынут его прежний организатор и распорядитель — частный хозяин, и еще не введен был новый, общественный хозяин. Старые двигатели хозяйственной деятельности перестали, а новые еще не начинали действовать. Хозяйство сделалось, как бы, беспризорным: никто не был склонен его охранять, и очень многие были склонны его расхищать.

А между тем военная деятельность, силою крайней необходимости, заставляла налегать на это хозяйство изо всех сил, брать из него все, что оно может дать, не внося в него ни надлежащей организации, ни достаточного вознаграждения за человеческой труд. Это была полоса «военного» коммунизма, совершенно отрешенного от производства и только требовавшего, силою и во что бы то ни стало, «потребления» для тех, кто не производил. Это, как выражался Владимир Ильич, был заем города у деревни, — заем принудительный, беспроцентный и многолетний.

При таких условиях хозяйство не могло не только развиваться, но и оставаться на одном уровне: оно хирело, падало, — на место «хозяйства» становилась «разруха», она все больше

расширялась, и грозила, наконец, поглотить все без остатка, т.-е. погубить «изнутри» то, чего не могли одолеть «извне».

Крестьянин все больше сокращал посевы, фабрики не работали, или работали только для военных надобностей, железные дороги приходили в негодность и грозили остановиться, население городов сидело без хлеба, без жиров, без мяса, без топлива, деревня не получала ни мануфактуры, ни кос, ни гвоздей, ни соли, ни керосина. «Костлявая рука» голода все больше простиралась над Советской Республикой, а к голоду присоединялись холод и эпидемии. И все это в то время, когда со всех сторон на сокращавшуюся в своем объеме Советскую территорию наседали разные «верховные» правители, поддерживаемые западной буржуазией, когда в самых ее пределах кипел бандитизм, и политический, и просто разбойничий.

Какая нечеловеческая энергия нужна была, чтобы все это вынести и не сдаться! Сколько жертв нужно было, чтобы заполнять ими те пропасти, которые непрерывной чередой открывались перед Советской Россией и в которые она ежеминутно могла свалиться!

И эта нечеловеческая энергия оказалась в наличности, и эти бессчетные жертвы были принесены. И тут опять приходится сказать: эта энергия оказалась не у одних «большевиков», но и у народных масс; жертвы приносились без счету не только «большевиками», но и народными массами. Одна партия, без народных масс, ничего не могла бы сделать. Партия только шла впереди народных масс и показывала им пример; но этот пример подхватывался массами, подхватывался не как приказ, не как насилие, а как внутренняя необходимость.

Именно в этот период бедствий, неслыханных напряжений, бессчетных жертв, ясно обнаружилась вся сила связи между партией и массами. В это время смешно и нелепо уже было говорить о том, что большевики — «демагоги», что они играют на низких инстинктах масс, как это говорилось до Октября и после Октября. Какая демагогия, когда массы призывались к нечеловеческим усилиям, к неслыханным жертвам, — когда им говорили: стисни зубы и переноси все — и голод, и холод, и болезни, и вечные, ежеминутные опасности!

В это время ненавистники большевиков стали говорить уже иное: деспоты, тираны, рабовладельцы! распоряжаются массами, как пешками, действуют по принципу: исполняй, или становись к стенке!

А на самом деле не было ни прежде демагогии, ни теперь тирании. Была, наоборот, внутренняя, глубокая связь между людьми, которые прозаложили свои собственные головы за интересы масс, и этими массами, которые это видели и это понимали. Все остальное было только внешностью, оболочкой. На войне, в решительной борьбе, не может не быть железной дисциплины. Этой железной дисциплине большевики прежде всего подчинили самих себя, а затем и народные массы. И народные массы, видя

пример большевиков, доверяя им, как никому, в свою очередь, подчинялись дисциплине, приносили все требуемые жертвы безропотно и беспрекословно.

Я видел на Волге, в 1920 г., во время войны с Польшей, запасные батальоны Красной армии. Они были разуты, раздеты, плохо накормлены, бесконечно скучены в казармах. Сердце сжималось, глядя на этих людей, и невольно закрадывалась мысль: выдержат ли они эти невозможные условия? сохранят ли дисциплину, пойдут ли в бой? не захотят ли «бунтовать» против большевиков, как они только-что бунтовали против царского режима?

Нет, — они выдержали, выдержали до конца, сделали все, что требовалось, «без отказу». Не только вожди, авангард, но и народные массы оказались на высоте задачи. Вынесли все, исполнили все, и, конечно, не из-под палки и не потому, что было «приказано», а потому, что верили и понимали, что приносят жертвы за свое собственное дело и под руководством людей, для которых это дело тоже есть их собственное.

Однако, героизм, решимость, непоколебимость — все это есть внутренние, субъективные качества, а для успеха дела нужны еще и объективные условия. Хозяйством все больше овладевала «разруха», ввергавшая Советскую Республику в неслыханные бедствия. Народные массы выносили эти бедствия с нечеловеческим героизмом, но все же «разруху» надо было преодолеть, хозяйство надо было поднять, иначе это грозило исходом, который с уверенностью предсказывал и которого с нетерпением ожидал весь буржуазный мир: гибелью революции, низвержением большевизма...

К 1921 году «разруха» достигла максимума: разразился стихийный неурожай; голод, не только со смертями, но и с людоедством, охватил треть России. С другой стороны, явно пришли к концу старые «запасы». Все, что было произведено до-революционным трудом, выклинилось, иссякло... Но зато к этому же времени победоносно закончена была и военная борьба. Советская Россия получила, наконец, мир в своих границах. Миновала надобность в неизбежном, неотвратимом «военном» коммунизме, который, конечно, есть не хозяйственная система производства, а только военная система потребления.

Перед Советской властью встала тогда вплотную основная задача всей социальной революции: как поднять хозяйство? На какие основы его поставить, чтобы не только уничтожить «разруху», но и обеспечить возможность дальнейшего социалистического, а отнюдь не капиталистического развития?

Заработали в этом направлении большевистские «большие» умы. Сперва выступил геометрически-правильный, эстетически-изящный, молниеносно-быстрый, военно-решительный ум Троцкого. Он выдвинул идею «милитаризации» производства, «трудовых» армий, «твердо» составленных восстановительных планов. Но хозяйственная «материя» очень быстро показала, что она не

поддается прямолинейным на нее воздействиям в форме военных приказов. Милитаризация труда совершенно не удалась.

Но среди тяжких хозяйственных затруднений, среди делавшихся опытов и попыток их устранить, работал не столь поспешно-быстрый, не столько блестяще-изящный, но могучий и глубокий, не связанный ничем предвзятым, настоящий, «кондовый» ум Ленина. Ленин, со своим решением основных вопросов хозяйства, выступил позже Троцкого, но этим решением был НЭП. И этот НЭП оказался столь же удачным, как и Брест.

Что такое НЭП? НЭП есть отказ не только от военного коммунизма (за минованием в нем надобности), но и от внезапного, одним духом, разом по всей линии, осуществления социализма. НЭП вовсе не есть отказ от основного социалистического замысла, нет, он только — отказ от доктринерства в деле социализма. НЭП есть жизнеспособный, согласованный с реальными условиями, план осуществления социализма, вообще, и, в частности, в такой стране, как Россия.

НЭП исходит из двух основных мыслей: во-первых, оставить вне общественного хозяйства и предоставить частному хозяйствованию все, чего еще нельзя вовлечь в орбиту социализма и что пока и не имеет первостепенной важности для социализма, с чем, значит, можно подождать; во-вторых, ввести в общественное хозяйство — хозрасчет, самоокупаемость, сделать его не бременем для государства, а источником дохода, превратить его из убыточного в прибыльное.

Что можно, без вреда для плана постепенного реального осуществления социализма, оставить в руках частного хозяйства? — Прежде всего сельское хозяйство. Оно у нас крестьянское, а не помещичье; мелкое, а не крупное; трудовое, а не наемное. В таких чертах его и можно оставить в руках крестьянина, на частных началах. Сразу, по приказу, сделать крестьянина социалистом — нельзя. С другой стороны, мелкий, трудовой, хотя бы и зажиточный, крестьянин, — крестьянин-середняк — вовсе не есть непереносимая для социализма фигура; он никого не эксплуатирует, он поэтому, хотя и не внутри социализма, но и нисколько не противоречит коренной идее социализма: уничтожить эксплуатацию трудящихся нетрудящимися.

НЭП, поэтому, прежде всего распространен на крестьянство и на сельское хозяйство. Уничтожена прежняя военно-коммунистическая продразверстка, т. е. введен обыкновенный налоговой принцип для частного хозяина по отношению к государству; уплати налог — и все остальное твое. В связи с этим установлена «свобода» торговли на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты.

Таким образом, сельское хозяйство оставлено вне социализма, но поставлено на трудовые основы. В нем работает частный, крестьянский, трудовой интерес, — интерес производителя,

а не эксплуататора, — и крестьянин теперь пашет, сеет, разводит скот, приобретает сельскохозяйственные орудия, улучшает севооборот, — словом, двигает сельское хозяйство вперед, для блага своего личного, но и для блага всего советского государства. «Разруха» сельского хозяйства кончена, начался его «подъем».

Что касается промышленности, то тут приходится различать крупную и мелкую промышленность. Промышленность наиболее мелкая, ремесленная и кустарная, как трудовая и почти не требующая наемного труда, подобно сельскому хозяйству, предоставлена самой себе. Она также облагается налогами, но и пользуется «свободой» оборота. Промышленность не ручного типа, требующая известного оборудования «предприятий» и привлечения к работе в них более или менее значительного числа рабочих, в свою очередь, делится на более крупную и менее крупную. То, что именуется, собственно, «крупной» промышленностью, принципиально оставлено в руках государства, т.-е. ведется с устранением частного предпринимателя. А предприятия более мелкого размера могут быть сдаваемы и предназначены к сдаче в аренду частным предпринимателям.

«Предприятия» в частных руках, т.-е. с допущением в них наемного труда, есть несомненное отрицание общественного начала в производстве, исключение из него, противоречие идее социализма, ибо на этой почве, как-раз, и возникает эксплуатация трудящихся, но это исключение допущено за недостатком организационных сил у нынешнего советского государства, за невозможностью с пользой включить в систему общественного хозяйства не только главную, но и второстепенную часть промышленности.

Итак, вся так называемая крупная промышленность, все важнейшие фабрики и заводы, рудники, добыча угля, нефти и пр., — все это осталось в руках государства. В руках государства остались также железные дороги, морское и речное судоходство. Наконец, в руках государства сосредоточены также банки и целиком внешняя торговля. Таким образом, все основные хозяйственные позиции, все «ключи» к хозяйственной системе, остались в руках советского государства. Ради известных выгод и под известным контролем, советское государство готово было и в этой области (собственно, в области крупной промышленности, но не по отношению к железным дорогам и внешторгу) сделать уступки капиталу (иностранному) в форме концессий, но капитал почти не идет в эту сторону, или требует грабительских условий.

Вот что, в силу НЭП'а, исключено из государственного хозяйства, предоставлено частному распоряжению и что, с другой стороны, попрежнему оставлено в распоряжении советского государства. Вся основа хозяйства, весь его костяк

(прежде всего, тяжелая промышленность и пути сообщения), все те хозяйственные позиции, владея которыми можно влиять на все остальное (банки, внешняя торговля) — все это осталось в руках советского государства и не выйдет из его рук.

С другой стороны, в силу НЭП'а, во все то, что осталось в руках государства, введен твердый, даже жесткий, хозяйственный расчет. Хочешь существовать — самоокупайся, а не самоокупаешься — значит, нежизнеспособен, сходи со сцены, давай место жизнеспособным.

Чтобы осуществить в государственном хозяйстве хозрасчет, самоокупаемость, прибыльность вместо убыточности, надо поднять в нем производительность труда, т.-е. надо, во-первых, дать ему правильную организацию (в идеале — научную организацию), а, во-вторых, надо его оборудовать современной техникой. Но есть и еще одно, что для этого требуется, с научной ли организацией, или без нее, с высокой ли техникой, или нет, как в СССР, пока он еще не стал на ноги, — это обеспечить в производстве правильное вознаграждение труда, т.-е. вознаграждение по работе, по заслуге, по ценности участия труда в производстве. Иными словами, это значит: надо обеспечить в общественном производстве частный интерес трудящегося. Чтобы трудящийся был лично, скажем прямо: эгоистически, заинтересован в том, чтобы работать с наибольшей энергией, с наибольшим усердием, с наибольшим талантом, т.-е. чтобы он работал по способностям, но и получал по способностям.

Это и есть второй принцип, введенный НЭП'ом в свое, государственное хозяйство. И нечего и говорить о том, насколько это было необходимо для успеха государственного хозяйства. Очевидно, что без этого, без личной заинтересованности в производстве, поднять государственное хозяйство было бы абсолютно невозможно. Хозяйственная деятельность, по крайней мере, для современных людей, такова, что тут ни военным приказом, ни призывом к общей пользе и личному великодушию не помочь. Давай правильное вознаграждение, тогда буду, как следует, работать. А иначе — все равно, так или иначе, буду отлынивать, проводить время, делать вид, и пр.

НЭП ввел принцип личной заинтересованности в само государственное хозяйство, и в этом его вторая и еще более важная суть, чем в том, что он значительную часть хозяйства (особенно сельское хозяйство) оставил в частных руках.

Однако, если так, — то что же это такое? Не представляет ли собою НЭП, в таком случае, полной сдачи советским государством своих «социалистических» позиций? Ведь, значит, советское государство теперь, в своем производстве, поступает совершенно так же, как поступал в своем производстве капиталист. Капиталист тоже поднимал производительность труда,

воздействуя на личный интерес трудящихся: он установлял сдельщину, поощрял труд премиями, выдавал награды и пр. И когда государство делает то же самое, значит, оно само становится капиталистом. Вся эта система есть вовсе не система социализма, а система государственного капитализма, который и существует, и отлично уживается с капитализмом вообще, т.-е. с буржуазным, собственническим капитализмом, т.-е. весь этот НЭП есть не более, как возврат к старому, бегство и спасение от социализма.

Как известно, именно так и был встречен, и так и был оценен НЭП, не только его противниками, но и многими его приверженцами. Одни пришли в восторг, а другие в отчаяние.

Но автор НЭП'а, мудрый Ильич, твердо и спокойно, ничего не преувеличивая, но ничего и не преуменьшая, обращаясь и к противникам, и к приверженцам, говорил: вы говорите, что это не социализм, а государственный капитализм? Ну, хорошо, пускай; пусть это не полный социализм, а только государственный капитализм. Но не думайте, что это тот государственный капитализм, который существовал и существует в буржуазных государствах. Нет, это государственный капитализм пролетарского, рабоче-крестьянского государства, государства, в котором хозяин не буржуазия, а рабочие и крестьяне.

Этот государственный капитализм еще не есть полный и окончательный социализм, но он действует в интересах трудящихся, а не капиталистов; он хочет не поддерживать эксплуатацию трудящихся, а, наоборот, хочет обеспечить им их благосостояние. Поэтому, он есть путь, — верный и надежный путь к социализму. Значит, вовсе не поворот назад, к старому, а движение вперед — к новому. Все к тому же, что Октябрьская революция сразу написала на своих знаменах: к социализму и к коммунизму.

И нельзя не сказать с полным убеждением, что Ильич здесь, как и во всем, был глубоко прав. Нет, его внешностью и словами не обмануть.

Ильич смотрел в корень вещей, и его характеристика НЭП'а вполне соответствует действительности. Тот личный, эгоистический интерес, который НЭП ввел в государственное производство, есть интерес трудящегося, и поощрение этого интереса является для производства, при нынешних свойствах человеческого характера и при нынешних условиях жизни, только необходимым организационным средством для успешности этого производства. Но в капиталистическом мире над этим личным интересом трудящегося стоит личный интерес капиталиста, который и обращает это естественное средство организации успешности труда в средство для выжимания из трудового процесса прибавочной стоимости. А в пролетарском государстве над личным интересом каждого отдельного трудя-

щегося стоит их общий, коллективный интерес и обращает это организационное средство успешности труда в средство для обеспечения общего блага. Вещь — одна и та же, но она вставлена в разные механизмы и служит совершенно различным целям. Это все равно, что винтовка или пулемет у белых и у красных: устройство их совершенно одинаково, да стреляют-то они в разные стороны и потому служат прямо противоположным целям. Так и государственный капитализм, с его принципом личной заинтересованности: Федот, да не тот.

По этому поводу невольно вспоминается и другая мысль Владимира Ильича, — мысль высказанная им уже незадолго перед смертью по поводу кооперации. Кооперация в буржуазном государстве есть, конечно, только жалкий, бессильный паллиатив против эксплуатации трудящихся капитализмом. В этом смысле она почти вредна для трудящихся, потому что отвлекает их от основной борьбы, по крайней мере, когда они возлагают на нее несбыточные надежды. Но кооперация в рабоче-крестьянском государстве — это совсем другое дело. Это уже не жалкий паллиатив, а могучее средство развития самодеятельности трудящихся и обеспечения их благосостояния. И это не отвлечение трудящихся от социализма, как в буржуазном обществе, а, наоборот, лучший и прямой путь к нему, особенно для крестьянства. Поэтому кооперация в советском государстве — это практически все равно, что социализм; это явление, которое лежит уже вне границ капитализма и внутри границ грядущего социализма.

Я уже сказал, что НЭП был встречен шумным восторгом противников Советской России. Все мудрецы «вчерашнего» дня, все «буржуазные» экономисты, государственные люди, политические мыслители, за границей и в России, решили, что большевики повернули назад, что они спасаются от того, что сами натворили. На этой почве разыгралась целая симфония «откликов» и «событий». В России, — среди интеллигенции, — началось целое движение торжества и даже высокомерия по отношению к большевизму. Оно выразилось в целом ряде литературных произведений и периодических изданий. Во главе их стал петроградский журнал «Экономист», который снисходительно, но не без злой насмешки, похлопывал большевиков по плечу и приговаривал: «Ну, что ж, одумались — прекрасно. Стали сдавать свои позиции — очень хорошо. Но только нечего смущаться, надо действовать решительнее. Надо не только «начать», но и «продолжать», и довести начатое до самого конца: надо «увенчать» здание, надо целиком вернуться к капитализму, как это, ведь, сделала и «великая» французская революция». Слово «увенчать здание» было прямо написано в «Экономисте», и при этом убедительно было прибавлено: «а то, ведь, иначе все равно ничего не выйдет».

Среди зарубежной русской интеллигентской эмиграции НЭП отозвался целой «сменой вех». Явилось там семь «смельчаков», а по эмигрантским воззрениям «ренегатов», с профессорами Ключниковым и Устряловым во главе, которые urbi et orbi возвестили, что они — за Советскую Россию, что они хотят работать на Советскую Россию, что они не прочь вернуться в Советскую Россию, ибо «вехи» ведут их теперь не от большевиков, а к большевикам.

Но почему, — в чем дело? Что они сами стали «большевиками», что ли? Нет, они отнюдь не стали большевиками, и даже не стали «социалистами», но они решили, что большевики повернули назад, в сторону «реакции». Один из них, профессор Устрялов, провозгласил это совершенно открыто. Как историк, он уверенно проводил аналогию между французским «термидором» и русским «нэпом». Разница,—говорил он,—между французской революцией и русской заключается в данном случае только в том, что во Франции «термидор» наступил после того, как Робеспьер был низвергнут и казнен, а в России русский Робеспьер, Владимир Ильич Ленин, не только не низвергнут и не казнен, а сам, самолично и собственноручно, устраивает «термидор», проделывает «реакцию». Но, ведь, это, — убежденно говорил профессор Устрялов, — еще лучше: сами же большевики и спустят на тормозах российскую колымагу с той высокой горы, на которую они ее так неблагоразумно вздыбили. А что касается самой русской, «большевистской» революции, — пели все семь «сменовеховцев» хором, — то мы ничего против нее не имеем, наоборот: напрасно ее так корят и упрекают... Профессор Ключников красноречиво доказывал, что она, несомненно, «великая», а проф. Устрялов к этому авторитетно добавлял, что она еще и вполне «национальная»...

Однако, в этом направлении НЭП всполошил не одних только «русских» и не одних «интеллигентов», — нет: он всполошил весь буржуазный мир, в лице самых крупных его воротил и заправил. Во главе буржуазного мира, в качестве его главного уполномоченного, стоял тогда Ллойд Джордж, этот хитрый Улисс, прошедший все воды, и огни, и медные трубы как внутренней, так и внешней политики. Ллойд Джордж смел и самоуверен. Он решил одним, хорошо задуманным ударом, разрубить весь большевистский узел, который так надоел всему «культурному», западно-европейскому, «демократическому» миру. Он решил с большой помпой, в международном масштабе, с самыми почетными дипломатическими приемами, преподнести большевикам... з о л о т у ю веревочку, с тем, чтобы они сами же на ней и повесились. Попросту говоря, он решил «купить» большевиков, но купить так, как вообще покупает буржуазия, т.-е. не в виде простой, грубой взятки, так чтобы это всем было видно, — фи! как неэстетично — а в виде торжественного, международного акта высшей политики, предназначенного обес-

печить мир, спокойствие и благо народов, в том числе и русского народа.

Ллойд-Джордж созвал Генуэзскую конференцию, пригласил туда большевиков и сказал им, — т.-е. не прямо сказал, а это вытекало из всего смысла происходившего: оставайтесь на месте, владейте Москвой и Россией, стройте там «Советы» и все, что вам угодно; сверх всего этого получайте в свое распоряжение еще и 2 — 3 миллиарда золотых рублей, но при одном условии — восстановить право собственности и допустить капиталистическое хозяйство в России, по крайней мере, для иностранного капитала. Со своим обходитесь, как вам угодно, но иностранному — дайте то, что он имеет везде, во всех «цивилизованных» странах.

И можно себе представить, что было бы, если бы большевики пошли на что-нибудь подобное. Россия была бы куплена, куплена самым обыкновенным, буржуазным способом. Она превратилась бы в область английского и американского протектората, рабочее движение не только российское, но и международное, было бы не только обезглавлено, но и смешано с грязью, а большевики? — большевики сидели бы в Москве на правах и с обязанностями геджасского короля Фейсаллы, или какого-нибудь иракского шейха.

Вот какой блестящий международный и «дипломатический» ход задумал этот старый, прожженный циник, который уже не раз «покупал» и «продавал», в том числе и самого себя, во славу буржуазии и на погибель рабочему классу.

Но — увы! — произошла осечка, план не удался, большевики оказались не из той породы, как сам Ллойд Джордж, Мильеран, Бриан, Шейдеман и прочие, с позволения сказать, «социалисты». Они прислали на конференцию Чичерина, и Чичерин, буквально, выпорол на ней всех этих хитрецов и искусников. Генуя оказалась не торжеством для Ллойд Джорджа, а триумфом для Чичерина. Большевики заявили «иностранному» капиталу: какие угодно сделки и уступки, но не отступление от своих принципов; «концессии», аренда — сколько угодно, конечно, в пределах советского законодательства и под контролем Советской власти; но право частной собственности — ни за что и никогда! Да и концессии — только в обмен на солидный заем.

Ллойд Джорджу пришлось отъехать, не солоно хлебавши. Он дублировал Генуэзский опыт в Гааге, но там оказалось то же самое.

Таким образом, уже Генуя показала, что большевики отнюдь не сдают своих позиций, а, наоборот, крепко держат их в своих руках. С тех пор прошло три года. Россия продолжает свое хозяйство без права частной собственности и без помощи иностранного капитала, — и что же? — «Разруха» осталась позади, она изжита, промышленность наладилась, темп ее движения вперед более быстрый, чем в капиталистических странах;

Россия не только не на краю гибели, как было в 1921 г., когда Советская власть, по выражению Ильича, должна была издавать декреты «пачками», чтобы скорее повернуть на НЭП, — но она совершенно спокойна за свое дальнейшее хозяйственное развитие. Россия раньше, чем капиталистические страны, ввела у себя твердую валюту; она уже почти достигла «довоенного» уровня хозяйства, и рост сельского хозяйства, промышленности, торговли таков, что определенно можно сказать, что пройдет 3 — 4 — 5 лет и Россия начнет, в хозяйственном отношении, оставлять капитализм... за собою.

В настоящее время большим тормозом для быстрого, еще более быстрого, развития хозяйства в России является недостаток капитала. Фабричное и заводское оборудование изношено, техника устарела, это мешает развернуться еще сильнее, тут нужен иностранный капитал, и Советской власти выгодно было бы заплатить за него хорошие проценты и даже уплатить иностранцам известную часть старых, уже аннулированных ею, государственных долгов. Она предлагала это англичанам, теперь предлагает французам. Но уж очень им не хочется давать свои «буржуазные» денежки на поддержку «социалистического» хозяйства. Ибо теперь уже и для слепых ясно, что НЭП не только не был началом «капиталистического» перерождения Советской власти, но что, наоборот, он сделался прочной основой для дальнейшего «социалистического» развития.

Но как им угодно, этим буржуям: дадут ли они на поддержку советской промышленности свои денежки, или не дадут. Дадут — она двинется еще быстрее, не дадут — она все же будет двигаться вперед: через «государственный» капитализм и кооперацию — к окончательному социализму.

НЭП дал нам то, что от него требовалось, доказав еще раз, как были правы и дальновидны большевики с Ильичом во главе, и как недальновидны все буржуазные «мудрецы». Они теперь уже не знают, что им и делать. Они злятся, делают презрительный вид, через каждые два слова поминают о «Коминтерне», — но так и не могут решить: давать ли Советской власти деньги, или не давать... И хочется, и колется...

В этом отношении положение внутренних буржуазных мудрецов гораздо проще: раз капитализм не пришел вслед за НЭП'ом, и его что-то и не видно, то надо, без рассуждений, поступать на советскую службу. И все экономисты из «Экономиста», самоуверенно призывавшие Советскую власть к «увенчанию» здания НЭП'а полным восстановлением права частной собственности, теперь усердно работают в Госплане, в Наркомфине, во Внешторге и в прочих хозяйственных учреждениях Союза Советских Социалистических Республик на пользу и во славу упрямых большевиков, управляющих этим Союзом и пренебрегших их авторитетными советами три года тому назад.

ГЛАВА XXI.

ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ.

Первая и основная задача всякого человеческого общежития — это его хозяйство. Под всякое человеческое общежитие надо прежде всего подвести прочный материальный фундамент.

Но вслед за «хозяйством», и в тесной связи с ним, перед всяким человеческим обществом выступает вторая чрезвычайно важная задача: задача регулирования человеческих отношений внутри общества. Это — задача правовая.

Право не есть нечто самодовлеющее, как думает буржуазная юриспруденция. Оно вовсе не есть воплощение каких-то «правовых начал», какой-то отвлеченной «справедливости». Нет, — право служебно по отношению к хозяйству, оно есть средство закрепления данной хозяйственной системы, т. е. тех производственных отношений, которые лежат в ее основе.

Чтобы данная хозяйственная система исправно действовала и давала присущие ей результаты, надо, чтобы все ее части и весь ее механизм работали без излишнего трения, чтобы они были хорошо прилажены и ладно пригнаны друг к другу, чтобы они не вихлялись, не задевали друг друга, а делали каждая свое дело, не мешая другим. В технике все это достигается известной физической конструкцией системы, а в хозяйстве это достигается правовой конструкцией общества, установлением норм, регулирующих взаимные отношения членов общества. Право играет роль тех гаек, тех винтов, тех осей, вообще всех тех скреплений, которые придают ходу хозяйства в обществе определенность, планомерность, прочность, устойчивость. «Правовые» отношения между людьми это те же «хозяйственные» их отношения, но только закрепленные коллективной волей и коллективной силой тех, в чьих интересах существует и действует данная хозяйственная система.

Достигший господства в советском государстве пролетариат, в союзе с крестьянством, также установил известную хозяйственную систему, — пока еще только переходную, а не окончательную. Эту систему надо наладить и закрепить, чтобы она исправно работала и давала требуемые от нее результаты. Достигнуть этого можно только посредством права. Определенное, твердо установленное право — совокупность норм, исходящих от советского государства, должна быть присоединена, или надета на советское хозяйство, чтобы оно шло правильным и устойчивым ходом.

Правовая задача есть тоже дело нелегкое; правда, более легкое, чем устройство самого хозяйства, но все же и здесь

перед советским государством оказались большие трудности, которые надо было преодолеть.

«Право» надо было установить в советском государстве после длительного периода отчаянной революционной борьбы, гражданской войны, — и не то право, которое существовало раньше, а новое, прежде не бывшее, а, в условиях первой в мире Советской страны, — еще и вообще никогда и нигде небывалое. Те страны, которые пойдут в социальной революции вслед за Россией, используют весь ее опыт, в том числе и правовой, но Советской России здесь, как и во всем, пришлось прокладывать первый, неизведанный путь...

Гражданская война отучает людей от стеснения правом, она приучает их к непосредственной, ближайшей целесообразности. Все средства хороши, лишь бы они устраняли непосредственную, там или здесь нависшую над революцией смертельную опасность; лишь бы они давали успех в той борьбе, которая ведется данными лицами в каждом данном месте.

Все настроение, вся внутренняя, психологическая установка революционера совсем другая, чем установка правоведа. Революционер относится к праву подозрительно, опасливо. Он всегда боится, чтобы соблюдение права как-нибудь не повредило революции. Он поэтому вообще против права. Когда кто-нибудь, в процессе революции, добивается права, он сурово и решительно говорит: никакого права нет, право ничего не стоит, есть революция, и больше ничего!

Революция есть эпоха б е с п р а в и я, или, вернее сказать, с в е р х п р а в и я. Бурун революции идет поверх права, он его затопляет, он его отбрасывает. Получается ф а к т и ч е с к о е положение вещей, в котором каждый распоряжается всем, чем может. Непосредственное личное усмотрение тех, кто ведет борьбу, кто добивается в ней успеха, становится на место всяких норм, и люди к этому привыкают, это становится «нормальным» порядком вещей.

Но революционный вихрь проходит, борьба кончается, наступает, как в России, победа революции. Приходится закреплять эту победу новым «порядком» вещей. Этот «порядок» установить без права нельзя. Право есть средство закрепления в с я к о г о порядка. Значит, победоносное пролетарское государство должно издать свои законы, а, издав их, должно добиться их исполнения, т. е. установить свою, пролетарскую законность.

Установить новые пролетарские законы, особенно в переходную эпоху, тоже нелегко. Трудно найти здесь правильное содержание для законов, трудно придать им длительное действие. Положение все еще остается и неизведанным, и текучим. Приходится и в законодательстве прибегать к тому методу, который натуралисты называют методом «проб и ошибок». Приходится решаться «попробовать», испытать, — если удастся, закрепить, если не удастся, устранить то или иное правило, то или иное

установление; потом вновь «пробовать», изменять, заменять, и т. д., пока не нащупается нечто такое, чему можно придать более длительную прочность.

Но теперь, после 7 — 8 лет существования советского государства, после 3 — 4 лет жизни в относительно «мирной» обстановке, советское законодательство стало уже и более целесообразным, и более устойчивым. Оно почти все кодифицировано, т.-е. приведено в тот вид, какой считается «нормальным» для права.

Таким образом, с формальной стороны, советское законодательство теперь одно из самых образцовых. Почти все части его сведены в кодексы, а эти кодексы — кратки, просты и ясны; статей в них гораздо меньше, а содержания гораздо больше, чем было в прежних законах. Не только судья или администратор, но и всякий гражданин, может разобраться в них гораздо лучше, чем это было в старой России. С законодательной задачей, с задачей формулирования своего права, советский строй справился, и справился совсем не плохо.

Но «правовая» задача человеческого общежития заключается не в одном только «формулировании» права. Право предназначено не для выставки на показ, а для осуществления. Осуществляется же оно в поведении людей. Граждане, члены данного человеческого общежития, должны следовать праву, должны выполнять его в своем поведении. А могут, ведь, и не выполнять. С последним правовая система не может мириться. Она принимает ряд мер, вплоть до принудительных, чтобы добиться законности, т.-е. осуществления права в поведении граждан. Меры эти, в том числе и принудительные, в свою очередь, находятся в руках людей, и потому также должны быть проникнуты правом и подчинены законности. Среди членов общества особо-важную роль по отношению к праву играют те, кто облечены властью. Власть не должна быть произвольной, она сама должна подчиняться праву. Тут получается непосредственное соприкосновение права с управлением. Чтобы право находило себе осуществление не только в поведении граждан, но и в действиях властей, нужна правильная система судов, т.-е. органов, которые призваны констатировать правонарушение и наказывать правонарушителей. При судах требуется правильное устройство обвинения, в лице прокуратуры, и защиты, в лице адвокатуры. Словом, для обеспечения законности, и не только в действиях граждан, но и в действиях властей, нужен целый специально построенный, живой правовой механизм.

Советская власть уже вступила в полосу водворения «законности» вместо непосредственной революционной целесообразности. Это сделалось возможным с 1921 г., когда прекратилось военное положение и гражданская война. С этого времени вырос целый ряд учреждений, предназначенных специально к водворению новой «революционной» законности, которую создает для себя сама победившая пролетарская власть.

Правильно построены гражданские и уголовные суды, при них следственная часть, прокуратура, адвокатура и пр. И в «административном порядке» «сверху» принимаются все меры к тому, чтобы «протолкнуть» законность, возможно дальше, от самого «низу», до волости и деревни.

Конечно, это совсем нелегко и это далеко еще не доведено до конца. Еще много злоупотреблений, произвола, беззакония, взяточничества, воровства. Особенно всем этим страдает деревня, которая часто и не слыхала о подлинных советских законах, а если и слыхала, то еще не видала их в действии. Между Советской властью и ее усилиями обеспечить интересы широких народных масс, в частности, крестьянства, становятся администраторы, которые на место закона ставят полный произвол, и население не может найти ни защиты, ни управы.

Это беззаконие в деревне сделалось в настоящее время предметом особенного внимания и особой заботы со стороны Советской власти и правящей Коммунистической партии. Все постановления последних съездов, как партийных, так и советских, направлены на то, чтобы обеспечить деревне законность и простор для самодеятельности.

Тут дело сводится прежде всего к тому, чтобы дать больший простор влиянию на управление самого населения. Советская система управления — выборная. В основе ее лежат советы. Но, конечно, в переходную эпоху диктатуры пролетариата, на выборы не может не влиять партия, как авангард рабочего класса, как совокупность тех людей, которые взяли на себя всю тяжесть и несут на себе всю ответственность за дело революции. Это влияние необходимо и неизбежно, но оно не должно переходить известных границ. Нельзя партийным воздействием на выборы совсем устранять от участия в них население; нельзя доводить дело до того, что население или совсем не участвует в выборах, или голосует за тех, кого оно явно не хочет. И мы видим, что Советская власть вступила на путь решительных мер для «оздоровления» и «оживления» Советов.

Весь этот вопрос, конечно, тесно связан с «внутренней» политикой в самой партии. В переходную эпоху диктатуры пролетариата истинным кормчим всего государственного управления является и должна являться п а р т и я. Кто это отрицает, тот ничего не понимает в революции, — для того, значит, безразличен ее успех, или неуспех; для того важнее отвлеченные «принципы», а не само живое дело революции. Если стоять на том, что партии не должно принадлежать главенство и верховенство в революции, то лучше ее совсем не начинать, ибо без этого условия она всегда кончается торжеством контр-революции. Это тоже «живое» положение «ленинизма», целиком оправдавшееся в русской революции.

Пока дело мировой социальной революции не доведено до конца, пока не опрокинут буржуазный строй во всем мире, пока

не уничтожены последние остатки классового сопротивления революции на всем земном шаре, пока еще нужно пролетарское г о с у д а р с т в о, т.-е. господство, — до тех пор это господство должно осуществляться пролетариатом через его организованную коммунистическую партию. Это возлагает на партию колоссальную историческую ответственность, это предъявляет к ней неслыханные исторические требования, но это ведет только к одному выводу: партия должна стоять на высоте и этой исторической ответственности, и этих исторических требований. Партия должна так регулировать свой состав, свою внутреннюю жизнь, свои учреждения, чтобы с успехом выполнять свою гигантскую историческую задачу. И кто скажет, что Коммунистическая партия, российская и международная (в лице Коминтерна), этого не выполняет?

Конечно, не только прямые враги революции, но и обывательское болото взводит на партию целый ряд обвинений. Ей ставятся в вину все ошибки, все эксцессы и злоупотребления. При этом забывается, что люди есть люди и что в партии, как и везде, могут быть и «свихнувшиеся», и «примазавшиеся». С другой стороны, всякий кризис в партии сейчас же раздувается как признак ее разложения; все «герои» партийных кризисов сейчас же возводятся обывательским мнением в партийных «праведников», которые хотят устранить партийное «разложение», но никак этого не могут.

Но партия твердой поступью идет вперед, мимо всех этих обвинений. Она «вычищает» из своих рядов «свихнувшихся», «примазавшихся», «малодушных» или слишком об себе «вообразивших», — она ведет свою партийную политику в широком стиле, она упорно держит свою связь с пролетариатом, она стремится не «суживаться» и не «замыкаться», а все больше «расширяться»,— она вливает в свои ряды сотни тысяч беспартийных рабочих. Она опирается не на мнения отдельных лиц, а на весь свой коллектив в целом. Все ее «кризисы» есть лучшие показатели ее активного внутреннего процесса. Партия все время на чеку, в напряженном бодрствовании по отношению к самой себе, по отношению ко всем своим задачам, и это создает в ней внутренние буруны и водовороты, которые только выявляют ее внутреннюю силу, нисколько не повреждая ее единой основы и ее монолитной цельности.

Ленинская мысль о том, что «партия», т.-е. организованный авангард рабочего класса, имеет исключительное, неизмеримое значение для успеха революции и для диктатуры пролетариата в переходный от капитализма к коммунизму период, вполне оправдана русским опытом. То, что власть в пролетарском государстве, в конце концов, опирается на партию и возводится к партии, — что партийное решение здесь выше всех других решений и должно проводиться всеми органами государства, имеет свои слабые, но зато и свои неизмеримо более сильные

стороны. На периферии, в местных отделах партии, особенно, наиболее отдаленных и захолустных, в частности, в деревенских ячейках, — это нередко ведет к произволу, к злоупотреблениям и центры не в состоянии за этим уследить, поэтому, как показал ряд процессов из-за обличений селькорами деревенской администрации, возникают иногда настоящие гнезда злоупотреблений властью, но партийная централизация, партийная дисциплина и подчиненность, дает о себе знать и здесь с самой благодетельной стороны. Как только раскрываются партийные злоупотребления, партия, как целое, обрушивается на них всем своим авторитетом, всей своей силой, и нормальное течение вещей восстанавливается, заведшиеся в иных местах гнезда партийных злоупотреблений разоряются до основания.

Партийная организация обеспечивает в партии решающее влияние ц е н т р а м, а центры выбираются партией, как целым, независимо от всяких местных влияний, и эти центры проводят основные идеи всей партийной политики, т.-е. идеи закрепления советского строя, поднятия советского хозяйства, обеспечения советской законности и пр. Опять-таки, по мысли Ленина, специально для бодрствования над составом партии, над уклонением ее членов от партийных задач, как в смысле политическом, так и в смысле этическом, учрежден в составе партии особый центральный орган — Контрольная Комиссия — с ее местными разветвлениями, и этот орган развертывает все более широкую и все дальше проникающую деятельность.

В результате всего этого, мы и в области права и управления, как и в области хозяйства, можем констатировать большие успехи. Становится совершенно ясно, что советская система управления, как и советская система хозяйства, не только не есть что-то «гиблое» и «безнадежное», как провозглашали все буржуазные мудрецы, но что, наоборот, она чрезвычайно жизнеспособна, гибка, а главное, заключает в себе такие начала, каких не было и в помине в старых системах, и которые все больше начинают выказывать свою внутреннюю силу. Эти начала вытекают из самодеятельности трудового населения, действующего в своих собственных интересах. Такая самодеятельность приходит все больше на помощь Советскому хозяйству, и хозяйство под ее влиянием начинает обнаруживать сверхамериканский рост, и такая же самодеятельность самого населения начинает приходить на помощь и праву и управлению, и это обещает поставить их на такую высоту, какой не бывает и не может быть в буржуазных государствах.

Советская власть и Коммунистическая партия не только не препятствуют такой самодеятельности, но, наоборот, всячески ее вызывают и ей покровительствуют. Они дают для нее целый ряд учреждений, они постоянно собирают самые «широкие» конференции, где по всем вопросам своего быта население имеет возможность высказываться с полной откровенностью.

В частности, эта глубокая, низовая самодеятельность населения и полное покровительство ей со стороны партии и Советской власти ярко сказываются в так называемом рабкоровском и селькоровском движении. Это — сильное и здоровое явление новой общественности, и оно обещает самые благодетельные результаты. Советскую Россию, с пеною у рта, упрекали в том, что она уничтожила «свободу» печати, что она, вместо свободного общественного мнения, водворила в газетах «казенных» публицистов, и что, таким образом, вся благодетельная роль печати из советского строя вынута, что ее здесь нет. Ну, мы уже видели, в чем заключается «свобода» и «независимость» печати в буржуазных «демократиях», — такой свободы и независимости советскому строю не надо, он их выкинул без остатка, — а вот, что касается того «порядка», какой этот строй, с своей стороны, водворил в печати, то он теперь с ясностью выявляется в рабкоровском и селькоровском движении. Этот порядок таков, что печать переходит в руки самого трудового населения. Целые полосы даже в так называемых больших газетах отводятся голосу самого населения. А газеты местного значения, уездные, даже сельские, получают, благодаря этому, совершенно новую жизнь и силу. А стенные газеты, — это оригинальное явление Советской России, которое с каждым днем получает все большее значение, — разве они не обязаны своим существованием исключительно самодеятельности самого трудового населения!

В пределах советского строя, из глубины самого населения, начинает вырастать огромная творческая сила, которой советский строй не только не мешает, но, наоборот, всячески ее пестует. Эта творческая сила начинает заполнять всю жизнь СССР. Ее мощь далеко еще не сказалась в полной мере, — это еще впереди, только это самое начало того, что было связано в буржуазном мире и что освобождено в мире пролетарском. Но это начало могущественно и явно действует. Оно подняло из полной разрухи хозяйство, оно устанавливает «новое» право и «новую» законность. Хозяйственная разруха, как и период отсутствия и бездействия права — неизбежны в революции, ибо она разрушает все старое. Но те, кто утверждали, что разруха и бесправие есть «естественное» состояние рабоче-крестьянского государства и что оно от них и погибнет, должны теперь, по чести и по совести, признать, что они жестоко ошиблись.

Рабоче-крестьянское государство не погибает, наоборот, оно все больше и больше «устраивается», прежде всего, в смысле своего хозяйства, но также и в смысле своего управления. Оно быстро перемещается на «правовые» основы (конечно, свои, а не буржуазные), оно водворяет у себя порядок и законность, оно уничтожает злоупотребления и произвол. Оно — на всех парах идет к разрешению своей «правовой» задачи, так же как и всех других своих задач.

ГЛАВА XXII.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. КОМИНТЕРН. ЕДИНЫЙ ФРОНТ ТРУДЯЩИХСЯ.

За восемь лет своего существования Советская Россия создала себе надежную защиту от враждебного ей буржуазного мира. Она овладела своим хозяйством и быстро движется к полному хозяйственному благополучию; она устроила свое государственное управление.

Это — три задачи, без выполнения которых государственная жизнь невозможна. Но то великое дело, которому служит теперь Россия, требует не одного сохранения ее существования. Оно требует творчества, создания «нового» мира, преобразования в «новый» вид всего человечества и каждого отдельного человека. Совершается ли это творчество в России и через Россию? Взошли ли уже тут какие -нибудь пусть только ростки, но в которых, действительно, можно было бы признать зачаток новой культуры, новых человеческих отношений, «нового» человечества и «нового» человека?

Срок, в течение которого существует Советская Россия, так еще мал, что если бы мы на все эти вопросы должны были ответить совершенно отрицательно, то в этом нельзя было усмотреть ничего говорящего против способности пролетарского общества к творчеству новой жизни. Наоборот, не может не вызвать удивления, — удивления и восхищения — то, что мы на все эти вопросы должны ответить у т в е р д и т е л ь н о. Да, творчество нового мира, нового человечества уже началось, оно идет в России и — через Россию — во всем остальном мире. Еще первое пролетарское государство не может считать самого своего существования в полной безопасности, еще $^{5}/_{6}$ земного шара и $^{9}/_{10}$ (если не больше) материальных средств находится в руках буржуазии, еще первое пролетарское государство только выбивается из хозяйственной разрухи и анархии, а творческая мощь тех начал, которые положены в основу пролетарской организации общества, уже дает о себе знать, — она уже пробивает себе дорогу, она уже созидает тот новый мир, по которому всегда тосковало человечество.

В чем же проявляется это «новое», могучее творчество?

Оно проявляется во многом. Трудно даже обнять его, во всей его полноте. Несомненно, оно идет и по таким путям, которых мы еще не замечаем. Но я хочу указать на него здесь в д в у х проявлениях, вероятно, самых главных и самых важных.

«Новый мир», о котором пролетариат с уверенностью утверждает, что он его п о с т р о и т, требует для себя не только новой культуры, но и нового носителя этой культуры: н о в о г о

человечества и н о в о г о человека. И вот, мы определенно можем сказать, что уже созидается — в России и через Россию — и это н о в о е человечество, и этот н о в ы й человек.

Остановимся сначала на первом.

Чтобы создать «новое» человечество, нужно раньше создать просто «человечество». Ведь, доныне человечество было только собирательным понятием. В нем не было е д и н с т в а, наоборот, было полное р а з ъ е д и н е н и е.

А между тем у человечества есть глубокая, биологическая подпочва для единства. Антропологи и этнологи говорят нам, что все люди, какого бы цвета они ни были и к каким бы расам они ни принадлежали, составляют о д и н вид. Происхождение ныне живущего человечества, по преобладающему в науке мнению, м о н о г е н и ч н о, а не п о л и г е н и ч н о. Все мы происходим из одного биологического корня и настолько близки друг к другу, что образуем зоологическое единство. Зоологически, по крови, мы все — братья друг другу. Биологически нет никаких препятствий ни к физическому скрещиванию между людьми, ни к социальному слиянию всех людей воедино. Однако, естественное, зоологическое единство человечества создает только в о з м о ж н о с т ь близости между людьми. Для того, чтобы эта возможность осуществилась, — чтобы создалось с о ц и а л ь н о е единство человечества, — требуется соответствующий, объединяющий социальный процесс. И он также происходит в человечестве.

Этот процесс — есть процесс хозяйственного развития. Под влиянием его из небольших, бродячих человеческих орд стали складываться более многочисленные и более сплоченные родовые группы; затем родовой быт сменился государственным, а государства, все более разрастаясь, дошли до их нынешних размеров, включающих в себе сотни миллионов людей.

Но всякое развитие диалектично; от времени до времени оно переходит в свою противоположность. Хозяйственный процесс, на известной ступени своего развития, также начинает не только соединять, но и р а з ъ е д и н я т ь людей. Это наступило, когда производительность труда настолько увеличилась, что он стал создавать «прибавочный» продукт. Явился соблазн присваивать себе этот чужой «прибавочный» продукт силою или хитростью. На этой почве общество расслоилось на классы, эксплуатация большинства меньшинством легла с этих пор в основу общественного устройства. Она стала господствовать над всем и расколола человечество на враждующие непримиримые части, которые от времени до времени от сотрудничества переходили к взаимоистреблению, к войнам, к революциям...

Так человечество, с одной стороны, нуждалось в объединении, шло к нему, мечтало о нем, а, с другой стороны, не только

его не достигало, но все больше разъединялось, все больше попадало в поток борьбы и вражды. К нашему времени этот факт достиг чудовищных размеров.

Но хозяйственное благосостояние человечества настойчиво требует устранения этого факта, требует соединения усилий всех людей в совместной и дружной эксплуатации сил природы. Без этого обеспечение благосостояния человечества, как целого, невозможно.

И вот теперь, реальный процесс сплочения человечества воедино требует прежде всего соединения усилий всех трудящихся к тому, чтобы выбросить из человеческого общежития разъединяющее его начало эксплуатации одних людей другими.

Процесс в эту сторону идет. Он сделался сознательным с того исторического момента, когда Маркс и Энгельс, в своем Коммунистическом Манифесте провозгласили, обращаясь к рабочим: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Да, этот процесс идет, но он также идет «диалектически».

Для этого процесса нужно выделение из всей массы человечества его лучших, наиболее сознательных, наиболее решительных элементов, чтобы они образовали тот авангард человечества, который должен взять на себя задачу самой решительной, самой бесстрашной борьбы за освобождение человечества. Этот авангард должен быть не только выделен, но и так крепко спаян, чтобы составлять, действительно, единое целое, за общей круговой порукой, как в решении, так и в действии. Это должна быть инициативная группа человечества — в его решимости сбросить с себя то гнусное ярмо, которое на него надето, открыть себе путь к тому светлому будущему, которое уже вполне ему по плечу. Это выделение лучших элементов человечества, прежде всего из рабочего класса, началось тотчас же, как только осознана была самая великая задача человечества. Еще по инициативе Маркса и Энгельса, было основано международное общество рабочих, — так называемый, Интернационал. Этот Интернационал был немногочисленным, но действенным. Он при первой возможности бросился в бой, он повел его со всею решительностью, но он был побежден, потому что не созрели еще массы, да не выработаны были еще и методы успешного действия. Парижская Коммуна, с одной стороны, есть памятник величия первого Интернационала, а, с другой стороны, памятник его недостаточной силы. Авангард человечества составился, но он остался одиноким, массы его не поддержали, он бросился в борьбу, но он был в ней разбит и перестал существовать. Начатое великое дело на время прервалось.

Но оно возобновилось, как только рабочий класс несколько оправился от своего поражения. Вновь было образовано такое же международное общество рабочих для классовой борьбы, или такой же Интернационал, который и получил название второго. Второму Интернационалу пришлось действовать

в эпоху, когда нельзя было поставить на очередь непосредственного революционного действия. Он рос, он завоевывал массы, он преуспевал в парламентской борьбе с буржуазией, но он потерял свои боевые свойства. В него вошло слишком много средних людей, он никогда не подвергал себя «чистке», а его руководителями стали люди, которые потеряли революционный дух, которые самый марксизм стали переиначивать, приспособляя его к своим оппортунистическим целям.

Таким образом, второй Интернационал выродился, он перестал быть тем боевым авангардом человечества, какой ему нужен для освобождения от социальной скверны, и, когда дело дошло до необходимости международного революционного действия, он просто ему изменил: изменил в 1914 г. и изменил в 1918 г., а затем он окончательно покатился под уклон и кончил тем, что отказался от классовой борьбы.

Таким образом, процессом исторической диалектики, этот первый, необходимый для реального объединения человечества шаг: выделение в нем боевого авангарда для революционной борьбы за освобождение труда, в лице первого и второго Интернационала, прошел сперва через тезис, а потом и через антитезис. Первый Интернационал повел борьбу, второй от нее отказался. Он стал отрицанием самой сущности первого Интернационала.

Однако история не могла на этом остановиться. Она должна была выдвинуть отрицание этого отрицания; она должна была дать синтез того, что было силою первого Интернационала — его революционной воли — и того, что было силою второго Интернационала — того, что он опирался на массы; она должна была дать третий Интернационал, который был бы также революционен, как первый, и имел бы такую же связь с массами, как второй. Этот третий Интернационал должен быть революционным, массовым и — уже победоносным.

В настоящее время такой Интернационал имеется, это — Коминтерн. Необходимая предпосылка освобождения человечества от эксплуатации, а, следовательно, и его объединения в единое солидарное целое создана, она налицо.

Но благодаря чему Коминтерн существует именно таким, каков он есть: грозным и могучим мировым фактором, которого буржуазия не может уничтожить, несмотря на то, что она хорошо знает всю его «зловредность» для своего капиталистического строя? — Конечно, только благодаря Советской России.

Коминтерн, прежде всего, такое же детище Ленина, как и Всесоюзная Коммунистическая Партия. Ленин в такой же мере одно с Коминтерном, как и с ВКП. Коминтерн, как и ВКП, есть осуществление одного и того же ленинизма, но только в различных масштабах: всеобщем и частичном. Коминтерн есть идейное продолжение большевизма, перенесенное из

отдельной партии на все мировое революционное движение. Не даром же проводится «большевизация» всех партий, входящих в состав Коминтерна. Она необходима, чтобы Коминтерн был тем, чем он должен быть.

Это идейная связь Коминтерна с Россией, с Лениным, с большевизмом. Но есть и связь другая, фактическая, без которой Коминтерн идейно был бы тем же, что он есть в настоящее время, но фактически был бы совсем другим: отнюдь не той силой, которая так страшна буржуазии.

Коминтерн — совокупность лучших, самых сознательных, самых решительных людей всего мира. Он существовал бы и без Советской России, но он не имел бы тогда той фактической опоры, которая ему нужна для того, чтобы уже в непродолжительном времени перевернуть мир. Дело Коминтерна есть сложное и трудное, притом военное, вооруженное дело. Для такого дела нужна материальная база, нужен обеспеченный тыл. Такую базу Коминтерн имеет в Советской России. Тут он спокойно собирается на свои конгрессы, чтобы всесторонне обдумывать положение и ход вещей, чтобы принимать свои решения. Тут постоянное, безопасное пребывание его организационного центра, Исполкома Коминтерна. Тут находят себе убежище бойцы Коминтерна, когда они оказываются побежденными в той или иной стране. Тут, наконец, имеется Красная армия, со всем ее вооруженным аппаратом.

Коминтерн есть мировое целое, а Советская Россия — только часть этого целого, но сейчас целое опирается на свою часть. Коминтерн, благодаря Советской России, не в подпольи и не без приюта. В лице Советской России он имеет свой дом, или вернее сказать, свою крепость, где все, что ему нужно, к его услугам. И благодаря именно этому, Коминтерн и есть то, что он есть: надвигающаяся на капитализм грозная сила, которой капитализм не может разгромить так, как он стал это делать со своими туземными коммунистическими партиями, объявляя их вне закона, выдвигая против них фашистов и пр.

В лице Коминтерна самая лучшая, передовая часть пролетариата и, следовательно, и всего человечества, уже объединена, слита воедино, сомкнута в тесное товарищество за круговой порукой на жизнь и на смерть ради великого дела освобождения человечества от эксплуатации. Человечество уже имеет свой действенный орган освобождения, и этот орган уже теперь имеет такую силу, что буржуазии его не уничтожить, потому что для этого надо было бы сперва уничтожить Советскую Россию.

Коминтерн уже теперь есть великая мировая сила, — в сущности, самая крупная из всех, какие сейчас действуют в мире. Коминтерн своей организацией охватил все страны мира. Тут он далеко превзошел и первый, и второй Интернационалы, которые не выходили за пределы так называемых цивилизованных стран, оставляя вне своего круга огромные массы чело-

вечества в полуцивилизованных колониальных странах. Первый Интернационал не мог получить такого расширения, второй не хотел.

Коминтерн этого расширения уже достиг, он стал Интернационалом, в полном смысле этого слова. Он соединил Запад с Востоком, белых с цветными. Он, действительно, воплощает в себе идею целого человечества, как она еще никогда не воплощалась ни в каком другом учреждении, и он не только воплощает идею, но и соединяет всех трудящихся на общем деле: Коминтерн не есть только слово λόγος, он есть дело (Ἔργον), или Ἐνέργεια. Или, если угодно, он есть одновременно и слово, и дело, — идея, не только провозглашаемая, но и приводимая в действие. Пользуясь выражением Фулье, можно сказать, что Коминтерн есть величайшая идея-сила — idée-force, — потому что это идея, имеющая за собою мировую организацию абсолютно ей преданных, безгранично-смелых, трезво-реалистичных, остро-проницательных людей.

Пусть буржуазия и приплясывающие рядом с ней социал-предатели не утешают себя тем, что коммунистические партии, особенно в некоторых странах, не очень многочисленны, а, с другой стороны, тем, что в этих партиях идут постоянные кризисы, исключения членов и пр.

Для Коминтерна, как организации и как силы, дело не в численности, а в отборе. Коминтерн должен вмещать в себе умственный а, главное, волевой цвет человечества. Он должен быть собранием и организацией самых надежных, самых верных революции людей всего мира. Их не может быть много. Из их организации надо устранять всех, кто не на высоте революционного сознания, а особенно революционной воли. Иначе это будет пагубно для организации, это будет грозить ей участью социал-демократии и Второго Интернационала. Коминтерн должен быть организацией абсолютно подобранной, чистой. Отсюда необходимость не только приема по выбору, но и чистки уже принятых. Отсюда же и неизбежность кризисов внутри коммунистических партий, исключения из них отдельных лиц и целых групп, и пр. Это — процесс не болезненный, а здоровый, это — не признак расслабления, а признак сосредоточения силы. Среди Коминтерна не должно быть слабых, ненадежных, малодушных, колеблющихся, неспособных выдержать самых суровых испытаний. Только такие должны там решать и исполнять решения. И только такие превращают Коминтерн в то, что он есть на самом деле: в орудие революционного действия, заранее точно намеченного, бесстрашного и безошибочного.

Коминтерн вмещает в себе таких решительных людей во всех странах и у всех народов. Авангард пролетариата и крестьянства для революционного действия уже отобран, организован,

по местам он уже частично действует, и он готов к о б щ е м у действию.

Но для объединения всего человечества, заслуживающего этого имени, т. е. т р у д я щ е г о с я человечества, сперва на общем революционном действии, а потом и на общем труде, нужен не один авангард, — нужны м а с с ы, которые стали бы вокруг этого авангарда. Это революционное объединение масс еще не достигнуто, но оно явно и быстро идет вперед. Некоторые факты последнего времени доказывают это с непререкаемой ясностью. Рабочие массы всего мира еще не вступают в коммунистические партии и в Коминтерн — это, ведь пока и не нужно, — но они настойчиво требуют единого рабочего фронта против капитала. Они требуют не партийного, а профессионального объединения, и не для мира и соглашения с капиталом, а для решительной борьбы с ним. Убеждение в необходимости м и р о в о г о объединения всего рабочего класса, в отстаивании им своих профессиональных интересов против натиска капитала, принимает в настоящее время именно м а с с о в ы й характер.

В этом отношении то, что делается сейчас в самом зрелом, опытном, к о н с е р в а т и в н о м рабочем классе, а именно в английском, просто поразительно. Казалось бы, социал-соглашатели должны были бы иметь здесь наибольший успех, да они, как будто, его и имеют, но сама масса, трэд-юнионистская масса, упорно поворачивает в сторону е д и н о г о рабочего фронта для борьбы с капиталом. И спокойные, благоразумные, медлительные англичане нисколько не боятся того, что этот путь ведет их в Советскую Россию, к пресловутым большевикам, а, следовательно, и к «зловредному» Коминтерну. Они настолько этого не убоялись, что приехали в Россию, чтобы видеть ее воочию, а увидевши, сказали: то, что происходит в России, есть быстрое возрождение хозяйства и обеспечение благополучия рабочего класса и крестьянства. Правительство СССР, действительно, рабоче-крестьянское правительство, и оно работает на благо трудящихся. Успех этой работы таков, что дай бог и нам!

Вот что сказали английские трэд-юнионисты о Советской России, и они решили создать действительное объединение между профессиональными союзами Англии и России. Теперь они упорно над этим работают.

Капитал наступает на рабочий класс. Он удлиняет рабочий день, он понижает заработную плату, а сам накопляет миллионы и миллиарды, как никогда. Объективные условия заставляют рабочих всего мира сплотиться, объединиться. «Пролетарии всех стран» начинают соединяться уже не на лозунге, а на своем кровном деле. Сознание необходимости объединения рабочего класса для общей, обдуманной и согласованной борьбы становится у трудящихся не теоретическим, а практическим, действенным. За него взялись самые практичные и самые вдумчивые из рабочих — англичане.

Это — процесс мировой и неизбежный. В нем создается уже организация объединения не «верхушки» трудящихся, не одних решительных и дальновидных, а самой массы, тех «средних» людей, которые не всегда достаточно сознают, часто колеблются, боятся и пр. Вся рабочая масса осознает свое положение, перестает колебаться, приходит к выводу, что бездействие «страшнее» действия, потому что капитал тоже не бездействует, а все больше захлестывает петлю на шее рабочего.

Вырастает, таким образом, факт, который будет окончательным и решающим. Ибо, как бы ни была буржуазия сильна экономически и технически, но ее сила все-таки условная: если ей повинуются массы, или, по крайней мере, значительная их часть. Действительный единый фронт всех трудящихся против капитала, — фронт, не прорываемый ни обманутыми ни обманщиками, — будет силой непреоборимой для капитала. Силой, перед которой капитал должен будет капитулировать без борьбы, или, если он так не захочет, с борьбой.

И эта сила растет, растет на Западе и Востоке. И социал-предатели уже не в состоянии отклонить ее от борьбы с капитализмом.

Но она растет — через Россию; через русский пример, через русское мужество, через русский успех.

Все большее и большее количество трудящихся всего света начинают говорить себе и другим: «надо было следовать русскому примеру; надо было иметь русское мужество; надо было пользоваться благоприятным моментом, тогда был бы в руках и русский успех». — Слова эти связаны с сожалением и досадой, но они же связаны и с решимостью: приняться за то, что было упущено. И эта решимость толкает самых передовых и самых смелых — в Коминтерн, а массу — в мировое профессиональное объединение. Коминтерн уже ведет, а единый рабочий фронт поведет решительную борьбу против капитала. В этой борьбе слагается, и все больше будет слагаться, человечество, не раздробленное ни на расы, ни на народы, ни на классы, — человечество единое, дружное, солидарное, и притом действительное, а не представляемое или только ожидаемое.

В этом великом процессе Россия играла и играет огромную роль. Через нее он проходит; в ней он имеет для себя прочную опору.

ГЛАВА XXIII.

ПРОБЛЕМА «НОВОГО» ЧЕЛОВЕКА. ЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ В ПРОЛЕТАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ. ЮНЫЕ ПИОНЕРЫ.

Великий исторический процесс, создающий цельное, единое, солидарное человечество, идет. Объективные условия даны для него развитием хозяйства, которое переросло национальные

рамки и требует мирового масштаба. Буржуазия идет в разрез с этим объединяющим человечество процессом. Она тоже хочет создать *мировое* хозяйство, но только так, чтобы оно служило не всему человечеству, а кучке миллиардеров. Это вносит в человечество рознь, вражду, борьбу, *разъединяет* человечество на классы и на национальности.

Только полное уничтожение господства буржуазии, только социальная революция может прекратить этот «зловредный» процесс разъединения человечества на враждующие группы и открыть путь к мировому хозяйству, находящемуся в руках единого, солидарного, трудового человечества.

И вот мы видим, что достаточно было среди буржуазного мира создаться одному пролетарскому государству, как это уже повернуло весь мировой процесс в другую сторону. Разлагающее влияние буржуазного строя на человечество явно пошло на убыль, разъединяющие процессы остановились, и могущественно совершаются процессы объединения всего трудового человечества.

Но будущее *единое* человечество, уже потому, что оно будет *единым*, станет вместе с тем и *другим*. Оно будет состоять из людей, не похожих на нынешних. Будущие члены единого человечества будут по-иному мыслить, по-иному чувствовать, у них будут иные характеры и иные отношения друг к другу.

Нынешние люди, по крайней мере, в своей массе, не годятся для этого будущего, единого, солидарного человечества. Они жили при старых условиях, они при них *сложились*, как бы отлились в известную форму и в ней застыли. Им уже трудно перемениться. Горбатого исправляет только могила. В обетованную землю нового человечества вполне пригодными членами войдут не старые, а новые люди. Только *новые* люди сделают новое человечество тем, чем оно должно быть. Таким образом, тот коренной переворот, который в настоящее время совершается в мире, вместе с тем во весь рост ставит перед нами и проблему о будущем, *новом* человеке.

Что это будет за человек? И можно ли заметить какие-либо ростки его созидания в единственном пока пролетарском государстве, в Советской России?

Старый человек, по крайней мере в его массе и в его среднем типе, отличается одним явным и крупным недостатком: у него нет равновесия между его *сознанием* и его *чувствами*.

Сознание у «старого» человека есть — но оно недостаточно выросло, не имеет достаточной силы, а чувства и импульсы не согласованы с содержанием этого сознания. Благодаря этому человек потерял «естественность» животного и не приобрел действительного «достоинства» человека. Животное действует под влиянием импульсов, и оно всегда «достойно» самого себя. А человек, уже *сознающий*, что надо поступать так, а под влиянием *импульсов* поступающий иначе, — не «достоин»

самого себя и несет с собой «неодобрение», идущее либо от других, либо от него же самого.

Этот недостаток страшно обострился у людей, когда человечество, 7 — 8 тысяч лет тому назад, вступило в свою «классовую», «эксплуататорскую» эпоху. Классовое общество не только разделило человечество на группы, водворило классовую и национальную вражду, но и создало «неестественные» условия для самой человеческой природы. Человеческая природа — общительная, она предназначена для сотрудничества между людьми. Сотрудничество в человечестве и совершается в настоящее время, в виде чрезвычайно сложной системы соединения и разделения труда, но это сотрудничество исковеркано, осквернено фактом эксплуатации одних другими.

Фабрика, завод работает как одно и притом чрезвычайно сложное целое. В нем рычаги помогают рычагам, колеса колесам, ремни ремням, люди людям. Общим, очень тонким и искусным сотрудничеством людей и вещей чрезвычайно повышена производительность труда, создающая огромное количество ценностей, но львиная доля этих ценностей достается акционерам, купонщикам, которые не только не участвуют в производстве, но очень часто не видали ни фабрики, ни завода и нисколько ими не интересуются. Они проживают на Ривьерах, по Монакам, ведут праздную, низменную, животную жизнь, теряют в этой жизни человеческий образ и человеческое достоинство. А в это же время рабочие на фабриках и заводах надрывают свои силы, растрачивают свое здоровье, не получают просвета к культуре, не имеют возможности подумать о своем человеческом «достоинстве». А рядом с работающими стоят еще и безработные, «резервная армия» капитала, и эти безработные голодают или, в лучшем случае, живут на «жалкое» пособие от государства, т.-е. на милостыню со стороны капитализма. И «работающие» с «безработными» меняются местами, как в кадрили, и рабочий, эта о с н о в а человечества, не имеет уверенности в завтрашнем дне, должен постоянно дрожать из-за куска хлеба...

Эта система человеческих отношений не может не отзываться на самой конституции людей, живущих в ней, т.-е. на человеческих х а р а к т е р а х. Человеческие характеры этой системой извращаются. Истинная человеческая природа в них искажается, теряет свои ценные свойства, становится в высшей степени непривлекательной. Тунеядцы и эксплуататоры теряют человеческий образ, потому что они с жиру бесятся, а человеческий лик рабочего искажается судорогой от непосильной работы, от бессильной злобы.

Все «человеческое» общежитие проникается атмосферой взаимной вражды, взаимной ненависти и презрения. «Самоуважение» всех участников такого общежития сильно понижается. Как те, кто играют роль хищных зверей в человечестве, так и те,

кто низведены в нем на степень вьючных животных, не могут не ощущать недовольства собою. Хищник, в возникающие иной раз и у него по случаю какой-нибудь «оказии» «светлые промежутки», не может не упрекать себя за то, что он был только хищником, обжорой и развратником, а эксплуатируемый не может не упрекать себя всю жизнь за то, что он не имеет мужества решительно и бесповоротно восстать против эксплуатации, поднять знамя «бунта» против своего тяжкого положения и лучше погибнуть в борьбе, чем продолжать так жить.

Тип «старого» человека — ненормальный, искаженный, не соответствующий подлинной человеческой природе и заложенным в ней возможностям. Человек здесь вечно падает с достигнутой его природой высоты вниз, в животную низину, и он не может быть собою за это доволен и не может не испытывать недостатка уважения к самому себе.

Все это факт — факт очевидный. Его, между прочим, хорошо знали религии. Блаженный Августин, изображая самого себя в «греховный» период своей жизни, говорил: Video meliora, proboque, deteriora sequor — «Я вижу лучшее и его одобряю, а следую все-таки за худшим». Священное писание дает и очень меткое определение внутреннего существа «старого» человека: он есть «тварь дрожащая». Да, именно «тварь», а не «творец», и притом «тварь дрожащая»; в нем еще слишком мало человеческого мужества и слишком много животного страха, — страха перед явлениями природы, страха перед силою другого человека — страха перед смертью.

Религии метко констатируют и правильно описывают факт душевной немощи «старого» человека. Но они дают ему совершенно неправильное истолкование, которое не улучшает, а ухудшает положение дела для человека. Они говорят: человеку нужно «спасение» от немощей его природы и от гнусностей его жизни. Но это «спасение» совершенно не в его силах. Ему нужна «помощь» сверху, ему нужен «бог-спаситель», ему нужна «благодать», исходящая с небес. А «спаситель»-то в религиях только мифический, и никакой реальной помощи с небес нет, и человеческая жизнь, особенно в наше время, превратилась в полную «мерзость». Религии дело «спасения» людей отвели на «небеса», а здесь, на земле, они торгуют и очень выгодно торгуют своей «благодатью» в пользу насильников и эксплуататоров.

Религии поставили проблему о «лучшем» человеке, но они ее не разрешили, а извратили и потопили в море религиозных сказок и измышлений. Религии и здесь, как и везде, тянут человека не вперед, а назад, не к улучшению, а к ухудшению.

Весьма интересно и чрезвычайно характерно поставил эту же проблему о «новом» человеке и один из самых блестящих умов человечества, противник религии, хулитель и ненавистник христианства. Это — Ницше.

Ницше не находит достаточно сильных слов для выражения своего презрения к «современному человеку». Для него нынешний человек — это жалкое, ничего не стоющее, никуда негодное существо. Если он «раб», то и вполне заслуживает своей участи, как бессильный сбросить с себя рабство. Такого человека совершенно незачем «спасать», наоборот, надо, чтобы он «погиб», исчез, уничтожился. Религия «сожаления» к этому человеку — христианство — есть «рабская», недостойная настоящих людей религия. Надо не сожалеть «рабов», а «бичевать» их, и не на словах только, но и на деле. «Падающего» — подтолкни, пусть падает скорее. Нынешнее человечество должно прейти — untergehen, оно есть только «мост» к настоящему человечеству, по которому надо пройти и который надо за собою разрушить, чтобы никогда больше не возвращаться назад.

Нынешний человек, по мнению Ницше, есть «переходное», обреченное на гибель существо. А каков же будет будущий, новый человек?

Это будет «сверх-человек», — отвечает Ницше. Это будет не «раб», а «господин». Он будет не немощен, а могуч, он никого и ничего не будет бояться, ему не нужна будет религия «утешения», он ни у кого не будет просить пощады и никому ее не будет давать...

И так как мысль Ницше работала в «идеалистической» пустоте, вне соприкосновения с «социальной» действительностью, — так как он отрицал современного человека, но не отрицал современного человеческого устройства, то образ его «сверхчеловека» не отделился от буржуазного, эксплуататорского мира, а, наоборот, соединился с ним. Он стал образом всемогущего «эксплуататора», экономического и политического «владыки», но «владыки», который открыто сбросил с себя все стеснения, все сожаления и сочувствия, который презирает своих «рабов» и окончательно низводит их на степень домашних животных.

Так, оторванная от социальной почвы, начертанная на воздухе, система Ницше превратилась в оправдание, в идеал, и даже в апофеоз буржуазного «господства». Она, как бы, уполномачивала исторический процесс продолжать «отбирать» немногих от многих, «владык» от «рабов», и при этом обещала все «достоинство» человечества перенести на «господ», оттеснив «рабов», если не прямо на ступень животных, то, во всяком случае, и не настоящих, а низших представителей человеческой породы. Выходило, что «сверхчеловек» — это чуть ли не миллиардер, в роде Моргана или Форда, который своим «умом» и «капиталом» достиг «высшего» владычества над людьми.

Но едва ли это не буржуазная аберрация действительной мысли Ницше. Да, сверх-человек — это сильный, могучий человек, но его сила, по Ницше, прежде всего внутренняя. Да, он господин, владыка, а не раб, но прежде всего над

самим собой. Какой главный признак этого нового, сильного, могучего человека? Ницше говорит: то, что он может «свободно умереть» — frei sterben. Он не дрожит перед смертью, он не «тварь дрожащая». В нем нет животного страха, он не раб своих животных желаний, он господин над самим собою — в лице своего «сознания». Он поступает так, как он сознает, как он считает нужным. Если что падает и должно упасть, он не колеблясь его подтолкнет, не пощадив при этом ни себя, ни других.

Вот образ «сверхчеловека», если в нем оставить только его внутренний смысл. Это человек высшей воли и высшего сознания. Все остальное, что вносил в него сам Ницше, или за него другие, есть только плод социальной аберрации.

И вот, если мы возьмем образ сверх-человека в этом его внутреннем смысле, то он светит вовсе не «буржую», а именно пролетарию. Он «прообразует» и «предсказывает» отнюдь не будущего буржуя, а именно будущего пролетария. «Буржуй», по всей своей природе, нагл, но подл, и, главное, труслив. Если кто есть «тварь дрожащая», так это именно он, потому что он дрожит и за свое богатство, и за свою «драгоценную» жизнь. Куда же ему — «свободно умереть!». Он хочет жить, жить во что бы то ни стало, и жить именно всеми низшими, животными сторонами человеческой натуры: купаться в своем «богатстве», упиваться, объедаться, развратничать, проявлять свою гнусную власть над другими, и пр.

А пролетарий уже и теперь имеет этот главный признак «сверхчеловека»: он «свободно умирает!». Не бессмысленно, не в виде самоубийства от сплина или с отчаяния, а в борьбе за свое человеческое достоинство и за лучшую жизнь. Он поднял знамя бунта против своего «рабства», и он в этой борьбе не щадит ни себя, ни других. Он заранее готов умереть в битве, и он твердо говорит себе и другим, что лучше умереть в борьбе, чем жить в рабстве. Так недавно сказали эстонские пролетарии, и так они и поступили. Так поступают румынские, болгарские, польские, венгерские и иные коммунисты.

Вот эту сторону будущего, «нового» человека в «новом» человечестве: его внутреннюю силу, владычество в нем сознания, повиновение сознанию животных импульсов — Ницше выявил своей теорией «сверхчеловека» лучше, чем кто бы то ни было другой.

Но как ни верна теория Ницше с этой стороны, все же она есть плод вне-социального мышления; а мысль о человеке, оторванная от социальности, никогда не может быть до конца плодотворной. Пусть верно, что будущий человек будет «сверхчеловеком», т.-е. гигантом по сравнению с нынешним жалким человеком силою своего сознания и воли и их властью над чувствами и инстинктами. Но как создастся эта сила и власть?

Каким реальным процессом «образуется» и «возникнет» этот будущий, одинаково «сознательный» и «сильный» человек?

Вот тут теория Ницше может давать только ложные просветы. Она, ведь, построена на «индивидуализме», она обращается к отдельному человеку, она приглашает его стать «сильным» независимо от других, она связывает успех его «возвышения» только с его собственными усилиями. Выходит так, что индивидуум должен отделиться и возвыситься над средой, порвать свою связь с другими людьми, — тогда он станет «сверхчеловеком», пусть даже не в худшем, а в лучшем смысле этого слова...

Но, ведь, это абсолютно неверно и неосуществимо. Человек не может ни «выскочить» из социальности, ни «подняться» над ней. Он есть и будет всегда внутри общества. Поэтому, если мы предполагаем какую-нибудь перемену в человечестве, то мы непременно должны мыслить ее осуществление социально, а не индивидуально.

Сила сознания и воли, сама по себе, отвлеченно, вне социальной среды и вне общественной жизни, вырасти не может. Ведь, тут нужна глубокая внутренняя перемена в природе человека, а она может быть достигнута только изменением окружающих человека социальных условий и соответствующей системой социального воспитания. Скажем прямо: новый тип человека можно создать только массовым образом, только социально, а не индивидуально. Надо поднимать вверх всех, а не некоторых только, надо повышать человеческую природу как таковую, а не в виде исключений, только тогда задача создания нового человека может найти себе свое реальное осуществление.

И вот, подходя к этой задаче именно так: реально, в связи с социальностью человека и в связи с общественными условиями его существования, мы должны сказать, что переработка человеческих чувств и человеческого сознания должна итти в виде одного и того же процесса. Не возвышение силы нынешнего сознания над нынешнею системою чувств, а сразу переделка как системы чувств, так и силы сознания, вот единственный метод осуществления этой задачи. Какой же реальный процесс может это дать?

Это может дать только процесс подлинной общественной жизни, соединенный с подлинным социальным воспитанием.

Какая общественная жизнь может быть признана подлинной?

Только та, в которой перед ее участниками поставлена общая цель, добровольно принятая всеми, и где эта цель осуществляется за круговой порукой. Общественная жизнь бывает подлинной, когда в ней считаются не друг с другом, а только с общей целью. Когда каждый вносит в общее дело все, что он может. Когда успех общего дела является для всех желанной наградой за все усилия и жертвы.

Когда это так, тогда каждый поддерживает другого. Тогда у всех развиваются социальные чувства. Тогда у всех вырастает сила воли, и она стоит не в противоречии, а в согласии с общими чувствами. Тогда общество превращается в настоящий коллектив. И только тогда получается гармония, равновесие между чувствами и сознанием у всех и каждого. Вырастает одновременно и высшая сила сознания и высшая сила чувств. Получается не только возможность, но даже внутренняя необходимость для членов общества, раз это требуется общей целью, — «свободно умереть». Не только исчезает страх смерти, но явственно переживается «обаятельность» смерти, как возможного высшего из человеческих поступков.

В подтверждение последнего, позволю себе привести здесь отрывок из воспоминаний Созонова о Каляеве. Дело происходило накануне убийства Каляевым великого князя Сергея.

— «Я часто думаю, — говорил Каляев Созонову, — о последнем моменте. Уже начинает казаться близким, сбыточным... Мне бы хотелось погибнуть на месте — отдать все — всю кровь до капли... Ярко вспыхнуть и сгореть без остатка... Смерть упоительна!..

«Я взглянул на говорившего, — рассказывает Созонов. — Тон спокойно-торжественный. Ни тени аффектации... Только глаза горят ярче обыкновенного. И лицо странное, незнакомое, преображенное, сияет.

«Замолк... Тишина...

«Я похолодел и непроизвольно схватил его за руку. Схватил и боюсь отпустить. Держу и гляжу в чудное лицо.

«Он улыбнулся и снова заговорил:

— «Да, это завидное счастье. Но есть счастье еще выше — умереть на эшафоте. Смерть в момент акта как будто оставляет что-то незаконченным... Между делом и эшафотом еще целая вечность, — может-быть, самое великое для человека. Только тут узнаешь всю силу, всю красоту идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... как колос созревший, полновесный»...

Вот он — гимн смерти! Вот она песнь торжествующего свободного решения — умереть! Смерть Каляеву или Созонову уже не страшна, а «упоительна», но во имя чего? — во имя о б щ е й, добровольно принятой цели.

Так подлинная о б щ а я жизнь, за круговой порукой ради общей цели, делает человека г и г а н т о м, поднимает над другими людьми, делает «сверхчеловеком».

Но по поводу Каляева, Созонова, народовольцев и других героев, «свободно» убивавших и «свободно» умиравших в эпоху господства буржуазии, нельзя не сказать, что процесс их «возвышения» над людьми все же не тот, каким он будет в эпоху «общей» жизни в с е х трудящихся, т.-е. в эпоху коммунизма. Каляевых, Созоновых, Лопатиных, Фигнер — было так мало,

они в такой мере были лишены поддержки человеческой «массы», что их «возвышение», их «героизм» в значительной мере, был, действительно, их **личным** делом. Поэтому он был нечеловечески труден, и было не мало таких, у которых он срывался.

Созонов говорит, что у Каляева, когда он говорил то, что приведено выше, не было «ни тени аффектации». В ближайшем смысле, это, конечно, совершенно верно. Каляев говорил то, что он уже раньше продумал и прочувствовал, говорил спокойно, как решенное и непоколебимое. Но в более отдаленном смысле, нельзя не видеть «аффектации», т.-е. напряженной и трудной эмоциональности как в психологии говорившего Каляева, так и в психологии слушавшего его Созонова. Это было — и не могло не быть, — потому что народовольцы и террористы как по своей теории, так и в действительности, были только отдельными «сознательными» личностями, за ними не было массы. Если бы они ощущали за собой массу, если бы реально они с ней соприкасались, действовали вместе с ней, то вся их психология была бы совсем другая, не такая аффектированная, более простая и не такая трудная. Она приблизительно соответствовала бы пословице: на миру и смерть красна. Смерть «на миру», при непосредственном одобрении «мира», не только «красна», т.-е. прекрасна, но и проста и легка. Она не требует такого страшного напряжения сознания и воли, как смерть в одиночку, или еще хуже того: при непонимании и несочувствии окружающих масс. Тут героизм **лично** достигает высшей степени, но он не есть «образец», не есть «прообраз» будущего. Прообраз будущего — это покойное, не-аффектированное, простое и легкое, действие **в массе и с массой**. То действие, какое требуется общей массовой целью.

Должна жить и действовать масса; должен творить жизнь коллектив. И действие в нем отдельного человека, каково бы оно ни было: будет ли это смерть на опасном посту рядового человека, или акт гениальности — все это должно не иметь претензии на выделение, должно «тонуть» в коллективе, должно быть простым и естественным, само собою разумеющимся. Что из того, что один более, а другой менее одарен, — что один способен к одному, а другой к другому? Это только «естественные» различия между людьми, тут нет ни особой добродетели ни особого порока. А суть в том, что все живут **сообща**, ради общей цели, и, с этой точки зрения, все друг другу равны и все друг другу одинаково угодны. Нет **отделения** друг от друга, нет счетов друг с другом, — есть лишь **совместность**, есть **коллектив**. И вот это-то и есть — «идеал» и «прообраз» будущего.

Будущий «новый» человек есть прежде всего член коллектива. Он живет на «коллективе» и действует вместе с «коллективом». Поэтому, кто бы он ни был, он всегда достаточно «силен»,

и достаточно «сознателен». Его «сознание» и «сила» — есть сознание и сила его коллектива. Он отнюдь не «жалкое» существо, нуждающееся в «спасении» и «утешении»; он отнюдь не «тварь дрожащая». Нет, он — «творец» и «владыка», — «творец» и «владыка» вместе со своим коллективом. Он не «сверхчеловек», а «со-человек»; он не отделяется от коллектива и не возвышается над ним, а «тонет» в нем, «сливается» с ним до «неотделимости».

И это и есть, в сущности, нормальное состояние человека, вполне согласное с его природой. Природа человека «общественная». Человек так и должен жить в группе и вместе с группой. И чем эта группа обширнее, тем это лучше для человека. Последний предел в этом отношении — все человечество. Только когда все человечество сольется в один трудовой коллектив, каждый отдельный человек получит свою наибольшую силу и красоту, реализует свою наибольшую ценность и для себя, и для других. [1]

Итак, вся суть не в отдельном человеке, не в индивидууме, а в коллективе, в массе. Как только человек уходит от массы — и не только в свою корысть, но и в свой гений или в свой подвиг — это уже ненормально, это уже пагубно и для индивидуума и для массы. Индивидуум должен жить и действовать вместе с массой и ради массы. Тогда сразу преобразуется «мир», а в этом мире преобразуется сам человек. Тогда вся картина человечества станет совершенно иною: все сделается другим, не тем, чем было раньше. И поскольку мы в состоянии даже не размышлять, а просто вслушаться в самих себя, ощутить нутром свое нынешнее благополучие и неблагополучие, довольство и недовольство, — это и есть то, о чем мы тоскуем, чего мы страстно желаем: жизни сообща, слияния в общем деле и в общей воле.

Нынешняя наша жизнь идет под знаком «мировой скорби», мировой «тоски». Нами владеет, как владела когда-то и римлянами, «taedium vitae» — скука жизнью, недовольство жизнью. Мы никогда не испытываем ни полной радости нашей жизни ни уважения к ней. И нынешние «успехи» человечества, даже успехи науки и техники, ничего не изменяют в этом положении, наоборот, они еще усиливают наше недовольство и нашу тревогу,

---

[1] Эта мысль о значении коллектива и общественности для индивидуума и индивидуальности (в смысле усовершенствования их организации и повышения их ценности) имеет гораздо более широкое значение, чем то, какое здесь изложено. Значение это — не социологическое только, а биологическое. Общественность и общая жизнь — это есть средство повышения животной организации на всем протяжении животного развития: от амебы до человека. Я пытался обосновать эту мысль в этом широком ее масштабе в моем труде «Происхождение и развитие общественной жизни», 1925 г., т. I. В нем я доказываю, что общественность есть один из главнейших факторов прогресса животной организации, к сожалению, до сих пор не оцененный достаточно в этой своей роли биологами по специальности.

потому что они попадают в русло человеческой вражды, потому что они грозят нам реализоваться в таком человеческом взаимоистреблении, перед которым бывшая мировая война окажется детской игрушкой.

«Спасение» человечества от этой «тоски», от явной «бессмыслицы» нынешней жизни, только в активном выступлении на сцену жизни масс, в подчинении деятельности «отдельных» и «немногих» — интересам «всех», в установлении подлинной «общей» жизни. Оно и даст нам того «нового» человека, который реализует подлинную человеческую природу.

Мы спрашивали: можно ли уже заметить в советской стране «ростки» этого будущего, нового человека? идут ли здесь какие-либо процессы, которые его создают?

Да, это несомненно так.

Выступление на арену масс, поскольку оно уже совершилось, а в особенности в России, — слияние с этим выступлением и подчинение ему «отдельных» лиц, поскольку оно тоже совершилось, и, в особенности, в России, — уже выдвинуло на сцену особый тип человека: это тип «большевика». Тип «большевика» — это вовсе не тип «партийный», или только «политический», тем менее только «национальный». Нет, это тип «человеческий» или «общечеловеческий». «Большевик», как это слово употребляется теперь во всех языках, вовсе не обозначает только члена определенной партии, или человека определенного политического направления, нет, оно обозначает, вообще, особого человека, человека с особыми свойствами. Блистательным представителем типа «большевика» был Ленин, но вовсе не одной своей политической программой или методами своих действий, а именно всей своей личностью, всеми своими человеческими свойствами. И если мы захотим из этого блистательного представителя «большевизма» извлечь самую сущность его типа, то мы должны будем сказать так: Ленин — гигант, гигант мысли и воли, но он не ницшеанский «сверхчеловек», а большевистский «со-человек». Его сила — не в нем лично, а в его связи с массой, в том, что он и масса — это одно и то же. Его личная одаренность — исключительно велика, но цена этой одаренности была бы совсем другой, если бы он стоял и действовал о д и н, как гениальная, «критически-мыслящая», «сознательная» и т. п. личность. Но Ленин слит с массой, слит со всем трудовым человечеством, и цена ему безгранична, ни с кем и ни с чем не сравнима.

Поэтому тип «большевика» — это тип человека, безоговорочно сливающегося с массой. целиком присоединяющегося к массе в ее «нынешнем» действии: борьбе за свое освобождение. Поэтому далеко не всякий большевик есть «большевик». Поэтому «большевиков» больше всего из самой трудовой массы. Поэтому современная интеллигенция — не очень подходящий материал для «большевизма». Поэтому «большевизму» требуется

и такой тщательный «отбор», и постоянно возобновляемая «чистка».

Таким образом, практический путь к созданию «нового» человека лежит через коллективность, через общую, массовую жизнь. В эту общую, массовую жизнь нас тянет теперь сама история. Трудовые массы — прежде всего пролетариат, а в последние годы и крестьянство — уже всколыхнулись, они все больше выступают на арену истории, они все больше требуют своего права — а это право, по своему внутреннему существу, есть именно право на общую жизнь, на коммунизм и в производстве и в потреблении, — они все решительнее ведут борьбу за это свое право, — эта борьба стала уже в самом центре мировой истории, — и те, кто к ней примкнули безоговорочно и бесповоротно, уже переделываются в своей природе, уже делаются новыми людьми, подлинными «со-человеками», сильными, простыми, ясными, не «лирическими», а «эпическими», как сильна, проста, ясна и эпична сама масса.

«Новый» человек реально выковывается, выковывается самой историей, самой нынешней фазой мирового процесса. Но человек отличается от животного тем, что он не только «формуется» историей, но, до известной степени, и сам себя «формует», и притом тоже в социальном, а не в индивидуальном смысле. То средство, которым он это делает, есть воспитание — система социального воспитания подрастающих поколений.

Советская Россия социальное воспитание поставила одной из своих главных задач. Она радикально реформировала старую школу, она настойчиво ищет «новых путей» к воспитанию: новых программ обучения, новых методов преподавания, новых отношений между учащими и учащимися. В этом отношении много сделано, еще больше надо сделать. Тут мы имеем и значительные успехи — и еще больше неразрешенных задач.

Но среди этих усилий, среди этих исканий и энергичной воспитательной работы в значительно уже преобразованной школе, как-то сама собой, вдруг и неожиданно, по инициативе самой трудовой массы, прежде всего на фабриках и заводах, всего два-три года тому назад, появилась воспитательная сила, которая стала сразу гигантски вырастать, которой, несомненно, принадлежит все будущее социального воспитания. Это — пионерское движение.

В чем сущность пионерского движения?

В коллективности, в массе. Ребенок внедряется в массу, он в ней живет, он в ней формируется. Под влиянием массы в нем складывается его характер, чувства, мышление, действие. Он становится массовиком в полном смысле этого слова. Он ведет не отдельную, а общую, коллективную жизнь. Перед ним непрестанно общие цели коллектива и средства всех для их достижения. Ребята постоянно на виду друг у друга, под общим

перекрестным взором взаимной оценки, под общим взаимным воздействием товарищеского одобрения или неодобрения. Взаимным влиянием друг на друга они сглаживают все свои «индивидуальные» шероховатости и острые углы, они, в смысле общественности, «окатывают» друг друга, как окатываются друг о друга камни на морском берегу.

Это — то влияние «товарищества», которое никогда не было скрыто от взоров, которое всегда признавалось воспитательным. Но не надо забывать, что это влияние может быть правильно поставлено, может давать благодетельные результаты только при известных общественных условиях. Ведь, и в былых привилегированных школах, в роде училища правоведения или императорского лицея, культивировалось «товарищество». Ведь, и в каждом классе каждой школы, как следствие антагонизма учащих с учащимися, возникало между школьниками свое «товарищество» и своя «товарищеская»» этика, на почве подсказок, на почве сокрытия разных проказ или даже пакостей, и т. п. Но это не те «товарищества», которые желательны и благодетельны для юного формирующегося человека. Эти старые «товарищества» целиком отражали в себе уродливую структуру общества с его уродливой школой и формировали приспособленного к ней, искаженного, уродливого человека.

Только трудовое, рабоче-крестьянское общество может дать этому могучему воспитательному фактору — «товариществу» — правильную постановку, как и извлечь из него все его благодетельные результаты.

В этом обществе «товарищество» поставлено прежде всего во всю его широту: это товарищество общечеловеческое, это товарищество в с я к о г о ребенка со всяким другим. И тут уж, даже в нынешнюю переходную эпоху жестокой борьбы пролетариата с капитализмом, не делается разницы между сыном буржуя или нэпмана и сыном пролетария. Дети — все дети. Они не несут на себе наследственного клейма своих родителей. Кто из них хочет вступить в число пионеров, отказа нет.

Каждый пионер входит в состав своего звена; каждое звено входит в состав отряда, а каждый отряд входит в состав всей пионерской армии, всего пионерского движения. И не областного, не национального, а мирового, всечеловеческого... Нет границ, нет различий, ни по происхождению, ни по языку, ни по цвету.

И п о к а (ведь, прошло всего два года!) пионерское движение не захватило еще, как следует, даже детей Советского Союза; пока дети-пионеры — это исключение, а не общее правило. Пионерские отряды гигантски растут, но это о т н о с и т е л ь н о, а а б с о л ю т н о — еще очень далеко до вовлечения в них всего детского населения. Но представьте себе, что пионерство уже поголовно охватило всех детей, детей во всех странах, на всех материках и островах, — вы предста-

вляете себе, какая это будет могучая воспитательная сила, какое это будет всесильное воспитательное средство для «формирования» будущих, новых людей!

Но всечеловеческий масштаб пионерского движения, это, как мы уже сказали, есть результат — результат самопроизвольный и неудержимый — того, что оно возникло в рабоче-крестьянском государстве, т.-е. на почве реализующейся общечеловеческой солидарности. В буржуазных странах существует и покровительствуется не пионерство, а так называемый бой-скаутизм. А это совершенно другое и социальное и воспитательное явление. Буржуазный бой-скаут вырабатывает из себя, и ему помогают в этом организацией, физически-здорового, нравственно-сильного человека, но не в смысле «со-человека», а в смысле «сверхчеловека»; ему внедряют идею «товарищества», но товарищества классового, в крайнем случае, национального, — ни в коем случае не общечеловеческого; его воспитывают в известном направлении, но в направлении н а з а д, а не в п е р ед, — не для преобразования нынешнего мерзкого человеческого общежития, а для его сохранения в неприкосновенном виде. Это — тот же ф а ш и з м, но перенесенный на детей, вовлекающий их в это гнусное, звериное, классовое движение. Это — средство воспитания не «нового», а «старого» человека.

Бой-скаутизм, как и старая школа, вдобавок, еще и лицемерны. В них провозглашается принцип а п о л и т и ч н о с т и, т.-е. отрыва от действительной жизни, и в то же время настойчиво проводится «политика», под видом хранения религии, верности королю, уважения к «культуре», и проч. Такая «аполитичность» есть лицемерие, а не действительный воспитательный принцип. Это все равно, что правило, что при детях не следует говорить о многом, что делают взрослые. Да, не следует, пока взрослые делают еще много гнусностей и мерзостей. Так и «политика»: пока она гнусная, ее открыто не изложишь детям, приходится провозить ее контрабандой.

Пионерское движение, наоборот, всецело и открыто «политично». Пионеры знают «политику» Советской власти, в ней нечего от них скрывать. Совершенно наоборот. Дети — это будущие граждане. Они должны приготовиться к жизни. Теперь эту жизнь делают взрослые, через 10 — 15 лет ее будут делать нынешние дети. И если то, что делается в жизни взрослыми, не пакостно, а благородно, то надо вовлекать в него и детей, и чем раньше, тем лучше. Дети, в соответствии со своими силами, должны работать над тем же, над чем работают взрослые. Они должны делать реальное, серьезное, а не мнимое дело. Это же и есть истинный воспитательный принцип.

Чем прежде всего и больше всего заняты пионеры? Тем, чем больше всего заняты и взрослые: той великой борьбой трудового человечества за свое освобождение, которой заполнен

теперь мир. Пионеры знают, что такое пролетариат, что такое партия, что такое комсомол, что такое Интернационал, они знают все текущие факты международной пролетарской борьбы. Они знают, что такое Союз Советских Социалистических Республик, каково его международное положение, каковы его внутренние задачи. Они знают, зачем нужна производительность труда и почему так важна смычка между рабочими и крестьянами. Словом, они знают все, что нужно, для того, чтобы сознательно сказать себе, что они — «смена смене». Есть, поочереди, первая смена тех, кто строит жизнь, — комсомол, и вторая — юные пионеры.

И если не уводить человеческую мысль в выспренности и отвлеченности, т.-е., в сущности, морочить и обманывать ее, то как все это просто и ясно: вся эта советская и «коминтерновская политика»! Ее отлично можно разъяснить всякому малышу. Что буржуй обирает рабочего, а помещик крестьянина, что из-за этого идет теперь последний и решительный бой, и что прав в борьбе рабочий и крестьянин — тут и понимать нечего, надо только не затемнять и не обманывать понимания.

И дети целиком проникаются этой «политикой», и она служит для них могучим воспитательным средством.

Когда теперь, воочию, наблюдаешь пионерское движение, то с удивлением видишь, что оно дает даже несравненно больше, чем можно было ожидать. Можно было думать, что приобщение детей к «политике», т.-е. к наличным, текущим интересам общественной жизни, будет для них слишком «серьезным», а потому и «скучным»; ведь, мы привыкли считать, что дети больше всего любят «играть», а то так и просто «бездельничать» или «шалопайничать». И вот оказывается, что вовлечение детей в «политику» не только их не отпугивает, но, наоборот, страшно увлекает. Всю «идеологию» пролетарской борьбы они воспринимают с такой непосредственностью, с такой свежестью и энтузиазмом, что тут приходится даже констатировать разницу, грань между «взрослыми» и «детьми», и не в пользу взрослых. Нет, взрослые — мы разумеем среднюю массу взрослых людей — так не воспринимают нового «евангелия» освобождения человечества, как дети. У взрослых — скептицизм, оговорки, недоверие, заподазривания, просто косность и невосприимчивость мысли, — а у детей — полная открытость, полная восприимчивость ко всему тому истинному и великому, чем проникнуто пролетарское «евангелие» жизни. У детей нет мусора — ни умственного ни нравственного — загромождающего поле их восприимчивости, и они впитывают новое, истинное и великое, как губка. Они заполняются им радостно и до краев.

И тут, в этом беспрепятственном, стремительном соединении детской души с трудовой, пролетарской идеологией, нельзя не видеть нового, изумительного доказательства глубокой, внутренней правды этой «идеологии». Свою лучшую победу эта

идеология одерживает не над взрослыми, а над детьми. Своих наиболее достойных носителей она будет иметь в нынешних детях, потому что их она проникнет целиком и насквозь, и не каждого в отдельности, а всех вместе.

Основным лозунгом пионерства, главным его законом является правило: будь всегда ко всему готов! Не надо забывать, что, ведь, это высшее требование к человеку. Быть всегда ко всему готовым — да, ведь, это требование, которое было впору из «прежних» людей, может-быть, только одному Ильичу. Кто из нас скажет с уверенностью, что он всегда ко всему готов?

А между тем каждый малыш с красным галстухом на шее говорит это с полной уверенностью и с радостным энтузиазмом, и никому и в голову не приходит подвергать сомнению серьезность и правдивость его заявления. Наоборот, этот лозунг сросся с пионерами, когда пионеры его произносят, он заражает энтузиазмом и взрослых, в нем — несомненная волевая сущность пионерства. Почему же это так? Почему «юные» лучше и больше ко всему «готовы», чем взрослые?

Потому что они уже всечеловеческий коллектив, потому что в них — всечеловеческая мысль и воля, потому что они — не каждый в отдельности, а все вместе. В лице их вырастает «новый» человек, который достигнет наибольшей своей силы и наивысшей своей красоты. Не теряя индивидуальности, он пропитается общественностью, и это даст ему полную внутреннюю гармонию и величайшую внутреннюю силу. Это будет человек, которого уже нельзя будет жалостливо обзывать «тварью дрожащей», которого нельзя будет обливать за это ницшеанским презрением, но которого и незачем будет называть «сверхчеловеком»; да, он будет «сверх» нынешних людей, но все будущие люди будут впору друг другу; они будут все одинаковы: «со-человеки», «товарищи».

Пионерство еще только начинается. Оно пока стоит рядом со школой и еще не согласовано с ней. Но это временное, переходное состояние. Школа должна будет слиться с пионерством. Уже теперь совершенно ясно, что «соцвос» — социальное воспитание — должно иметь свое основное русло в пионерском движении и что пионерское движение должно целиком втянуть в себя школу, сделать ее своей принадлежностью. Но тут уж остановка за «взрослыми», а не за «детьми». Когда дети найдут возможным всех своих педагогов избрать своими почетными «юными пионерами», тогда дуализм между школой и детским движением исчезнет. Тогда «социальное» воспитание подрастающих поколений будет вполне и до конца обеспечено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ГЛАВА XXIV.

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ.

Мы побывали мысленно в нашей старой, теперь уже навсегда покинутой нами родине; мы бросили обратный взгляд на ту страну, где все мы родились и где мы долго, некоторые очень долго, жили, но в которую никто из нас никогда уже не вернется.

Мы обратили свой взор назад не для того, чтобы корить старое. Оно исчезло навсегда, и не стоит поминать плохого без большой нужды. Наш «старый мир» со всем тем, что было в нем плохого, даже отвратительного, по выражению Блока в «Двенадцати», уже в октябре 1917 г. превратился в «безродного», «поджавшего хвост», «паршивого пса», — этого пса надо было добить, но, повторяем, не стоит даже мысленно, по крайней мере, без большой нужды, возвращаться к этой падали.

Нет, мы хотели вспомнить, что было у нас, в нашей старой, тысячелетней родине, хорошего. Мы все любили эту нашу старую Россию, — любили, конечно, прежде всего стихийно, за ее безграничные просторы, за степи и леса, за моря и реки, за горы и равнины, — любили за ее многоязычный говор и за ее убогий, деревенский вид. Но мы любили нашу страну и сознательно — за то, что в ней было, действительно, хорошего, и не от ее природы, а от ее истории и жизни.

Вот к этому «хорошему» мы хотели мысленно вернуться, чтобы опять его восчувствовать и пережить. Наша цель теперь — не воевать со старой Россией, а расстаться с ней, но расстаться «по-хорошему», как подобает людям, которые решительно утверждают свое «настоящее», но не отрекаются и от своего «прошлого». Мы не хотим быть «не помнящими родства», наоборот, мы с благодарностью хотим поминать, откуда и как мы произошли.

И вот — прямо спросим себя теперь: что же было хорошего в нашем прошлом, — в этой старой, до-октябрьской Рос-

сии, которая просуществовала тысячу лет и которая теперь превратилась в предмет одного воспоминания?

Мы уже видели, что. Это прежде всего человеческая масса, трудовой народ России: ее многомиллионное крестьянство, ее не очень многочисленный, но доблестный пролетариат. Вовсе не надо быть славянофилом, чтобы глубоко любить и сознательно почитать русский народ. Марксисту это так же не воспрещено, как и славянофилу. Русский народ глубоко любили и высоко ставили Пушкин, Лев Толстой. Но им нисколько в этом отношении не уступал, — скорее их превосходил — также и Ленин. Пушкин и Толстой смотрели на народную массу сверху, а Ленин — прямо ей в лицо. Они, в своем отношении к народу все-таки были «барами», а он стал подлинным «товарищем».

За что же мы не только стихийно любим, но и сознательно чтим русский трудовой народ?

Мы также видели, за что. Это, во-первых, за его *социальность* между *своими*, и во-вторых, за его *человечность* в отношении к *чужим*. То и другое — великие качества, нужные больше всех других для правильного устройства будущей человеческой жизни. С этой стороны, русский народ был, может-быть, больше, чем всякий другой, готов к разрешению двух основных вопросов человечества: социального и национального.

Мы видели и то, как образовались в русском народе эти качества. Источник их был вовсе не мистический и не «идеальный», а материалистический и реальный. Русское общественное «бытие», исторические условия существования русского народа — вот что создало в нем его «духовные» качества.

В течение двух с половиною веков тяжкая невзгода ковала тяжелым молотом массу русского народа, и она выковала из него определенную коллективную индивидуальность, с своими характерными качествами.

Эти качества в русском (особенно, великорусском) народе рано выковались и так в нем и остались. Ими очень долго пользовались те, кто стояли наверху народа. Опираясь на них, эти верхи создали огромное русское государство. Но пришло время, когда ими воспользовался и сам народ, совершив раньше всех других народов великую социальную революцию, которая, по самой своей сущности, совершается не для одного народа, а для всех.

Русский народ создал огромное государство, но в своем культурном состоянии он был народом отсталым. Это породило не очень благоприятное отношение к нему со стороны «культурных» народов Европы. Запад смотрел на Россию сверху вниз, сочиняя о ней всякие небылицы. И медведи-то там ходят по улицам, и едят-то сальные свечи, и казаки-то глотают живых младенцев. Обычная бытовая характеристика

русских в глазах «культурных» европейцев, увы! та, что мы «русские свиньи».

Наши собственные «культурные» россияне очень часто были не прочь присоединиться к этой характеристике. Уж очень поражали их воображение преимущества перед нами Запада: его «чистота», «порядок», его «техника», «образованность», наконец, его «свободы» и его «демократия».

Но мало того, что русский народ провозглашался «некультурным»: к этому еще добавлялось что, по своей натуре, он «зверь», «хам», «лгунишка», «вор»... изворовался, изолгался, исподличался...

Такие характеристики по адресу русского народа исходили раньше обыкновенно от «правящих особ» разного ранга. Но со времени большевистской революции они сильно проникли и в «интеллигентские» головы. Не даром один писака, в былом царстве Деникина, написал книгу, посвященную русскому народу, под заглавием: «Его Величество Хам»... Зоил знал, к какой публике он обращается.

— «Предатели.
— «Погибла Россия»

произносит в поэме Блока не кто иной, как «писатель», «вития»...

Впрочем, не стоило бы все-таки говорить об этом, если бы эта зараза не проникла так далеко и не была так упорна. Ведь, ею заражен даже такой человек, как Максим Горький. Горький давно уже ослеплен западно-европейской «культурой», «техникой», «порядками», «наукой». Вернувшись из-за границы еще во время войны, он уже читал доклады, переполненные ламентациями по адресу русской «некультурности», «лени», «невежества», и пр. Но, восходя по этой лестнице все выше, Горький написал, наконец, по адресу русского народа, вещь, которой ему невозможно простить. И это надо прямо сказать, потому что он Горький. Нестерпимо молчать, когда такой писатель, как Горький, бросает в лицо народу, имевшему мужество и самоотвержение взять на себя первым тяжкое бремя социальной революции, те слова, которые он бросил русскому народу.

Горький написал: «Я думаю, что превалирующая черта русского национального характера — жестокость, так же, как юмор — превалирующая черта английского национального характера. Это — жестокость специфическая, это своего рода хладнокровное измерение границ человеческого долготерпения и стойкости, своего рода изучение, испытание силы сопротивляемости, силы жизненности.

«Самая характерная черта русской жестокости — художественная изобретательность, дьявольская утонченность. Вряд ли можно объяснить эту особенность словами «психоз», «садизм» и др. Эти слова ничего не объясняют»...

И как бы подчеркивая всю ответственность своей мысли, Горький продолжает:

«Я говорю о жестокости не как о проявлении во вне извращенной или больной души отдельных индивидуальностей, — такие случайности — дело психиатров. Я говорю здесь о массовой психике, о душе народа, о коллективной жестокости... Кто жесточе — красные или белые? Вероятно — одинаково, потому что все они — и красные и белые — одинаково русские».

Приписывая русскому народу эту «дьявольскую», «утонченную», «художественную», «измерительную», «испытательную», и я уж не знаю какую еще, во всяком случае, «специфическую» жестокость, — приписывая ему ее в его собственность и особенность, Горький делает это в форме сознательного отрицания противоположной характеристики русского народа.

«Где же, спрашивается, — говорит он, — тот добродушный и созерцательный русский крестьянин, неустанный искатель истины и справедливости, которого так прекрасно и убежденно описывала русская литература 19-го века? — В свои молодые годы я сам с восторгом искал этого человека по всей русской земле, но я его не нашел. Я находил везде грубого реалиста, хитрого мужика, который когда это ему было выгодно, умел прикидываться дураком».

Итак, проведена черта, подведен итог, итог наблюдений всей жизни русского большого писателя: русский крестьянин, т.-е. самая основа русского народа, груб, хитер, преследует одну выгоду, из-за которой не прочь прикинуться дураком, — а, главное, жесток: жесток до мозга костей, до самой глубины всей своей национальной подоплеки; это зверь, — даже хуже зверя, ибо это зверь во образе человека.

По поводу этого мнения Горького о нигде, будто бы, неслыханной жестокости русского народа, высказанного притом за границей и в то время, когда русский народ, голодая, нуждался в помощи, — невольно вспоминается другое описание «жестокости» русского человека, — описание, данное Достоевским. Вы помните, читатель, эту незабываемую сцену: мужик насажал на телегу целую компанию пьяных соседей и требует, чтобы запряженная в телегу тощая лошаденка показала им свою удаль. Лошаденка, загнанная работой, конечно, не в состоянии потешить своего хозяина. Тогда он начинает нещадно бить ее дубиной, пока она не падает замертво, и он добивает ее, вместе со всей компанией, уже лежачую.

Какая глубокая, жизненная правда, но, вместе с тем, какая противоположность Горькому!

Да, русский человек может быть жесток, иной раз невероятно жесток, но это — в исступлении, и только потому, что он сам жестоко загнан судьбою. Мужик Достоевского немилосердно колотил свою загнанную лошаденку, потому что он сам был загнан как зверь, и его самого нещадно колотили те, кто стояли над ним. Это — временное умоисступление, это моментальный «психоз» (конечно, не «садизм»). Это — грустно, это

печально, но это имеет свои границы, это отнюдь не расширяется в характеристику целого народа, как прирожденного «зверя». Наоборот, это заставляет сказать, что будь и вы на месте этого мужика, вы, может-быть, оказались бы повинными в том же самом.

Мне невольно вспоминается здесь и еще одно, еще более давнее литературное произведение: чудное стихотворение Никитина, символически посвященное русскому народу:

На старом кургане, в широкой степи
Прикованный сокол сидит на цепи.
Сидит он уж тысячу лет
Все нет ему воли, все нет...

И грудь он с досады когтями терзает,
И каплями кровь из груди вытекает...
Летят в синеве облака,
А степь широка, широка...

Вот оно — правдивое изображение положения русского народа! Неволя, неволя без конца. И долго «с досады» русский народ терзал свою собственную грудь, среди своей широкой степи, под своим синим небом... Но, наконец, пришло время — 25-е октября 1917 г. — он разорвал свою цепь, стал властелином своей судьбы. В его руках оказались те, кто тысячу лет держали его «на цепи». Какой расправы можно было ожидать с его стороны за тысячелетнее рабство! Но, ведь, ее не было. Была только «гражданская война», вызванная сопротивлением свергнутых поработителей, которые хотели вновь посадить народ «на цепь». И трудовой народ — рабочие и крестьяне — защищался, защищался от собственных «белых», от помогавшей им всесветной буржуазии. В этой защите, в этой борьбе он бывал жесток, но, ведь, такая борьба всегда и везде бывает жестока.

Горький подтверждает свою характеристику русского народа целым рядом конкретных случаев из гражданской войны, которых я не приводил, щадя нервы читателя. Но разве он не знает, что такое гражданская война? Тогда уж для справедливости надо было бы справиться с западными хрониками крестьянских восстаний и усмирений рабов. Тогда уж надо было бы вспомнить события Парижской Коммуны и заглянуть в политические тюрьмы современных «культурных» и «демократических» государств; тогда уж надо было бы обратиться к фашистской «практике». Получилось бы, может-быть, очень интересное исследование «человеческой» жестокости вообще, но выводы его были бы совсем другие, чем у Горького.

Трудно сказать, почему Горький написал свою малодушную и несправедливую характеристику русского народа, но одно несомненно: ему в ней надо покаяться.

В этом вопросе прав не Горький, а те писатели XIX века, которые так «прекрасно и убежденно» описывали русского чело-

века, как «неустанного искателя истины и справедливости». Прав Достоевский, который хорошо знал всю возможную, при случае, «жестокость» русского человека и который вообще был таким специалистом по части человеческих «скверн», но который, тем не менее, говорил, что русский человек есть «всечеловек», и что русский народ есть народ-«богоносец». Прав Владимир Соловьев, который с уверенностью предсказывал русскому народу «всемирно-историческую» роль.

Правда, они это делали по-своему, в тех формах, в каких они могли мыслить, в формах религиозных. Достоевский называл русский народ — народом-«богоносцем», а Соловьев видел будущую всемирно-историческую миссию русского народа в «воссоединении» церквей (православной и католической), т.-е. в восстановлении единства христианства. Но мы все это можем свободно отбросить, и тогда останется одна характеристика русского народа, как народа-«всечеловека», «всечеловеческого правдоносца», «объединителя» всех народов в один «всечеловеческий» союз, — и эта характеристика была глубоким прозрением, гениальным проникновением в свойства русского народа. Этой характеристики нельзя теперь не вспоминать, потому что она целиком оправдалась в событиях.

Вот это первое и главное, что мы имеем «хорошего» в прошлом: это русский трудовой народ, это рабочие и крестьяне.

Но было в России «хорошее» и н а д народом. Это — русская интеллигенция. Она была не такая, как на Западе, она была со своими особыми свойствами; конечно, эти свойства были тоже не от господа бога, а от особых условий русской истории. Мы уже говорили, в чем заключалось эти условия. Впереди нее, на Западе, осуществлялись лучшие формы жизни, строились идеалы лучшего будущего. Русская интеллигенция усваивала себе эти лучшие, «социалистические» идеалы и пыталась проводить их в жизнь. Но тут она наталкивалась на такое сопротивление со стороны «господствующих», что перед нею выростала необходимость революционного действия, несмотря на неготовность к нему масс.

И она не уклонилась от этого революционного действия, она не убоялась его «безнадежности». Она создала в России традицию неукротимой революционности, традицию героизма. Она долго поддерживала эту традицию своими одинокими силами, пока не дождалась, наконец, того времени, когда пробудились и пришли ей на помощь массы.

В этот долгий период русской истории мы имели Новикова и Радищева, декабристов, Герцена, Белинского, Чернышевского, наконец, имели сказочно-героическую «Народную Волю» и ее продолжателей в восьмидесятых, девяностых и девятисотых годах. Это огромный, героический «актив» русской интеллигенции, актив, который навсегда будет составлять одну из лучших принадлежностей «старой» России.

Имена «сознательных», «критически-мысливших» интеллигентов-революционеров будут навсегда сохранены в памяти русского народа.

Независимо от столетней революционной традиции героизма и самоотвержения, была в истории русской интеллигенции и другая «традиция» — традиция «великих» людей, на разных поприщах жизни. Мы имеем в прошлом такого государственного деятеля, как Петр, такого полководца, как Суворов, такого ученого, как Ломоносов, и такую плеяду писателей, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Все они стоят наравне с самыми великими мировыми именами, и все они доказывают, что «русская природа» уже давно была отнюдь не «бесплодна», а, наоборот, способна «рождать» самое гениальное.

Наконец, к числу «хорошего» в русской истории, тем более, что это было совсем недавно, — мы не можем не отнести и того порыва русского народа, а вместе с ним и русской интеллигенции, разрешить социальный вопрос мирно и без насилия, который с такой неудержимой силой и вместе так красиво обнаружился в событиях 1905 — 1906 гг. Он прошел сперва стихийно — через 9 января, а потом организованно — через первую думу. Это был порыв высокий, истинно-человеческий, глубоко-убежденный. Он потерпел полную неудачу, он оказался прекраснодушной наивностью, но нечего о нем жалеть, наоборот, надо занести его в актив до-октябрьской истории, ибо он-то и показывает, что русский народ отнюдь не зверь, так же как русская интеллигенция, в лице народовольцев и террористов, была отнюдь не бандой «убийц», а, наоборот, собранием героев, жертвовавших собою ради общего блага.

С нравственной точки зрения только тот имеет право посягать на чужую жизнь, кто готов, вместе с тем, пожертвовать и своей собственной жизнью, и только тот имеет право переходить к насилию, кто исчерпал все средства мирного разрешения вопроса. Это нравственное требование выполнено в русской истории сполна.

9 января «народ» шел к царю безоружно, с иконами и хоругвями. Первые «народные представители» обратились к царю с «адресом», в котором также не отрицали его власти, а, наоборот, приглашали его воспользоваться ею для удовлетворения нужд народа. Но все было напрасно. Не только народных нужд не удовлетворили, но над мирным народным порывом надругались. Шествие народа к царю расстреляли, а народных представителей разогнали и посадили в тюрьмы.

Кто же после этого смеет сказать, что революция в России не стала «законной»? Что она не была вызвана самими верхами? Что Николай не заслужил той участи, какую он потерпел?

В первой части нашей книги мы и вспомнили все это «хорошее», что было в прежней России, — что мы любили, о чем мы и теперь можем вспоминать с великой благодарностью. И теперь

уместно будет спросить: а что же, нынешнее, «советское», «большевистское» настоящее, которому мы посвятили вторую часть нашей книги, — что представляет собою оно: полный разрыв с прошлым, или, наоборот, его продолжение, — продолжение всего того, что было лучшего в русской истории?

Мы думаем, что на этот вопрос надо ответить без колебаний: не разрыв, а продолжение; прямое продолжение того лучшего, что было в русской истории.

Прежде всего это совершенно очевидно по отношению к самой основе всего социального бытия России, — по отношению к ее трудовой, рабоче-крестьянской массе. Эта масса уже давно показала себя способной к великому историческому действию. Она сбросила с себя татарское иго; она выдержала вековую борьбу с Польшей; она поддержала Петра в его стремлении «европеизировать» Россию; она отразила нашествие Наполеона.

Правда, она все это сделала, повинуясь верхам, действуя под их руководством, так что могло казаться, что только в повиновении и вся ее добродетель, т.-е. иначе говоря, что природа массы «рабская», что «верхи» могут делать с нею все, что им угодно. Но события 1905 — 1906 гг., а еще больше того, события 1917 г., показали, что это очень и очень далеко от истины; что трудовая масса вовсе не пассивная и рабская, а, наоборот, активная, но социальная. Когда она увидела, что верхи не хотят удовлетворить самых элементарных ее нужд и что они, действительно, считают рабочих и крестьян за прирожденных «рабов», тогда она поднялась против них. Поднялась с решимостью победить или умереть. И ее восстание оказалось не «бессмысленным» бунтом рабов, а подлинной социальной революцией.

В революции русский народ обнаружил одновременно и высокие умственные и высокие социальные качества. Он понимал, что нельзя действовать толпой, а надо действовать организованно, что нельзя действовать без вождей, а надо их умело себе выбрать. И он вождей себе выбрал, и он им доверился, и он им до конца повиновался. Своим коллективным вождем массы выбрали Коммунистическую партию, они доверились «большевикам», и среди «большевиков» они разглядели и признали Ленина. Они отвергли всех псевдо-друзей, всех «соглашателей», всех «социалистов», которые «социализм» откладывали до будущего, а сейчас поддерживали буржуазию.

Рабочие массы все это мудро взвесили и стали под знамя большевиков, отдали им свое массовое повиновение. И, решивши так, они уж этому решению не изменяли. Голодали, холодали, клали без счета свои головы на полях сражений, погибали от эпидемий, но оставались под большевиками, их признавали руководителями революции. Белогвардейцы лопались от злости; они презрительно говорили: не народ, а хам и раб; безропотно

выносит все бедствия, исполняет все приказы, — где же его собственная воля? И когда же он, наконец, «взбунтуется» против своих нынешних «самодержцев»?

Злитесь, эксплуататоры, сколько хотите. Истина заключается в том, что русский народ, именно, не раб, что он имеет свою волю, но волю не шатающуюся, а твердую, которая, раз нашедши свое решение, выполняет его до конца. Это решение в том, чтобы добиться освобождения от эксплуатации, — добиться, конечно, под правильным руководством — иначе его не добьешься, — и это руководство вручено народом тем, кому он доверяет и кто его не предаст. Повиновение трудовых масс большевикам — это не рабство, а, наоборот, высокая степень активности, соединенная с высокой степенью толковости.

И вот, этот русский трудовой народ, который взялся за совершение социальной революции и который совершает ее под руководством тех, кто одни способны были с успехом повести его на это дело, разве это не тот самый народ, который сперва собирал свои силы вокруг Москвы, чтобы избавиться от татарского ига, а затем сбросил его под руководством московских князей, — который выдержал долгую борьбу с поляками, не дав им завладеть Москвою ни силою ни хитростью, — который одолел внутреннюю «смуту» и посадил на царство Романовых, — который инстинктивно поддержал Петра в его реформе и отразил нашествие Наполеона? Словом, разве это не тот самый народ, который всегда соединял в себе силу с дисциплиной, — готовность действовать с решимостью повиноваться тем, кто будет управлять действием?

Да, это тот самый народ, который уже действовал тысячу лет на арене истории, но который теперь, ходом истории, подведен к новой, великой, неотклонимой и, на этот раз, всечеловеческой задаче. Он эту задачу признал, он ее на себя принял, и он ее выполняет, как выполнял свои прежние задачи: толково, дисциплинированно, дружно. Он не оглядывается по сторонам, не малодушествует, не боится ни потерь ни испытаний, — он твердой поступью идет вперед и преодолевает все препятствия. Теперь все самое трудное уже позади, и его шествие все явственнее начинает превращаться в торжественное вступление в царство социальной справедливости. Смысл того, что произошло в России, теперь уж начинает выступать из тумана, проясняется, потому что солнце дружной, общей, трудовой, исключающей всякую эксплуатацию жизни огромного населения уже начинает золотить своими лучами облик того смелого народа, народа-Зигфрида, который пошел к нему навстречу, пренебрегши всеми трудностями и бедствиями пути.

Перед русским народом встала новая задача, но он тот же самый, и действия его те же самые. То же беззаветное отношение к делу, та же неукротимая энергия, тот же энтузиазм,

то же самопожертвование и... те же результаты. Социальная революция, в руках русского народа, идет с полным успехом.

Таким образом, в народе, в трудовых массах рабочих и крестьян никакого разрыва между прошлым и настоящим нет. Наоборот, здесь перед нами полная непрерывность русской истории, да и как же иначе могло быть? Нам только надо «осознать» эту непрерывность, понять ее, утвердить ее, как несомненный факт, в нашей оценке происходящих событий. Полно говорить, что русский народ «сорвался с цепи», ни с того ни с сего ошалел, озверел, обезумел. Нет, он, действительно, порвал свою вековую цепь, но сделал это в полном обладании своих сил и способностей, только показав их теперь в небывалом блеске. То, что он делает теперь, далеко превосходит собою все, что им было сделано раньше.

В народе нет разрыва между прошлым и настоящим. Народ только продолжает самого себя и свою историю. Но как это ни покажется странным, а то же самое надо сказать и о русской интеллигенции.

Здесь прежде всего приходится указать на то — и на это не раз указывалось — что значительная и отнюдь не худшая часть русской интеллигенции прямо вошла в состав пролетарского движения. Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Бухарин, Луначарский, Рыков, и многие, многие другие — это же все русские интеллигенты, и вовсе не из худших. Интеллигенция влилась в большевизм обильной струей, и как же эту струю можно игнорировать в истории русской интеллигенции? Тут такая же прямая спайка прошлого с настоящим, как и у самого народа.

Но скажут — и мы сами это говорили, — что огромная, преобладающая часть русской интеллигенции отвернулась от русского, большевистского «настоящего», отрицает его, боролась и борется с ним, хочет вернуть Россию к ее до-октябрьскому прошлому, — пусть к тому, которое было между февралем и Октябрем. На этой позиции стоят не только кадеты, но и эсеры и меньшевики. Для них нынешняя, после-октябрьская Россия — предмет ненависти. Как же не сказать, что есть «разрыв» в интеллигенции — разрыв между «прошлым» и «настоящим»?

Да, так надо было бы сказать, если бы нынешняя противосоветская интеллигенция в своем отрицании Советской России была сама верна своему прошлому, — если бы у нее у самой не было «разрыва» со своим собственным прошлым.

Когда Плеханов, 50 лет тому назад, в глухую пору русской реакции, развернул красное знамя на Казанской площади, разве он действовал не как «большевик»? И когда он, ставши потом марксистом, проповедывал и отстаивал принцип классовой борьбы, конечно, не мирными, а революционными средствами; когда он заявлял, что в России революцию сделает пролетариат, или ее там совсем не будет, — разве все это не сущность нынешнего «большевизма»? Почему же Ленин считал Плеханова

своим учителем и почему Плеханов так долго поддерживал Ленина — разве не потому, что не малое время они шли одной и той же дорогой?

Значит, вопрос именно так и ставится: кто свернул с этой прежней дороги — Плеханов или Ленин? И разве не ясно, что Плеханов?

Когда Плеханов, по поводу Московского восстания 1905 г. сказал, что «не надо было браться за оружие», разве он не отрицал этим самого себя, с красным знаменем в руках, на Казанской площади? Разве он развертывал это красное знамя своими одинокими интеллигентскими руками не во имя будущего рабочего и крестьянского восстания? На каком же основании он говорил, что не надо было рабочим, уже не одиночкам, а массовикам, браться за оружие в 1905 г.? Тогда не надо было одиночке-интеллигенту Плеханову развертывать знамени революции на Казанской площади в 1876 г.

Впрочем, Плеханов, который между февралем и Октябрем решительно был против Ленина и большевиков, после Октября, как известно, столь же решительно отказался бороться против Октябрьской революции. Это показывает, что не прервись его жизнь, он, может-быть, вполне присоединился бы к Октябрьской революции, как присоединились к ней и некоторые другие, конечно, не столь крупные, как он, меньшевики. Если бы это так произошло, тогда, конечно, нечего было бы и доказывать, что связь «прошлого» с «настоящим» в марксизме лежит не в меньшевизме, а в большевизме.

Однако, мне хочется подтвердить эту мысль о том, что не большевики, а их противники порвали свою связь с революционным прошлым русской интеллигенции еще и с другой стороны: со стороны народнического фланга русской революционной интеллигенции.

Этот фланг расходился с марксистами в классовой теории общества, в оценке роли пролетариата и крестьянства, в вопросе о том, кто сделает революцию и пр. Но его главные возражения против большевиков черпаются теперь не из этих принципиальных расхождений. Нет, народники упрекают теперь большевиков в том, что они варвары и злодеи, что они не революционеры, а бандиты, что они осквернили все «политические», «моральные» и «культурные» ценности: разогнали учредительное собрание, уничтожили «свободы», завели «чека», выбросили «автономию» высших учебных заведений и пр. и пр. Словом, ведут себя не та́к, как полагается «культурным» «европейцам», а как свойственно только фиджийцам или зулусам.

И вот, я обращаюсь к самому основному, самому чистому источнику народничества — я обращаюсь к «Народной Воле»: к Желябову, к Перовской, В. Н. Фигнер, Г. А. Лопатину, Н. А. Морозову, ко всем из них, ныне живущим и уже умершим, и я спрашиваю: что они подписали, как исповедание своей мораль-

ной, политической и социальной веры, — что они запечатлели своим мужеством, своим героизмом, своею кровью?

Они подписали и запечатлели своей кровью свою «программу». А в этой программе было сказано:

«По отношению к правительству, как к врагу, цель оправдывает средства, т.-е. всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволительным».

Далее было написано: «Лица и общественные группы, стоящие вне нашей борьбы с правительством, признаются нейтральными: их личность и имущество — неприкосновенны». Но тут же было добавлено: «Лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие правительству в нашей борьбе с ним, как вышедшие из нейтралитета, принимаются за врага». [1]

Итак, в революционной борьбе, по отношению к врагу, дозволительны все и всякие средства. А «врагом» приходится считать не только самого врага, но и всех тех, кто ему помогает. Констатировать, кто помогает врагу, это вопрос факта, так же как вопрос факта и то, какое именно средство пустить в ход против врага, но принцип, самая основа действия ясна: против врага и против тех, кто ему помогает, все средства дозволены. Такой принцип выдвинут людьми, в нравственном отношении чистыми как кристалл, — людьми, поставившими своей путеводной звездой общее благо вместо личных интересов, людьми, которые свое право на чужую жизнь утверждали на том, что целиком приносили в жертву общему благу свою собственную жизнь.

И вот, разве все это не самый подлинный «большевизм», моральный, политический и социальный? Что же другое (с точки зрения действия), как не это кладут большевики в основу своей программы? Какое другое право присваивают они себе, как не это право, во имя социальной революции, во имя освобождения трудового народа от вековой эксплуатации, действовать против его врагов всеми и всякими средствами, не останавливаясь ни перед чем и добиваясь только одного: достижения своей цели? Это же и есть самая глубокая моральная, политическая и социальная сущность большевизма. Чем же большевики и отличаются теперь от других «социалистов», как не этим?

Таким образом, самая основа большевизма, правда, только в зачатке, в самом зародыше, была провозглашена народовольцами. Этот зачаток требовал существенного развития, и оно было дано ему марксизмом, а еще больше того (в его практическом приложении) — ленинизмом. Пришлось очень и очень продумать вопрос, — кто, собственно, враг рабочему народу, и кто те, кто этому врагу помогают?

---

[1] Беру из книги В. Н. Фигнер «Запечатленный труд», т. I, приложения, стр. 337.

Народническое разрешение этого вопроса было явно наивным. Враг — не физический носитель власти и даже не данное правительство, а враг — целый общественный класс. И помогают ему не только промежуточные классы — интеллигенция и мелкая буржуазия, но часто и изменники или малодушные из трудовых классов. Приходится признать, что в великой социальной борьбе совсем нет нейтральных, что здесь правильно положение: кто не за нас, тот против нас. Всего этого народовольцы тогда — 50 лет тому назад — могли добросовестно не учитывать. Все это выявлено — и надо прибавить: с очевидностью выявлено — только теперь, только со времени мировой войны, в событиях самого последнего времени. Но основной принцип здесь у большевиков — тот же самый, что и у народовольцев. Когда Ленин говорил: врага не только повали, но и стань ему коленом на грудь, — и не только стань коленом на грудь, но и добей, так добей, чтобы из него дух вон, — то с этим должны согласиться и народовольцы, ибо так действовали и они: Александра II они «добили».

Значит, в пределах этого принципа: в борьбе с социальным врагом дозволительны все средства, какие ведут к цели, большевики не ввели ничего нового. Они только продолжают русскую революционную традицию, — ту революционную традицию, которую с наибольшей решительностью установили народовольцы. Своими предшественниками большевики имеют здесь Желябова, Перовскую, Халтурина и других. И если все еще хотят обвинять их в варварстве, разбое, бандитизме и пр., то это обвинение надо ставить иначе: надо доказывать, что они вышли за пределы этого принципа, что они причиняли зло, разрушали ценности, уничтожали «культуру» не ради социальной борьбы и победы, а ради других целей: ради своекорыстия, жестокости и пр.

По этому поводу я невольно вспоминаю то, о чем говорили в русском обществе после взрыва 1 марта. В противовес обвинениям народовольцев в жестокости, варварстве и т. п., указывали на то, что когда Кибальчич изобретал и осуществлял свой метательный снаряд, то он очень заботился о том, чтобы ограничить радиус его действия, дабы от него, по возможности, не пострадали случайные прохожие. Не знаю, верно ли это, или нет в данном случае, т. е. допускала ли такую заботу тогдашняя техника метательных снарядов, — но несомненно, что подобная забота не может не тревожить революционера, и революционер всегда будет избегать напрасных и ненужных жертв.

Придерживались ли и придерживаются ли этого правила большевики?

Для беспристрастного ответа на этот вопрос надо всегда иметь в виду, что тот взрыв, каким большевики совершали свою революцию, не был физическим взрывом метательного снаряда, направленным против определенных физических лиц, а он был

социальным взрывом энергии трудящихся масс, направленным против их врагов и тех, кто становился на их сторону. Можно ли заранее рассчитать радиус действия такого взрыва? Можно ли его как-нибудь, заранее, ограничить? Едва ли кто-нибудь решится дать утвердительные ответы на эти вопросы. Наоборот, ясно, что тот, кто заранее ограничивал бы или старался уменьшить энергию этого взрыва, тот сам подрывал бы свое революционное дело. Трудности революционной борьбы с господствующими классами так велики, что тут нужна вся энергия трудящихся. Тут не может не работать — и должна работать — злоба и ненависть угнетенных против вековых угнетателей, тут не может не действовать — и должна действовать — стихия чувств, накопленных веками в сердцах тех, кто «тысячу лет» сидел на цепи и разрывал «с досады» свою собственную грудь. Вся энергия всей этой стихии нужна здесь для победы, и тот, кто хочет этой победы, должен просто звать ее к действию, оставив все другие заботы.

Этой истине надо прямо смотреть в глаза, одинаково не жалея ни себя ни других, — и ей так и смотрел прямо в глаза Ленин. Как можно составлять заранее какую-то смету «жестокости» и «гуманности», например, в назревающем взрыве Китая против всесветных империалистов, или во взрыве Индии, Египта против англичан, Сирии — против французов? Тут надо готовить этот взрыв — и только. Никаких других забот — кроме мобилизации народной стихии. Чем выше поднимается эта стихия, тем лучше.

Другое дело — не заранее данное и не принципиальное, а последующее, конкретное ограничение ненужной жестокости в тех или других случаях. Никто против него не спорит, никто не скажет, что оно нежелательно. Но мы можем и должны сказать, что не только это осуществляла и осуществляет партия, как целое, но что и «взорвавшиеся» народные массы оказались вовсе не такими жестокими, как этого можно было ожидать. Жестокость гражданской войны стала сравнительно быстро входить в берега, и теперь самая память о ней быстро изглаживается, так как в населении на место прежней классовой психологии ненависти и вражды водворяется психология солидарности и сотрудничества всех трудящихся, без различия их прошлого.

Таким образом, и с этой стороны, «большевики» нисколько не нарушали старой революционной традиции. Им только удалось мобилизовать к действию весь народный океан, к чему, конечно, всегда стремится всякий истинный революционер. А раз вызвана на сцену всенародная стихия, и она бросилась на своих угнетателей, то тут уж надо принимать целый ряд последствий, как неизбежный факт... Тут уж убийство Шингарева и Кокошкина, или расстрел не только Николая, но и его семьи — это только искры, неизбежно отлетающие от молота истории.

Но мне хочется подтвердить «непрерывность» русской истории еще с одной стороны. Высшим пунктом политического «идеализма», «культурности», «гуманности», социального «миролюбия» представляется многим первая дума. Она хотела «добра», и она хотела добиться его «добром». В основе ее деятельности лежала «прекраснодушная» кадетская программа.

Но что эта программа предполагала на случай своей неудачи? Подчинение навеки рабству, царскому самодержавию? Отказ от всякого революционного действия?

Вот то-то, что нет. Кадеты в первой думе говорили: если добром ничего не поделать, тогда пусть будет революция.

Правда, их отношение к революции было двусмысленным. Слева кадетам указывали, что всуе говорить о революции тем, кто сам не хочет принимать в ней участия.

И это было совершенно справедливо. Практически, кадетская ставка была поставлена на то, чтобы, грозя революцией, все-таки добиться «мирного обновления». В этом было внутреннее противоречие, и даже больше того: внутреннее лицемерие, — но все же кадетский символ веры гласил: если не удастся склонить верхи к «мирному обновлению», тогда пусть будет революция.

И склонить верхи к «мирному обновлению» не удалось. И наступила революция. Поднялся снизу Ахеронт. Взбушевался весь народный океан. И революция пошла своим ходом. Сперва наверху оказались кадеты, потом их сменили меньшевики и эсеры, а затем пришли к власти большевики. Кончился февраль, начался Октябрь. Как же надо было смотреть на весь этот ход событий с кадетской точки зрения?

Здесь мы имеем документ, исходящий не от «левого», но «хитросплетенного» Милюкова, а от «правого» и глубоко-искреннего Шингарева. В своем дневнике, писанном после Октябрьской революции в Петропавловской крепости, т.-е. накануне смерти, Шингарев написал благородные слова: если бы ему еще в феврале было известно, что русская революция закончится Октябрем, то он все же сказал бы: пусть идет.

Что это такое?

Ведь, это — благословение Октябрьской революции кадетской рукой! Да, «правой», но искренней кадетской рукой.

Мне хочется сделать по этому поводу и одну личную ссылку.

Передо мною письмо, писанное мною из харьковской тюрьмы, в феврале 1906 г. Оно посвящено оценке тогдашнего политического положения. В нем я писал: «Под предлогом искоренения крамолы, Витте водворил в России беззаконные убийства, высылки, аресты, — словом, он решил опереться только на один голый страх. Он трактует русский народ как толпу подлых рабов, но русский народ — великий народ, имеющий за собою тысячелетнюю историю и, вероятно, славное будущее. Этот народ запугать нельзя, ибо он уже не малый ребенок и не подлый

раб. Правительство ставит Россию в такое положение, что она должна или погибнуть, или так тряхнуть своими могучими плечами, что от этого, в минуту гнева, может многое посыпаться кругом... Если Витте и Дурново добьются своего, если они покорят страну путем одного голого страха, то тогда не стоит жить в России, значит, она, действительно, достойна только одной палки; но я в это не верю ни одной минуты, и потому смотрю на будущее очень оптимистически»...

Мне дорого вспомнить теперь это тогдашнее свое «кадетское» настроение: веру в русские народные массы, веру в «славное будущее» России. Эта вера целиком оправдалась, оправдалась в Октябрьской революции. «Славное будущее» России, которое я тогда считал «вероятным», теперь достоверно. Оно — перед нами на лицо.

Итак никакого «разрыва» в русской истории нет. Она идет теперь полным ходом, доводя до окончательного завершения все то «лучшее», что было в прошлом. И она привела нас к Октябрю, и она поведет нас и дальше путем Октября.

Сперва этот путь был бесконечно труден. Он потребовал неисчислимых жертв. Но теперь он с каждым днем становится легче. Нет гражданской войны, нет ни голода ни холода. Идет, и все шире развертывается, строительство жизни. Не только кончилась хозяйственная разруха, но хозяйство почти приблизилось к до-военному уровню. И темп хозяйственного восстановления таков, что уже теперь ясно, что не только можно вести хозяйство без «хозяев», но что это рабочее социалистическое хозяйство перегонит капиталистическую экономику. Валюта восстановилась раньше других, благосостояние трудящихся поднимается быстрее других. Все капиталистические страны увеличивают рабочий день и уменьшают его оплату, а в СССР неизменно, с каждым месяцем, увеличивается заработная плата, твердо сохраняется 8-часовой рабочий день. В капиталистических странах (кроме самых богатых) всюду дефициты в бюджетах, а в СССР эти дефициты исчезли. И уже понижаются налоги, прежде всего налоги с крестьянства.

Уже теперь очевидно, что социалистическая система хозяйства заключает в себе огромную внутреннюю мощь. Несмотря на тысячи недочетов, несмотря на то, что многое еще не налажено, несмотря на страшный недостаток в основном и оборотном капитале, сельское хозяйство покидает вековую «трехполку» и переходит к более рациональным системам, а промышленное хозяйство явно входит в силу, крепнет, бурно развивается. Транспорт исправлен, города начали строиться, внешторг становится колоссальным и благодетельным регулятором всего хозяйственного соотношения СССР с другими странами. Централизующее, «плановое» начало в хозяйстве все больше и больше обнаруживает свою благотворную силу, и буржуазным ненавистникам СССР приходится

уже не издеваться над советским хозяйством, а панически его бояться. Ведь, восстановленное, идущее вперед, обеспечивающее благосостояние масс, торжествующее над всеми возражениями против него советское хозяйство — это лучший коммунистический агитатор перед всем трудовым человечеством. Ясно, что этот агитатор, больше чем какой-либо другой, будет неудержимо накоплять во всем трудовом человечестве мощное революционное устремление в ту же сторону...

Восстанавливается и крепнет в Советской Республике основа общественной жизни: ее хозяйство. Но крепнет и ее внутренний порядок. Законодательством, судом, административной регламентацией, партийным воздействием — вводятся в твердые рамки, направляются в сторону общественных интересов все явления советского быта. Быстро ликвидируется хаос, произвол, полоса злоупотреблений. В этом отношении более или менее приведены в порядок города, и теперь все усилия направлены на очищение от произвола деревни.

И вот в этой новой и все укрепляющейся обстановке уже отмирает многое старое и нарождается многое новое. Явно отмирает религиозный дурман — этот старый спутник эксплуатации и невежества. И отмирает неудержимо, стихийно, сам собой. Чувствуя, что они теряют под собою почву, жрецы религиозного обмана сделали попытку создать новую, «живую» церковь, но эта попытка тут же и развалилась вследствие перекоров, несогласий, чуть не физических драк между самими жрецами.

Все религии внутри Советского Союза свободны, но все они чахнут, удерживаясь еще только косностью и невежеством. Все живое, молодое быстро перемещается в сторону науки, в сторону светлого человеческого знания.

С другой стороны, в пределах Советского Союза нарождается и новое человечество и новый человек. Советский Союз есть готовая форма для объединения всего человечества. Совершенно ясно, что всякая новая Советская республика, где бы она ни образовалась, и из каких бы рас и национальностей она ни состояла, тотчас же сама захочет войти и будет с радостью принята в Советский Союз. И это будет происходить, пока все освобожденное человечество не сольется в одну единую организацию, со временем уже даже не государственную (ибо никакого государства тогда не будет), а хозяйственную и культурную.

Новое человечество будет, конечно, состоять и из «новых» людей. Но эти «новые» люди тоже уже выковываются, — выковываются, с одной стороны, самым процессом мировой революции, а с другой стороны, новыми общественными условиями в той стране, где социальная революция победила. В Советском Союзе уже происходит массовое воспитание новых людей. Оно идет в пионерском движении. Пионерское движение уже создает людей, которые всегда ко всему «будут готовы».

Теперешняя Россия — это зачаток, и даже не зачаток, а уже пышно раскрывающейся бутон нового мира, нового человечества. Кончилась эпоха национальных сплочений, а вместе с ними и национальных притеснений. Нынешние «национальные» государства — Франция, Англия, Германия, Соединенные Штаты, Япония — при всей их внешней силе, все же не более как живые мертвецы. Только один Советский Союз полон жизни, потому что в нем умерла «национальная» Россия и зародилось единое человечество.

Уже сейчас Советский Союз втягивает в себя все живое и активное в человечестве.

В Советский Союз разными путями — и добровольным приездом, и изгнанием, и побегом, и обменом на буржуев — собираются передовые бойцы всего человечества, не «соглашатели», а настоящие революционеры, и для них Советский Союз есть их подлинное и единственное «отечество». Но и независимо от физического пребывания в Советском Союзе, все коммунисты всего мира, являясь членами Коминтерна, вместе с тем являются и гражданами Советского Союза. Ибо Коминтерн — это то же самое, что и Советский Союз: та же мысль, та же задача, то же намерение, то же действие. Через Коминтерн Советский Союз распространяется на весь мир, так же как Коминтерн свою реальную точку опоры, свою «территорию» — имеет в Советском Союзе.

Но не только цвет человечества, его актуальная, организованная, передовая часть уже, в сущности, влилась в Советский Союз, но туда же тянутся и огромные трудовые массы всего мира. Они тянутся пока только мыслью, желанием, сочувствием, но начинают уже тянуться и действием или, по крайней мере, готовностью к действию.

Вот огромный Китай. Он угнетен вдвойне: и социально и национально. Его народ жаждет освобождения, борется за него. У него был вождь, старый, испытанный, всем народом признанный. И этот вождь, умирая, указывает своему народу на Советский Союз, как на якорь спасения и надежды. И не только он говорит это Китаю, но и прямо обращается с этим к Советскому Союзу, к Российской Коммунистической партии, к ее вождям, к памяти Ленина.

Разве это обращение Сун-Ят-Сена к Советскому Союзу, при сочувствии к нему всего китайского трудового народа, не есть пока символическое, но уже предвосхищающее будущие события присоединение к СССР?

А приезд в Россию множества рабочих делегаций, их братание с трудовыми массами СССР, открыто выражаемое ими сочувствие СССР, подготовляемый ими единый фронт всех трудящихся, — разве все это не то же самое?

Не так давно, на заседании Коминтерна, т. Зиновьев поднял вопрос о маршруте мировой революции. Его конечно,

не так легко предугадывать, он может дать неожиданные зигзаги. Но одно в нем несомненно: это его исходный пункт. Он есть — это Россия — и он твердо стоит. И каковы бы ни были дальнейшие этапы революции, они все будут связаны со своим исходным пунктом, и они все будут в него вливаться. Исходный пункт есть вместе с тем и сборный пункт, — сборный пункт для всей текущей мировой истории, для всего мирового социального движения.

И как же теперь не сказать, что судьба России оказалась необыкновенной, чудесной, сказочной, что она далеко превзошла все, чего можно было для нее ожидать, и что она не только неожиданна, но была бы просто невероятной, если бы она уже не была перед нашими глазами?

Так чего же мы, маловерные и лукавые, все еще сомневаемся, все еще что-то «отрицаем»? И кто эти «мы», которые задерживаем триумф истины, не признаем великого всемирно-исторического дела, в котором осуществляется величайшее торжество Советской России?

«Мы» — это русские интеллигенты. Не рабочие, не крестьяне, а интеллигенты, — старые русские интеллигенты.

Крестьяне помогли рабочим создать Советскую Россию, но на их плечи легла тяжесть революции, тяжесть гражданской войны, да и теперь еще лежит и тяжесть налогов, и тяжесть промышленной неналаженности, и тяжесть административного произвола. Крестьянин ни в чем не «сомневается», да и вообще не очень много «думает». Но он кряхтит — кряхтит под тяжестью на своих плечах. И он хочет облегчения этой тяжести. Он хочет, чтобы с него взимали меньше налогов, чтобы за пуд хлеба ему давали больше ситцу, чтобы над ним была честная администрация. Когда ему, через год — через два все это дадут, да еще, вдобавок, с трактором, он скажет: лучше советского строя нет никакого другого. Крестьянин — реалист. Он не «отрицает» Советской России, а он предъявляет к ней требование — совершенно правильное требование, чтобы его положение было улучшено.

Что касается рабочего, то он и «думает» и «действует». Это он создал Советскую Россию, и он нашел в ней и признание своего человеческого достоинства и улучшение своего материального положения. Рабочий и впредь будет сознательно действовать и энергично довершать свое великое историческое дело.

И только мы, старые интеллигенты, занимаем в Советском Союзе какое-то промежуточное положение: «мы сомневаемся», «не признаем», «критикуем», «отрицаем»... И мы думаем, что это необыкновенно высокое и достойное нас занятие.

Чрезвычайно метко и с убийственной иронией изобразил наши интеллигентские претензии покойный Валерий Брюсов в своем стихотворении «Товарищам-интеллигентам». Приведу его здесь целиком.

ТОВАРИЩАМ-ИНТЕЛЛИГЕНТАМ.

Еще недавно, всего охотней
Вы к новым сказкам клонили лица:
Уэллс, Джэк Лондон, Леру и сотни
Других плели вам небылицы.

И вы дрожали, и вы внимали,
С испугом радостным, как дети,
Когда пред вами вскрывались дали
Земле назначенных столетий.

Вам были любы трагизм и гибель,
Иль ужас нового потопа.
И вы гадали: в огне ль, на дыбе ль
Погибнет старая Европа.

И вот свершилось. Рок принял грёзы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы взброшены в невероятность.

Нам слышны громы: то вековые
Устои рушатся в провалы;
Над снежной ширью былой России
Рассвет сияет небывалый.

В обломках троны; над жалкой грудой
Народы видят надпись «бренность»,
И в новых ликах, живой причудой,
Пред нами реет современность.

То, что мелькало во сне далеком,
Воплощено в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?

Что ж не спешите, в вихре событий,
Упиться бурей грозно-странной,
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный?

Иль вам, фантастам, иль вам, эстетам,
Мечта была мила, как дальность,
И только в книгах да в лад с поэтом
Любили вы оригинальность?

Все в этих строфах равно изумительно-сильно и поразительно правдиво. Изображение «современности», с ее «невероятностью» и «небывалой» «оригинальностью». Указание на то, что эта современность — с ее «дымом и гулом», но и с ее «новыми ликами» осуществляет лишь то, что до сих пор «мелькало во сне далеком», в утопиях, «вскрывавших дали земле назначенных столетий». Утверждение непрерывности между былой интеллигентской «мечтой» и нынешней большевистской «действительностью». И на фоне всего этого — уничтожающе-насмешливая характеристика

позиции товарищей-интеллигентов: «неверное око испуганной косули», «тоска» по прошлому, как будто в нем была не гнусность, а «некий край обетованный».

Пора «товарищам-интеллигентам» начать покидать эту позицию; пора переменить «неверное» око на «верное», и испуг от «гула и дыма» событий на любовь к открывшимся «новым ликам» истории.

Пора, пора. Пора «критически-мыслящим» личностям безраздельно слиться с массой, — с рабочим классом, с крестьянством. Пора отдаться всем существом новой творческой деятельности. Пора перестать болтаться под ногами истории «обломком» старого и стать действенным элементом нового.

Пора уразуметь то, о чем говорит наш знаменитый ученый академик Павлов, но чего он сам, к сожалению, все еще не разумеет.

У академика Павлова, в его книге «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности», есть очень интересная статья, под заглавием «Рефлекс цели». А в этой статье, написанной еще в 1916 г., есть очень интересный отрывок, посвященный России. Здесь мы читаем:

«Когда отрицательные черты русского характера: леность, непредприимчивость, равнодушие и даже неряшливое отношение ко всякой жизненной работе навевают мрачное настроение, я говорю себе: нет, это не коренные наши черты, это — дрянной нанос, это — проклятое наследие крепостного права. Оно сделало из барина тунеядца, освободивши его, в счет чужого дарового труда, от практики естественных в нормальной жизни стремлений обеспечить насущный хлеб для себя и дорогих ему, завоевать свою жизненную позицию, оставивши его рефлекс цели без работы на основных линиях жизни. Оно сделало из крепостного совершенно пассивное существо, без всякой жизненной перспективы, раз постоянно на пути его самых естественных стремлений восставало непреодолимое препятствие в виде всемогущих произвола и каприза барина и барыни. И мечтается мне дальше. Испорченный аппетит, подорванное питание можно поправить, восстановить тщательным уходом, специальной гигиеной. То же может и должно произойти с загнанным исторически на русской почве рефлексом цели. Если каждый из нас будет лелеять этот рефлекс в себе, как драгоценнейшую часть своего существа, если родители и все учительство всех рангов сделают своею главною задачей укрепление и развитие этого рефлекса в опекаемой массе, если наши общественность и государственность откроют широкие возможности для практики этого рефлекса, то мы сделаемся тем, чем мы должны и можем быть, судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы».

Как близок был здесь академик Павлов к истине, и как он от нее далеко удалился со своим отрицанием Советской России!

Какую чудесную формулу для истины он дал, и как он не хочет ею воспользоваться!

Академику Павлову надо было бы уразуметь, что не одно крепостное право убивает «рефлекс цели» в общественной жизни, его в такой же мере убивает и капиталистическое рабство «наемного» труда. «Рефлекс цели» загнан, загнан во всем мире теперь уже не крепостным правом, а капитализмом. Если бы академик Павлов это уразумел, то он понял бы, что восстановить рефлекс цели, «взлелеять» его, можно только уничтожением капитализма и новой общественностью. Эта новая общественность уже возникла в России. И суть того, что теперь происходит в России, лучше всего и выражается этой павловской формулой: нынешняя — рабоче-крестьянская — общественность открыла широкие возможности для практики «рефлекса цели», притом уже не индивидуального, а социального, и благодаря именно этому мы сделаемся — да уже и делаемся — тем, чем мы должны и можем быть, «судя по многим эпизодам нашей исторической жизни и по некоторым взмахам нашей творческой силы». Мы осуществляем «социальный» рефлекс против всякого «социального рабства» и осуществляем его не только для самих себя, но и для всего человечества.

О, если бы это понял академик Павлов, а вместе с ним и вся старая русская интеллигенция! Как мы слились бы со всем трудовым человечеством, каким энтузиазмом переполнилась бы наша жизнь и работа!

Но так или иначе, с интеллигентским пониманием или без него, а история совершает свой неизбежный путь, совершает через Россию, — к единому человечеству, совершает сознательностью пролетариата и действием трудовых масс. Прочное начало великому мировому делу уже положено, положено в России и Россией. Выполнив свою часть дела, старая Россия уже уходит, уходит в даль истории. Ее уже нет, она преобразовалась в Советский Союз. Теперь черед за присоединением к этому Союзу остального человечества.

Прощай, старая Россия! Здравствуй, грядущее новое человечество! Прими привет от старого интеллигента, счастливого тем, что хотя и поздно, но он увидел «свет» и понял не только «правду», но и непобедимость пролетарского дела. Есть на свете не только «правда» в «мечте», но и силы, которые ее осуществляют в действительности. Эти силы — пролетариат, крестьянство, все трудовое человечество.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

